

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

ННЖННН
НОВГОРОД

N I Z H N Y N O V G O R O D 4 (5 7) / 2 0 2 4



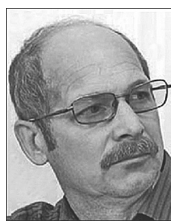
ЕВГЕНИЙ
СЕМИЧЕВ
Новокуйбышевск

4



МИХАИЛ
ПЕСИН
Нижний Новгород

14



НИКОЛАЙ
АЛЕКСАНДРОВ
Кольвань
Новосибирской обл.

18



ОЛЬГА
АЛЕКСАНДРОВА
Москва

80



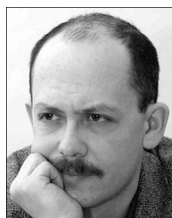
ГЕННАДИЙ
ЕМКИН
Саров

83



ВИТАЛИЙ
ГОЛЬНЕВ
Нижний Новгород

88



МИХАИЛ
КРУПИН
Москва

98



АЛЕКСЕЙ
НЕБИКОВ
Москва

104



АЛЕКСАНДРА
МАКАРОВА
Москва

117



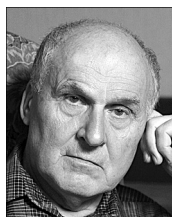
ЮРИЙ
НЕЧИПОРЕНКО
Москва

135



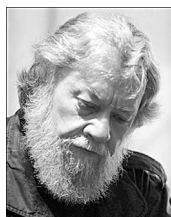
НАТАЛЬЯ
РУСОВА
Нижний Новгород

167



МИХАИЛ
ЧИЖОВ
Нижний Новгород

189



ВЛАДИМИР
АЛЕЙНИКОВ
Коктебель

209



ПАВЕЛ
БАСИНСКИЙ
Москва

233



ЕВГЕНИЙ
ЗРАСТОВ
Нижний Новгород

236

16+

В НОМЕРЕ

Поэзия

| | |
|---|----|
| Евгений СЕМИЧЕВ НА РУССКОМ БЕРЕГУ | 4 |
| Никита БРАГИН Я СЛЫШУ – ВХОДИТ ЦАРСТВЕННОЕ СЛОВО... | 10 |
| Михаил ПЕСИН ЕСТЬ ПОЭЗИЯ ДНЕЙ... | 14 |

Проза

| | |
|---|----|
| Николай АЛЕКСАНДРОВ ЗОЛОТОЙ ОГОНЬ САЛАИРА. <i>Повесть</i> | 18 |
| Валерий МАККАВЕЙ КУЧЕР | 75 |
| Ольга АЛЕКСАНДРОВА КОД КРАСНЫЙ | 80 |
| Геннадий ЁМКИН ЛИЛИИ БЕЛОСНЕЖНЫЕ | 83 |

Поэзия

| | |
|---|----|
| Виталий ГОЛЬНЕВ ...И СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ К НАМ ПРИДЁТ НЕПРЕМЕННО | 88 |
| Татьяна ТУНГУСОВА ДЕРЕВНЯ У РЕКИ | 93 |
| Михаил КРУПИН И ЖИЗНЬ ЕСТЬ СОВЕСТЬ.... | 98 |

Проза

| | |
|---|-----|
| Алексей НЕБЫКОВ ПАННОЧКА | 104 |
| ТИРОМАЛКА | 106 |
| Александра МАКАРОВА ГОРЬКОВСКИЕ СНЕГИРИ | 117 |
| Василий КИЛЯКОВ ЗНАК | 120 |
| Сергей СМИРНОВ Из цикла «ХОРОШИЕ ПРОФЕССИИ» | 122 |
| Александр КРАМЕР ЧАШКА | 132 |
| Юрий НЕЧИПОРЕНКО КОШКИН ДЕНЬ 1 МАРТА | 135 |
| Дмитрий ИГНАТОВ ПОСЛЕ НИХ БЫЛ ПОТОП | 139 |
| Сергей ЗЕЛЬДИН СМЕРТЬ МУЗЫКАНТА | 147 |

Стихи по кругу

| | |
|------------------------------------|-----|
| Валерий СУХОВ | 150 |
| Петр РОДИН | 151 |
| Валерий РУМЯНЦЕВ | 151 |
| Елена КОЛЕСНИКОВА | 152 |
| Елена ЛЕБЕДЕВА | 153 |
| Сергей КУЛАКОВ | 154 |
| Сергей КОРЫТИН | 155 |

Возвращенные имена

| | |
|---|-----|
| Евгений ЧИРИКОВ ТОВАРИЩ | 156 |
|---|-----|

Публицистика

| | |
|---|-----|
| Наталья РУСОВА ДАМА СДАВАЛА В БАГАЖ... Страницы биографического тезауруса (<i>фрагменты</i>).. . . . | 167 |
|---|-----|

Вехи памяти

| | |
|--|-----|
| Михаил ЧИЖОВ УРОКИ ЭРНЕСТА ХЕМИНГУЭЯ 125 лет со дня рождения писателя | 189 |
| Игорь АЛЬМЕЧИТОВ «Я УНИЖЕН, КАК ПОСЛЕДНИЙ СУКИН СЫН...» 130 лет со дня рождения Михаила Зощенко | 205 |

Мемуары

| | |
|--|-----|
| Владимир АЛЕЙНИКОВ И ПР. <i>Фрагмент</i> | 209 |
|--|-----|

Литпроцесс

| | |
|---|-----|
| Ирина ШАТЫРЁНОК О ЛОШАДЯХ И ЛЮДЯХ Совесь и память в рассказе Александра Орлова «Лошадники» | 229 |
| Павел БАСИНСКИЙ КАК УБИТЬ ГЕНИЯ? О новой книге Владислава Отрошенко | 233 |
| Евгений ЭРАСТОВ «ПОКОЛЕНИЮ, ВЫЖИВШЕМУ В 1990-е...» О романе Марины Соловьёвой «Время неискушенных» | 236 |
| Владимир КУЧИН «ПАТРИАРХ БЕЗ РИЗЫ» О книге Рюрика Ивнева «Ушедшее» | 238 |

Евгений СЕМИЧЕВ

Родился в 1952 году в Новокуйбышевске, Самарская область. Окончил Куйбышевский государственный институт культуры и Высшие литературные курсы при Литинституте имени А. М. Горького. Преподавал в Самаре, был директором Новокуйбышевского Дворца культуры.

Автор книг «Соколики русской земли», «Великий верх», «Заповедный кордон», «Свете Отчий», «Небесная крепь» и других, а также множества публикаций в российских центральных, зарубежных и региональных литературно-художественных и общественно-политических изданиях.

Лауреат премий имени М. Ю. Лермонтова (2004), Александра Невского, премии «Новая книга России-2002», Большой литературной премии России (2006), Международной премии им. Р. Гамзатова (2007), Национальной литературной премии «Золотое перо Руси» (2009), дважды лауреат премии журнала «Наш современник». Включён в список классиков XX века по версии Пушкинского дома Российской академии наук.

Секретарь Союза писателей России. Живёт в Новокуйбышевске.

НА РУССКОМ БЕРЕГУ

* * *

Витийствуй, буйная гроза,
Гни небеса в дугу!..
Сегодня я – твои глаза
На волжском берегу.

Горючей не жалея воды,
Греми над головой.
Сегодня я – твой поводырь
И зрячий посох твой.

Держись, Самарская Лука,
Летим в тартарарам!
Моя надёжная рука
Порукой будем нам.

Блистайте, молнии, оплечь.
И ветер вольный – вей!..
Куётся в грозном горне меч
Для Родины моей.

Пускай летит во все концы
Над Божьим Миром весть:
Лихие злато-кузнецы
Ещё в России есть.

Во имя мира и любви
И на позор врагу –
Господь, меня благослови
На русском берегу!..

Деникин

Стонет запад дикий.
Рушатся штандарты.
Генерал Деникин
Просится в солдаты.

Из белогвардейцев
В роту боевую,
В строй красноармейцев
На передовую.

Рядовым безвестным
Он погибнуть чаёт.
Но на вызов лестный
Кремль не отвечает.

В зимнем Подмосковье
В битве за столицу
Вся залита кровью
Русская земляца.

Сорок первый грозный,
Беспощадный, страдальный,
Слёзный и морозный,
И первопарадный.

Вышей Божьей волей
Русский снег кровавый
Весь пропитан болью
И оваян славой.

Все святые лики
Русскому – подмога...
Генерал Деникин
Слёзно молит Бога.

Генерал встревожен.
Путь его не ясен.
Сабли вон из ножен!
Рядовым согласен!

Он гонял германцев
До задворок прусских.
Но опять поганцы
Прут войной на русских.

Он читает сводку,
Вести фронтовые.
Пьёт из кружки водку.
Словно рядовые.

В этой кружке тонет
Дорогая надпись:
«Будь здоров, Антоний,
Всем смертям на зависть!»

Господарь завидный
Горько шутит на ночь:
– Не горюй, друг ситный,
Брат Антон Иваныч.

Крутит козью ножку
И за голенищем
Именную ложку
Спрятанную ищет.

Собирает вещи
В дальнюю дорогу.
Офицерской честью
Присягает Богу.

В битве за Россию
Он погибнуть чаёт.
Но ему Всесильный
Бог не отвечает.

Русские калики –
Белоэмигранты...
Генерал Деникин
Просится в солдаты.

...В юности далёкой
Он грешил стихами
О звезде высокой,
О сердечной даме.

Стать хотел поэтом,
Был сентиментален...
И в Кремле об этом
Знал товарищ Сталин...

С той поры победной,
Обагрённой кровью,

Странною легендой
Бредит Подмосковье.

За лесным окошком
Некий местный житель
На груди у волка
Аксельбант увидел.

И народ поверил
В этот случай дикий.
Обернулся зверем
Генерал Деникин.

В роще до рассвета
Он врагов страшает.
И за всё за это
Бог его прощает.

* * *

Кому-то прелесть юных нег
Сулит весенняя погода.
А мне на день рождение снег
До самой кромки небосвода.

А я за кромку не ходок.
Там много связано с любовью.
А мне по сердцу холодок
Благоприятный для здоровья.

Пора переходить на ямб.
Пора нетленку заямбечить.
От нежных дев до снежных баб
Всё сущее очеловечить.

Довольно головы кружить
Доверчивым, блаженным, слабым.
Любителей учить, как жить,
Пора послать трёхстопным ямбом.

Я это понял всё вчера
Сквозь призму снежного кристалла.
Пора, пора, пора, пора,
Пора...
Моя пора настала.

* * *

Вот и закачалось мирозданье
Мерно словно птица на лету.
Юность мне назначила свиданье
На летучем подвесном мосту.

Под мостом плывут вольготно утки.
Над мостом взлетают сизари.
Этот мост парит два раза в сутки
Высоко на уровне зари.

Ангельской своей улыбкой кроткой
В пламени горячих юных дней
Плавающий лодочкой походкой
Выкликают девушки парней.

Этот мост, летящий над рекою,
Позволял подняться в полный рост
И дрожащей трепетной рукою
Доставать до самых ярких звёзд.

Где теперь те годы зоревые
У небесной бездны на краю.
Здесь бесстрашно нежно и впервые
Целовал я девочку свою.

Здесь, пылая лихо и азартно,
Красный день за красную черту
В прошлое былое безвозвратно
Уходил по красному мосту.

* * *

Зима ступает робко
В стихи мои и сны.
Засеребрилась тропка
Длиною до луны.

Забористый морозец
Сковал покров земли.
А я – канатоходец
Межзвёздной колеи.

Присыпан снежной пылью,
В завьюженном пылу,
Раскинув руки-крылья,
Иду, скользя, во мглу.

Моей стезёй влюблённой
Петляет колея.
А лёд совсем зеленый
Такой же, как и я.

В зеленоглазых звёздах
Ночная тишина.
В зелёных искрах воздух.
Зелёная луна.

Река в хрустальных звонах.
Попал я сам не свой
В мир грёз своих зелёных,
Как в омут с головой.

Но мне уже не страшно
Загинуть под водой.
Такой я бесшабашный.
Такой я молодой.

Моя клубится тропка
По гибельному льду.
Зима ступает робко.
Не робко я иду

Через миры-планеты,
Вселенною ведом...
И щуки, как кометы,
Всплывают подо льдом.

Ночных небес колодец
В космической пыли.
А я – канатоходец
Межзвёздной колеи.

Меня к тому крылечку
Выносит колея,
Где за хрустальной речкой
Живёт любовь моя.

ДНК

И Волга – величавая река,
И наши среднерусские равнины,
Деревья, звери, птицы, облака
Неповторимы и всегда едины.
У них одно со мною ДНК,
Ведь из одной замешаны мы глины.

Никита БРАГИН

Родился в 1956 году в Москве. Окончил геологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Доктор геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник Геологического института РАН (Москва).

Автор одиннадцати сборников стихов, лауреат Всероссийского поэтического конкурса имени Сергея Есенина (2018), Международной литературной премии имени Сергея Есенина «О Русь, взмахни крылами» (2019), конкурса «Преодоление» МГО СП России (2020).

Член Союза писателей России. Живет в Москве.

Я СЛЫШУ – ВХОДИТ ЦАРСТВЕННОЕ СЛОВО...

* * *

Так дальний ветер с океана
песок взметает на гранит,
так затянувшаяся рана
не отпускает и саднит,
так совесть горькая рыдает,
и грезится душа родная
сквозь морды ведьм и упырей,
так смерть у запертых дверей
безжалостно когтит добычу,
и скорбь струится тишиной
над оборвавшейся струной,
и птица в глухомани кличет,
и полночь за окном черна,
но нет ни отдыха, ни сна!

В такое время рождены мы,
когда не всходят семена,
и кровью достижений мнимых
сама земля осквернена –
повсюду скука, срам и пошлость,
и жаждой о великом прошлом
душа томится... Не отвык
от вышней музыки язык,
но в мутных лужах речи вздорной
теряются и смысл, и суть –
не виден свет, неведом путь,
у дуба засыхают корни,
на месте русского стиха
иноязычная труха...

Открыв двухвековую книгу,
плыву по мерной зыби строф,

и жду – сейчас отступит иго,
упырь запнется о порог,
и вспыхнет в золоте рассветном,
и солнечные силуэты
мечтателей и мастеров
влетят, и в океане слов
моя вселенная воскреснет,
и будет море пламенеть,
и будет петь святая медь,
и будет всех чудес чудесней
то, что всегда спасало нас, –
сотворчества победный глас!

Доныне с нами гром Полтавы,
и нежный профиль над Невой,
и бронза, и гранит державы,
и пугачевской вьюги вой,
и сердолик, рожденный Крымом,
и миг любви неповторимый
«на повороте наших лет»,
и тихого моленья свет!
Бесценные, родные строки,
как обещание, звучат,
и в сердце теплится свеча
сознания – настанут сроки,
вернутся зрение и слух,
и русский мир, и русский дух!

Элегия Фонтанного дома

Деревья ждут. Деревья помнят всех,
кого им пережить пришлось. В глубинах
их годовых колец – и детский смех,
и старческая скорбь. Песок и глина
безмолвны, а деревья говорят,
со стенами вступая в диалоги,
и кирпичей старинных каждый ряд
готов ответить. Прямо на пороге
я слышу голос каменной стены,
перекрывающий деревьев шёпот,
и льдистое касание зимы
сквозь мёртвое дыхание войны
мне в душу словно стряхивает копоть...

Лучина опадает, догорев,
и я всхожу на старые ступени,
а Бродский суетится во дворе,
организуя шествие, и тени
шеренгами скользят среди кустов,
но я, не оглянувшись, ухожу
по коридору... Лепестками слов
усыпана дорога к миражу,

прекрасному и жуткому, как сон,
где улетаешь выше тополей
и замираешь, страхом поражён,
и хочется к земле прильнуть скорей.

Такой полёт – падение одно
сквозь страх ночной на ледяную плаху
за всё, что прожито и сочтено,
за мёрзлый хлеб и за горелый сахар,
и я гляжу на эти черепки,
кочки стихов, листочки фотографий,
задушенные временем ростки
надежды – а вокруг промёрзший гравий,
и капли помертвевшей красоты,
и горе над могильными цветами,
и разведённые в ночи мосты,
и ледяное небо над «Крестами».

Но всё равно она всегда жива –
сирень в слезах, испуганная громом –
не бойся, он не загремит у дома,
он улетел давно за острова,
на север, в бледном небе растворяясь
и утихая, как усталый плач,
и в тишине – Поэмы часть вторая
плывёт в глазах – и горек, и горяч
тяжёлый вал строфы её суровой...
Я слышу – входит царственное Слово,
и всё свершается, сейчас и прямо здесь,
взлетает надо всеми и со всеми,
поёт и плачет, разрывая время,
твоя благая весть!

* * *

И снова идут по Неве корабли
в предзимнюю горькую полночь,
и, кажется, голос твой слышен вдали,
за храмом Кронштадтским, у края земли,
где плещут балтийские волны,
и ветер с залива мне веет в лицо
печалью, сырой и студёной,
и век наступивший суров и свинцов,
как абрис мостов разведённых.

Тверды и белы, как слоновая кость,
твои полнозвучные строки,
гармония, словно небесная ось,
незыблема – что ей властителей злость,
брехня полоумной сороки?
Тот мусорный ветер пронёсся, пропал,
растаял в дали заозёрной,

а город всё тот же – прозрачный кристалл,
лежащий на бархате чёрном.

Иду я, смущённый богатством даров,
сквозь полночь и сквозь непогоду.
Тончайшая связь наших вечных миров
взлетела поверх фонарей и мостов,
и стали минутами годы.
А времени голос по-прежнему груб,
и слышится скорбь мировая,
но мы говорим, по движению губ
созвучия слов узнавая!

* * *

Сквозь эту пепельную стужу по серой каше снега
скорей пойти куда-нибудь, где мартовское небо,
где звёзды синих куполов во звоне колокольном,
и где грачи переполох затеяли над полем.
Там неуютно и легко, там холодно и вольно,
там проза жизни далеко, но сердцу очень больно –
оно ведь, сил не рассчитав, как перед казнью любит,
и, кажется, вот-вот, упав, исчезнет в тёмной глубине...

Но удержу нервный вздох и посмотрю спокойней –
чередование эпох, владыки, смуты, войны...
Как будто всё здесь как у всех, почти по-европейски,
такие же и плач, и смех, и парики, и пейсы!
Но нет, не так мы говорим, и не о том же спорим;
наш изразцовый красный Рим рыдает, словно море
в летучих светах эстакад, в кристаллах небоскрёбов –
видений рай и звуков ад – в душе и до утробы!

Куда же ты, душа моя, вслепую улетаешь?
Кровь на крыле, в когтях змея – за журавлиной стаей,
всё выше, выше в облака, в молочные озёра,
и в непрожитые века, в не пройденные горы!
Как дерзновенна, как горька, предчувствием объята,
твоя мечта, твоя река во льдистом сне заката!
Прости, тебя не уберёт от холода и боли,
прости – переступлю порог, и дальше, в чисто поле,
и по росе, и по Руси, и к небу, и к земле –
ты только свечи не гаси, дозвожь мне помолиться!

Михаил ПЕСИН

Родился в 1949 году в Горьком. Окончил Горьковский институт инженеров водного транспорта. Работал в Ленском речном пароходстве инженером. С 1971 года – профессиональный журналист, работал в разных должностях, от корреспондента до главного редактора. Автор поэтических сборников, ряда публикаций (стихи и проза) в литературных журналах и альманахах.

Лауреат многих фестивалей и конкурсов авторской песни. Живет в Нижнем Новгороде.

ЕСТЬ ПОЭЗИЯ ДНЕЙ...

* * *

Я один на полубаке.
Надо мною – Космос.
Ветер треплет ткань рубахи,
развевает космы.
Переплески перекаатов
строчки мне бормочут,
и душа летит в покатошь
обступившей ночи.
Ей и вольно, и морозно.
Аргументов вескость
эфемерна.
Только – звёздность,
только – переплески.
Только – смутная дорога,
где от Сотворения –
ничего-то, кроме Бога,
кроме сокровения.

* * *

Есть поэзия дней. Только ей и служу.
Она бродит во мне, когда мерно брожу
по асфальтовым строчкам ночных городов,
по контрольным почкам весенних садов,
по площадным скрижалям столичных громад
и прохладным лужайкам, сводящим с ума
многозвучьем искристых июльских цветов.
Она бродит неистово магией слов,
перезвонами звуков, зовущих запеть.
В ней – резоны и мука, и шёпот в толпе.

Она бродит во мне, как хмельное вино,
и внутри, и вовне, и в каком-то ином
измеренье, в котором всё злей и ясней,
истекая сквозь поры, сквозь вежды во сне.
Она бродит и бредит, и дух бередит.
Она – Бога посредник, и... жизнь впереди.

Миланечке

Прогуливаясь чинно по бульварам
на склоне остывающего дня,
какой бы мы смотрелись славной парой,
когда б ты не покинула меня.

Лучи заката нам бы лица грели,
ложились листья под ноги, шурша,
и мы бы вместе не спеша старели,
и уходили в вечность не спеша.

Когда бы мне тебя на этом свете
подольше задержать хватило сил,
как был бы каждый новый стих твой светел,
какие тайны для меня б открыл!

Мой друг, мне несказанно одиноко!
До хруста сводит скулы немота.
Душа, как в перевёрнутый бинокль
глядит, скользя по избранным местам
свиданий наших, споров и скитаний,
рассматривая радости вразброс,
сводя с ума от сонного дыханья
и запаха рассыпанных волос.

Мой друг! Ты завещала – продержаться.
Как видишь, я держусь – ещё, пока.
И эти листья, что, шурша, кружатся,
и этот остывающий закат,
пьяня хмельным сентябрьским настоем,
ещё спасают душу от трухи.
И, кажется, бормочутся порою
твоих небес достойные стихи.

* * *

Годы летят.
Всё трудней оглянуться назад.
Столько ребят
нам из прошлого в спину глядят!
Столько людей,
столько самых любимых друзей
памятью дней
превращают мне сердце в Музей.

Годы летят.
Но никак отпустить не хотят:
девочки взгляд,
школьный двор, пионерский отряд.
Гомон лесной,
над речушкой студёною зной.
Бал выпускной –
ожидание жизни иной.

Годы летят.
Поначалу как будто шутя.
Ночи – в страстях,
утра – в стылых трамвайных путях.
Бусинки слёз.
Поцелуй – самый первый – всерьёз.
Дни – колесом:
Мендельсон, Мендельсон, Мендельсон...

Отшелестя ,
листья падают, в снег уходя.
Тихо грустя,
я с гитарой присяду в гостях.
Дети галдят,
дети с дедом грустить не хотят.
Годы летят.
Годы, впрямь, словно птицы, летят.
Дети галдят,
и со мною грустить не хотят.
Годы летят.
Слава Богу, покуда летят...

* * *

На исходе жизни, на излёте.
на избыве жизни, на отплыве,
вы с собою мало что возьмёте –
много ль нужно среди звёздной пыли?
Только отклик запаха сирени.
Только отблеск света из оконца,
где сжимаются ночные тени
под ладонью утреннего солнца.
Это здесь чего-то не хватало
и всего, что было, было мало,
а среди безвременья-безгранья
всё давно отмерено заране
по делам, по думам, по заслугам,
даже если, маясь по лачугам,
ты по жизни сир был и недужен,
иль, напротив, роскошью окружен,
по своим поступкам и по вере
всяк получит всё по полной мере.
На излёте жизни, на исходе
мы такое вдруг в себе находим,

что ни близкие, ни мы доселе
не нашли в себе, не разглядели.
И приходит высшая свобода –
та, когда не надо ведать брода,
но легко зато идущим следом
что-то очень важное поведать.
... Крепко держит внук тебя за руку.
И за всё, что дальше будет с внуком
перед Богом отвечаешь ты ведь,
на исходе жизни, на избыве...

* * *

Как же я счастлив, Господи,
что мог, у Тебя в чести,
жизни восторг, как горсть воды,
не расплескав, нести!
Что из искусств, назначенных
для изучения Тобой,
выпало однозначно мне
искусство с названьем «Любовь».
То, где скучна искусственность,
где наигрыш пошл и пуст,
ибо не спеть искусанность
страстью измятых уст.
Не написать отчаянность
ссорой разъятых рук
и не сыграть молчания
сердца в часы разлук.
Сколько б ни дал Ты грядущего,
знаю я наверняка:
сердце, восторгов ждущее,
будет любовь алкать.
Чтоб, как кутнуть на сотенку,
зажатую на послед,
в обыкновенную тётенку
влюбиться на старости лет.
И верить, что нет этой старости,
а смерть – это только черта,
та, за которую горестям
не сунуться ни черта!
Та, за которой – правда ведь! –
светел и свят любой,
ибо конечно же – праведник –
веровавший в Любовь.

Николай АЛЕКСАНДРОВ

Родился в 1955 году в г. Болотное Новосибирской области. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Работал распорядителем праздничного зала, официантом, тренером, завучем школы олимпийского резерва, председателем горспорткомитета, помощником машиниста электровоза и тепловоза, токарем, оператором станков с ЧПУ, директором коммерческой фирмы, директором рыбноводческого хозяйства, заместителем главного редактора журнала «Сибирская горница». С 2003 года возглавляет Издательский дом «Историческое наследие Сибири».

Автор ряда книг прозы и публицистики, печатался в литературных журналах и коллективных сборниках. Член Союза писателей России.

Живет в рабочем поселке Колывань Новосибирской области.

ЗОЛОТОЙ ОГОНЬ САЛАИРА

Повесть

Предисловие

Капля проснулась от стремительного полёта. Она и ещё несколько капель выпали из тяжёлой тучи и понеслись что есть мочи вниз. Её подруги смеялись и визжали от восторга, а Капле было не до смеха, она просто умирала от страха.

– Прощай, мама! – кричали капли, обращаясь к туче. – Здравствуй, жизнь! – кричали они стремительно приближающейся земле.

Скоро Капля со всего маху шлёпнулась о берёзовый лист. Первый, второй и ещё десятки ударов, а потом она оказалась на Цветке.

– Доброе утро, – сказал Цветок.

– Какой же оно доброе, если у меня болят бока и я вымазалась какой-то пылью!

– Это не пыль, это пыльца.

– Экая гадость! – Капля попыталась стряхнуть с себя золотые песчинки.

Вдруг Цветок нагнул голову, капля сорвалась с белых лепестков и упала на землю. А на земле кругом мусор. Капля осмотрела себя: она была грязной, такой грязной, что даже золотой пыльцы не видать.

Только Капля поспешила прочь от всего этого кошмара, как кто-то вдруг наступил на неё и вдавил в придорожную грязь.

– Да что же это такое! – рассердилась Капля, плюнула вслед и бросилась наутёк, только бы подальше от Цветка и тех, кто не смотрит себе под ноги.

На пути появилось озеро, а в нём миллионы таких же капель. Они плескались, играли с солнечными лучами и все были чистыми. И когда увидели грязную Каплю, позвали её к себе.

Капля шагнула в озеро, капельки-подруги тут же обступили её и начали мыть.

– А-а! – завопила Капля. – Мне больно! Идите прочь!

Она вырвалась на берег, с ещё большей обидой помчалась куда глаза глядят и не заметила, как налетела на Гусеницу.

– О! Какая красивая капелька! – удивилась Гусеница и лизнула её своим длинным и шершавым языком.

– Что ты творишь, гадина?! – возмутилась Капля и помчалась дальше.

После ей повстречался Комар. Он долго летал над нею, и Капля даже подумала, что тот влюбился в неё. Но Комар вдруг вонзил ей в бок свой острый нос и напился.

От неожиданности Капля упала без чувств, а когда очнулась, увидела над собой чудесную Бабочку. Бабочка глядела на Каплю, как в зеркало. Потом шепнула: «Какая я всё-таки красивая!» – и улетела.

– Какая ты дура! – крикнула ей вслед Капля и вдруг обнаружила перед собой глубокую яму. – Вот где я спрячусь ото всех! – обрадовалась она и полетела с обрыва вниз.

Капля летела долго, потом катилась по какому-то каменному склону и неожиданно оказалась на потолке огромной пещеры. Невидимые капли, покрывавшие её свод, шептались и спрашивали друг друга:

– Кто следующий в вечность?

И какая-нибудь из них стекала вниз по огромной каменной сосульке, повисала на кончике, и все ждали, когда она окаменеет.

– Я следующая! – закричала изо всех сил Капля.

И не ожидая согласия, потекла по каменной сосульке, притормозила на самом хвостике и через пару веков окаменела. Она стала вечностью, но ни её истории, ни её дел, ни её красоты никто не помнил. Красота в темноте не видна.

Рябой прапорщик (ноябрь 1919 года)

В конце осени, когда только выпавший снег на дорогах укатало плотным настом, а лога накрыло холодным саваном, через Ёлшанку потянулись отступающие колчаковцы. Первый отряд был мал: все офицеры разместились в большом доме купца Снадина, а солдаты – в двух соседних избах.

Белогвардейцы вошли в село тихо, но по-хозяйски. Непуганым жителям всё казалось внове, и они высыпали на улицу, встречая непрощенных гостей. Мужики толпились вместе со старостой по одну сторону дороги, а бабы по иную. Офицеры, не спешиваясь, сдержанно переговаривались, солдаты рассматривали деревенский люд в ожидании приказа. Один из отряда – рябой прапорщик, злой и раздражительный, – сразу заприметил Ксению, местную девицу ослепительной красоты, – она стояла в толпе любопытствующих баб.

Доброжелательное настроение сельчан изменилось, когда колчаковцы пошли по домам «реквизировать» продукты. Они запросто входили, бесцеремонно обыскивали дом, брали что хотели, а на вопросы хозяев отвечали, мол, по закону военного времени, ещё наживёте, а нам, защитникам Отечества, сейчас продукты поважнее будут. Кто протестовал, получал либо зуботычину, либо прилюдную порку прямо во дворе.

Особенно пострадали соседи Ксении, зажиточная и трудолюбивая семья по фамилии Косые. У них колчаковцы забили бычка и двух овец, освежевали и туши спрятали в розвальнях. Один из двух братьев считался в деревне женихом Ксении, крепкий и очень сильный Андрюша. Но Ксения на его предложения отвечала резким отказом и обидным аргументом: «Это что же, женишок, я после свадьбы Косой буду зваться?» – и смеялась ему в лицо. Андрюша обижался, но терпел. И знала бы Ксения, что именно Андрюша спасёт её от рябого прапорщика.

Встретив девушку у ворот, колчаковец приказал собираться и ехать вместе с ним.

– С чего это? – по привычке дерзко ответила своенравная Ксения.

– Полюбилась ты мне, – как приговор, объявил прапорщик.

– А ты себя в зеркало видел? – хохотнула Ксения.

– Артачиться будешь, пристрелю, сука! – коротко пригрозил Рябой.

По глазам Ксения поняла – пристрелить может, но характер брал своё.

– Видели мы таких стреляльщиков, и рябых, и ничё себе с виду, здоровых.

Прапорщик ударил её вскользь, будто пощёчиной, но с такой силой, что Ксения упала в снег. Увидел это Андрюша, понял, что с девкой беда, и затеял драку с братом у себя во дворе. И так они орали друг на друга, так бились нешуточно, что все колчаковцы, бывшие на улице, кинулись смотреть мордобою. Не утерпел и рябой прапорщик. А пока он глазел на дерущихся, а потом выяснял, что к чему, Ксения шмыгнула в избу к бабке Ангелине Фёдоровне, которая умирала уже скоро год, но умереть никак не могла. Чудная была бабка, но добрая.

Посреди горницы на табуретах стоял гроб, а в нём лежала Ангелина Фёдоровна. Лежала давно и просила Господа забрать её душу грешную в Царствие Небесное.

– Бабушка Ангелина, – взмолилась Ксения, – спрячь меня, родненькая, а не то увезут меня и ссильничают!

Бабка поняла всё сразу, буквально выпрыгнула из гроба.

– Лягай на моё место!

– Нет, бабушка, в гробу меня сразу найдут!

И тут старая сообразила, открыла ларь у стены, а там – остатки пшеницы.

– Лезь в ларь, девка, а я тебя пшеницей засыплю!

Кстати сказать, у стены мешок с пшеницей стоял. Спряталась Ксения в ларь, бабка на неё прежде всякой одежды навалила, а потом лихо мешок с пшеницей подняла, будто молодка игривая, и поверх высыпала, а после уже крышку ларя прикрыла. А сама опять в гроб улеглась, лежит в подушках, свечи в изголовье потрескивают, а она читает молитвослов и крестится.

Влетает в избу рябой прапорщик. Увидел бабку в гробу, заорал от неожиданности. А та из гроба приподнялась:

– Чего орёшь? Чего надо?

Совсем оторопел прапорщик. Потом пришёл немного в ум и спрашивает:

– К тебе девка заскочила? Где она?! – а сам избу оглядывает. А что там смотреть: стол, печь пустая, ларь у стены и гроб посередь горницы.

– Окромья меня, здесь иных девок нету. Изыди, сатана, не видишь —помираю, не мешай душе моей скорбной найти дорогу в Царствие Небесное, – сказала спокойно бабка Ангелина, поправила чепец на голове, улеглась на подушечку и запричитала молитву: – Со святыми упокой, Христе, душу рабы Твоей Ангелины, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная. – Опять повернулась к прапорщику: – Ты уйдёшь, сукин сын, али огрею тебя кочергой и с собой заберу?!

Сел прапорщик на ларь, потому как больше не на что, табуреты и те под гробом стоят, а сам думает, где девка спрятаться могла. А Ангелина Фёдоровна в раж раздражения вошла и орёт:

– Ты уйдёшь от меня, идол сатанинский, парша гнидина?!

Уцепилась она за края гроба, вроде как силится встать. И видит прапорщик на её руке палец с кривым ногтем, подскочил, в ларь глянул, а там пшеницы с верхом, и от греха подальше скоро ушёл прочь.

Так и спаслась Ксения от замужества с рябым прапорщиком. А Андрюшу с братом колчаковцы с собой взяли, чтобы те их в Болотное везли на своих же санях. Вернулись братья через несколько дней и в партизаны попались. Так сгинул жених Ксении. Люди говорят, что убили Андрюшу.

Прошёл с того чудного случая месяц. Бабка Ангелина счастливо умерла, как хотела, во сне. Весь месяц текли через Елшанку и другие сибирские сёла обозы отступающей армии адмирала Колчака. Жители научились прятать продукты, фураж и угонять на заимки лошадей. Жизнь жилась тревожно.

Ояшинская трагедия

(15 декабря 1919 года)

К декабрю отряды красных уже сломили белых и стремительно продвигались по Транссибу. С приближением Красной армии активизировались партизаны, которые если не рельсы разберут, то вместо угля в бункер паровоза снег засыплют или из-за угла пальнут. А то и диверсию устроят. Белочехи отправили на помощь колчаковцам в Новониколаевск состав бойцов, но между станциями Чахлово и Чебула партизаны пустили состав под откос, – погубило много людей, но больше осталось увечных. Пришлось хоронить в одной братской могиле и погибших, и тяжелораненых, пристреленных своими же солдатами. Злоба росла, накалялась. Но как ни бились белые, 14 декабря 1919 года пришлось им покинуть Новониколаевск и пятиться на восток.

Тёплый декабрь сыпал крупными хлопьями, покрывая округу ослепительно-белым шёлком лёгкого снега. Оттепель гуляла по кривым улицам и унылым крышам сельских домов и сараев, стекала по голым веточкам берёз весенней капелью, а под соснами ведьмиными кругами проявилась опалённая солнцем трава. Ветерок не обжигал ледяной стужей, а только освежал уставшие лица. Природа жила своей жизнью, будто не замечая, что идёт война.

В тот день карательный отряд колчаковцев разместился в селе Ояш на короткий отдых. Именно от Ояша начиналась развилка в русло древней сибирской тропы, которая шла через Карасево, Зудово и Большечёрное в Томск, по Сибирскому тракту через Елбак, Турнаево, Елшанку в Болотное и по железной дороге через Чахлово и Чебулу до самого Владивостока.

Ояш – село большое, многие работали и на строительстве «железки», а после там же путейцами. По ней же приходили все новости. Прежде о войне с немцами, потом об отречении царя и о Временном правительстве, скоро и о большевиках, а колчаковцы пришли сами, без новостей. Досужие старики ворчали, мол, не было бы «чугунки», глядишь, и без горя пожили бы. Но без горя среди людей жить трудно, а без людей и вовсе жизни нет.

В избе, приспособленной под тюрьму, колчаковцы собрали местных партизан из отряда Уткина. Потом ещё купец Ипполит Рынди́н сдал всех сельчан, которые к большевикам склонность имели. Душ пятнадцать

собрали, да поняли, что самим пора бежать, пока красные не настигли. И уже на закате вывели на берег реки арестованных, поставили на восток лицом и пальнули в спины. Упали разом, да один стоит, ещё раз стрельнули, а он не шелохнётся. Тогда поручик Алексей Левашов, обладавший небывалой силой удара, подъехал на лошади и сёкнул саблей по его шее. И ведь отсёк голову, упала та на грудь и повисла на коже. А партизан стоит. Оттёр поручик саблю о плечо убитого, упёрся в его спину остриём и толкнул. Только тогда и рухнул мужик.

– Добить шашками, – приказал полковник Потапов, и пошла рубка. Сёкли всех подряд, а тут новый приказ: – Засыпьте снегом!

А снега-то чуть-чуть насыпало, да небо вычистило, будто от страха все облака разбежались. Висит одна луна на небе, круглая, бледная и немая. Посыпали сверху на казнённых сколько собрали снега, а сквозь снег кровь проступает. Опять сыплют, а она всё равно наружу лезет.

– По коням! – приказал полковник, и вот карательный отряд уже нагнал главный обоз, и потянулись все молча в неизвестность. Кругом Сибирь, белая, холодная, поля круглёные, колки пустые, только ельник местами чернеет, тоску наводит. Едет отряд, ползёт по снегу, а луна яркая, и от света её тени тех убитых на дорогу ложатся.

Иван Николаевич Шелковников упал вместе со всеми, хотя пуля прошла мимо. Он лежал среди мёртвых и видел, как расправлялись с остолбенелым партизаном из уткинского отряда, огромным и непокорным мужиком, как смахнул с него голову белый офицер, но Шелковников не дрогнул от ужаса, а лежал чуть дыша, будто мёртвый. Потом колчаковцы начали добивать расстрелянных. К нему тоже подошёл солдат и ударил шашкой по голове, но он вытерпел боль и не показал, что жив, а уже после второго удара потерял сознание.

Он очнулся, когда услышал шум удаляющихся всадников, а потом уже вылез из-под снега. Сел, пощупал голову, и первая мысль: «Не треснула!» Спас войлок, который сибиряк подшил в шапку для тепла. В лютую зиму пригодилась, а теперь получилось, что и жизнь ему спасла эта хитрая подкладка.

Шелковников разгребал снег над убитыми одной рукой, второй придерживал голову, которая норовила упасть на плечо. Живых больше не было.

Идти в село Иван Николаевич побоялся и шагнул по старой дороге к эстонским хуторам, там жили друзья. Восемь вёрст он шагал всю ночь, часто садился на валежник, ел снег. Голова кружилась, боялся потерять сознание. Но Бог милостив, в Эстонке его приняли и помогли по свету доехать до Болотного, которое уже заняли красноармейцы. Так люди узнали о зверстве карательного отряда под командованием полковника Потапова.

Встреча

(16 декабря 1919 года)

Левашов ехал, чуть покачиваясь в седле. Под шинелью у него телогрейка из тонкой овечьей шкуры – купил у ояшинского крестьянина за десять рублей и не жалеет теперь. Шарф плотный и сухой, как небритый подбородок, защищал шею, грел, будто печь в доме. Да только печаль на душе осталась от того стойкого партизана, и не просто осталась, а томилась в груди, будто в костре огоньком тлела, и не давала задремать. Понимал Алексей, что не нужна была ему в зачёт эта ещё одна жизнь. Пятнадцать человек извели. Понятно, что красные, но ведь люди! – терзался думами

поручик. У кого-то жёны теперь одиноки, у кого-то дети теперь сироты. Да и баба среди партизан была, и ту не пожалели. Зачем? Что изменят эти убитые в проигранной борьбе с красными? Ничего, кроме ненависти к ним, к тем, кто два года защищает Отечество. От кого защищает? От этих крестьян и рабочих? Что же им там, намазано в этой «красной» жизни? Почему вдруг взялись за оружие против власти? Много вопросов, а ответов нет.

Алексей вынул платок, уже не белый, а одичавший в кармане шинели, потемневший от пыли и просыпанного пороха. Вынул из ножен саблю, и та сверкнула белой сталью. Белой и мёртвой, будто не из железа, а из кости кована. Протёр лезвие платком, зачем-то посмотрел на тряпку и подумал: сколько же его сабля за эти годы выпила человеческой крови, сколько душ нанизала, как баранки, на своё лезвие?

Он бросил платок под ноги лошади, вернул саблю в ножны и попытался задремать, думать больше не было сил.

Карасево проехали молча. Село вымерло, даже собаки попрятались, будто от волков.

Отряд колчаковцев шёл всю ночь, от Ояша через Елбак и Турнаево, на рассвете его путь пролегал через село Елшанку. Петухи уже сорвали голоса, а край неба зажёгся багрянцем, когда первые конники ступили по центральной улице села, а сани заскрипели натруженными полозьями. Над избами клубился тёплый дым, сдобренный хлебным духом и наваристым борщом. Но, заслышав шум на дороге, крестьяне потушили лампы и притаились за вышивными занавесками, молясь и причитая, чтобы минуло лихо и никому в голову не пришло заглянуть в дом с какой нуждой или просьбой.

Только молодая девушка, Ксения, дочь кожежыки и мастера обувку шить, вышла на пруд за водой – мать послала. И уже обернувшись, с полными вёдрами, увидела всадников, а потом и ряд розвальней, плывущих по селу плотной вереницей. Отряд шёл угрюмо, устало, а оттого и безразлично, хотя всякий проезжающий мимо помечал, что девка добрая, красивая и стоит бодро и прямо под коромыслом с двумя бадьями, полными воды. Каждый думал или вспоминал своё: кто про дочку, кто про жену, а кто про не встретившуюся ещё любовь.

А Ксения и впрямь была девицей редкой красоты. Круглолица, но с лёгким овалом, высокий лоб, пухловатые, ярко очерченные губы и румяные щёки, будто от стеснения, прихваченные зарёю, несколько кокетливых веснушек выдавали деревенское происхождение, нос скромный, кругленький. Но главная красота скрывалась в голубых глазах, и голубизна та была беззастенчива, с бирюзовым отливом по краю зрачков и искоркой то ли озорства, то ли печали. Глаза сияли и жили, обнаруживая быстрый и острый ум, весёлый и отзывчивый, но решительный характер. И вся она словно светилась добрым нравом, задором в широкой улыбке, силой в стане и открытым взглядом, ясным и бесхитростным, будто живёт и замечать не хочет горя на земле.

Неожиданно около Ксении остановился всадник – молодой поручик Левашов. Дремоту у него как рукой сняло, когда увидел красавицу.

– Здравствуй, девица!

Ксения отступила назад, аж холод прошёл по спине от страха.

– Проезжай куда ехал! – отчаянно и зло ответила она.

– А что недобро так? А испить водицы не дашь?

– Ещё чего, у нас кони после чужих не пьют.

Алексей спешил, накинул уздечку на плетень и подступил к девице, а тут слышит, закричал кто-то из проезжающих бойцов:

– Алексей Павлович! Забирай, девка что надо!

И вдруг он прильнул к ведру, и сделал несколько ледяных глотков, утёр тонкие усы и спросил:

– Поехали со мной, женой будешь!

– Экой ты, жених, скор на расправу! А еслив я за мужем? – А у самой сердечко забилося, так хорош офицерик этот, лощёный и с усиками, так хорош, что и убежать жалко.

– Нет! Ты меня ждала! Точно меня! Ночами вздыхала и днём думала, что придет к тебе всадник, изопьёт водицы и увезёт в свой терем.

Ксения вдруг смутилась и опустила глаза.

– Ну, глянь же на меня! Я здоровый, богатый, всё брошу к ногам твоим: и ковры точёные, и изумруды заморские! Верь мне! Царицей сделаю! Что тебе здесь, в деревне? Гусей пасти да грязь мести? Не трону, клянусь, пока не обвенчаемся. Слово офицера! Клянусь Богом, на руках носить буду!

– Алексей Павлович! – позвал крайний замыкающий обоз возница. – Не отставай надолго!

– Догоню, – махнул вознице поручик.

– Сладко обещаешь, да жёстко потом спать будет, – по-взрослому и будто опытная баба, повидавшая не один обман, сказала девушка. – Не верю я вам, обманщики кругом. Вот если матка с батькой согласятся, тогда пойду. – А сама думает: Андрюша в партизанах, мужики все по займам прячутся, и спасти её некому будет.

– Значит, люб я тебе?! – офицер кинулся обнять Ксению.

– Не тронь, – приказала она, почувствовав уверенность и власть над ним. – Родительского благословения нет.

– Да какие родители?! Жизнь-то твоя сейчас решается! Упустишь миг, и всё иначе пойдёт. Пойми, такое просто не случается! Бог правит нами, он нас свёл, а то ты и не знаешь, что он нас уже обвенчал!

Отряд покинул Елшанку, рассвет выбелил лесную темень, и от света утреннего и румянца стыдливого ещё краше стала Ксения, ещё смущёнее. И поняла сама, что или сейчас, или никогда.

– Хорошо, – выдохнула она онемевшими губами, – пойдёмте к бате за благословением. Согласная я!

Снял с девушки офицер коромысло с вёдрами, обнял и крепко поцеловал в уста. Да так крепко поцеловал, да так сладко пахнуло из-под воротника девичьего, что как безумный подхватил он её и закинул на шею коню одним махом, снял уздечку с изгороди и, будто птица крылатая, вскочил на коня. Проскакав село, он свернул в поле. Не успело ещё намести, – и в этом было для него провидение Божие, и в том, что теплынь текла в лицо вместе с рассветом. Ксения пыталась вырваться, молча и неистово, но он был слишком силён, жилист, из мужиков с ним мало кто справиться мог, а тут девка, да ещё любимая. Отъехал вёрст пять, спрыгнул с коня, помог и ей встать на землю.

Они стояли напротив друг друга, и вдруг она развернулась и побежала, он кинулся за нею, сбил с ног, сам упал рядом.

– Жизни мне без тебя больше нет! Пойми ты это! – запыхавшись, пытался говорить, одной рукой держал её, а другой черпнул снега и утёрся. – Судьба ты моя! Не отпущу! Всё!

– Силком мил не будешь! Зарежу! – ответила она, пока Алексей завязывал своим шарфом ей за спиною руки.

– От тебя и смерть приму, как Божью благодать. Поехали в церковь, обвенчаемся, а потом к родителям. Смотри, – Алексей достал из нагрудного кармана свёрток. – Всё твоим родителям отдам, пусть поживут богато, а я

ещё добуду, коль ты со мной! Посмотри, здесь много золота! На, возьми себе. – Он свернул тряпочку с драгоценностями и сунул ей в карман.

Она молчала. Она была зла и растеряна. Зла, потому что без согласия её увёз, а растеряна, потому что выкуп изрядный. И красив был, стервец, очень красив.

Плен

(17 декабря 1919 года)

Поручик Левашов закинул связанную Ксению на шею коня, взлетел в седло, когда увидел за околицей отряд красноармейцев. Но уйти от погони он не смог.

С зуботычинами и в царское, и в новое время жилось привычно. Так не так, а в морду хошь не хошь, но получи! Пока к пленённому поручику подъехал командир отряда, ретивого Алексея успели остудить изрядно.

– Прекратить! – кричал командир красноармейцев. – Позор – вести себя как всякая белая сволочь! Вы – бойцы Красной армии, а занимаетесь избиением пленных!

– Товарищ Ковригин, так он первый начал, выхватил саблю и давай ею махать. Мы ему говорим, прекрати, мил человек, людей пугать, а он как бешеный. Ну и пришлось объяснить господину колчаковцу, шо нельзя так разговаривать с бойцами Красной армии. – Отряд грохнул разом и дружно. Красный командир тоже не удержался и улыбнулся.

– Кто такой? – спросил он пленного.

Пленный молчал. Ковригин принял от красноармейца саблю, вынул её и прочитал на лезвии: Алексей Левашов. А с другой стороны незнакомой, но понятной вязью: Пьер Шевалье.

– Так ты кто, господин поручик: русский или француз?

Пленный молчал, только выплюнул сукровицу.

– Откуда вы, девица? – обратился Ковригин к девушке.

– Мы из Елшанки будем, – Ксения смотрела командиру в глаза.

– По своей воле бежала с колчаковцем?

– Товарищ командир, – пояснил всё тот же красноармеец, – дамочка была связана, силком вёз.

– Понятно. Надругаться хотел. Товарищи! Мы – красноармейцы, а не колчаковская сволочь, а потому пленного доставить в Болотное, завтра будем судить. Помните, что мы здесь власть, а власть поступает только по закону, и чтоб никакого самосуда не было.

Командир Ковригин приказал двум бойцам доставить Левашова и девушку в Болотное, а сам с отрядом отправился дальше, искать отступающий отряд колчаковских карателей.

Ксению посадили на офицерскую лошадь, а поручика пустили на привязи, мол, пусть разомнётся. В Болотное заехали к полудню. Ясно, морозец крепчал. На улицах безлюдье, только на вокзальной площади несколько трупов и брошенная полевая кухня. Колчаковцы ушли без боя, потому пожаров не было, да и погибших немного.

Заперли белогвардейского офицера в углярке около багажного отделения до суда и расстрела. Темно в углярке, но тепло, потому как одна стена с кочегаркой соединена окном, закрытым деревянной ставней, и было ещё уличное окно, в которое загружали уголь. Алексей попробовал его на прочность, ставня даже не шелохнулась, закрыта снаружи. Присел у тёплой стены и понял, что это его последние часы, и так тоскливо стало

ему, что хоть волком вой. Собственно, жизни ещё и не было, была только война, прежде с персами, а после на германском фронте, а теперь в Белой гвардии. Связь с родителями и сестрой потеряна, в Москве хозяйничали голод и большевики.

Мать Алексея – дворянка из древнего рода Мусиных, отец – служака, из мещан, а потому выше подполковника подняться не смог, однако был приглашён в Александровское военное училище готовить офицеров пехоты. Алексей после военной гимназии сразу же поступил именно в это заведение, где преподавал отец, и окончил его в 1908 году. Боевое крещение получил в Персидском походе с 1908 по 1914 год, а потом сразу же война с Германией. Вот и вся биография!

Алексею прочили славную карьеру, потому что более яростного и решительного характера среди юнкеров не было. И ещё Алексей отличался внешней красотой. Его выделяли тонкие черты лица, умные, даже печальные, глаза и высокий лоб. Он был строен и длинноног, с большой ловкостью фехтовал, а из седла его нельзя было выбить, ничей конь так не ходил аллюром. Юнкера смеялись, говорили, что Левашову нужно попасть на глаза цесаревнам, и тогда, возможно, в России появится русский царь, а не Николашка-немец – сын Марии Софии Фредерики Дагмар, внук Луизы Гессен-Кассельской.

И теперь из этой угольной западни и полной безнадёги смешной казалась юнкерская жизнь. Нелепое, унижительное прозвище «фараоны» для новобранцев. Волнительное ожидание императорского приказа о произведении в чин офицера. Готовность погибнуть за Родину, именно за Родину, а не в войне с «рабочими и крестьянами».

Сильно болело лицо, стонала выбитая челюсть, при неловком движении начинала кровоточить губа, глаза заплыли так, что щёлки остались. Через несколько дней наступит 1920 год, ему исполнится тридцать лет. Не исполнится! Ему даже тридцать лет не исполнится, а хотел жить долго. Оттого и смерти не боялся, что уверен был – жить будет долго!

Что-то заскреблось около уличного окна, Алексей подошёл, прислушался. Ставня зашевелилась и начала с трудом подниматься. Он упал на колени, упёрся плечом в стену, подсунул пальцы в наметившуюся щель и рванул ставню вверх. Очевидно, его кто-то спасал. И не раздумывая более, как только ставня позволила пролезть, он, как обожжённый уж, выполз на улицу.

– Ты?! – удивился он, увидев Ксению.

Хотел отнять, но из-за угла появился часовой. Явно не ожидавший, что можно устроить побег днём, часовой замешкался, скидывая с плеча винтовку. Алексей выбил оружие у него из рук, и они покатались по снегу. Красноармеец был силён, и Алексей скоро оказался прижат к земле. Но вдруг солдат обмяк. Алексей спихнул его и увидел Ксению с окровавленным штыком в руках.

– Бежим! – вскочив, приказал он.

– Сюда, – позвала Ксения, и он последовал за ней.

За углом стояли запряжённые лошади. Алексей помог Ксении сесть, сам заскочил на вторую лошадь, и они рванули прочь от станции, вглубь Болотной, по тесным улицам, за спасением. Они переправились через железнодорожные пути около станции Тын, и далее опять повела Ксения. Она, очевидно, уже продумала путь побега.

– Вот это девка! – то ли плакал, то ли смеялся Алексей, преследуя свою, уже без сомнения, и спасительницу, и любимую, и жену.

Уходили полями. Проскакав в угаре и волнении около десяти вёрст, они спешили в колке глубокого падуна, привязали лошадей к берёзе и толь-

ко теперь посмотрели друг на друга. Ксения вдруг кинулась к Алексею и зарыдала:

– Я человека убила! Из-за тебя!

Алексей обнял девушку, прижал к себе.

– Но если бы не ты, он убил бы меня, а потом и тебя! Понимаешь, это война! – он попытался утереть ей слёзы. – Всё, успокойся. Знаешь, сколько жизней на каждом из нас? На том же часовом! Сколько он убил? А меня хотели судить, а потом расстрелять! А ты спасла! Ты спасла меня, дорогая, любимая! На всю жизнь любимая!

– Ой, горе-то какое! – причитала Ксения.

– Откуда у тебя штык? И как ты ловко! А лошади откуда? Что за чудеса!

Ксения всё плакала, но утёрла глаза и стала рассказывать.

– Меня поселили в дом, около вокзала, к женщине. У неё два сына, чёрненькие такие, как нерусские. У них я нашла штык и потом пошла тебя выручать. А когда проходила мимо вокзала, увидела лошадей у привязи, а их отвела в сторону, спрятала за оградой, а потом уже к тебе.

– И это, считай, середь бела дня?!

– Ночи я ждать не стала, а вдруг тебя сейчас стрельнут, вот и пошла. Штыком поднимаю доски, а они не поднимаются, а тут ты помог. – И вдруг опять завывала: – А потом я человека убила!

– Не убила, а мужа своего спасла! Самого близкого человека. Ты понимаешь, что я твой должник на всю жизнь?!

– А как с этим теперь жить?! Я отцу помогала и свинью колоть, и разделывать, и бычка резать. Но не человека! Я видела кровь, но не человеческую.

– Вот! И нам предстоит преодолеть эту пропасть, потому что я видел кровь только человеческую! И теперь у нас на двоих эта человеческая кровь! Теперь мы вместе и навсегда! Я тебе помогу, вот увидишь, я рядом, а значит, всё будет хорошо!

Они обнялись и стояли долго-долго.

– Маму жаль и батьку моего. Мама теперь плачет, думает, что со мною беда.

– А с тобою – счастье! – Алексей попытался поцеловать девушку.

– Нет, со мною горе и счастье вместе. – Ксения отвернулась и посмотрела в потемневший вечерний небосклон.

– Через боль рождается жизнь, как человек рождается с болью матери, – пытался утешить Алексей.

– Но не на чужом горе! – разумно отвечала Ксения.

Алексей радовался её умению думать и говорить: значит, эта красавица не крынка из-под молока, а умница!

– Любимая моя, скажи наконец-то, как тебя зовут?

– Ксюша, – глянула на него девушка.

– Ксения? Какое милое имя! А меня Алексей.

И вдруг она, смахнув слезу, рассмеялась:

– Алексей?! Ох и добренько же тебя разукрасили! Не лицо, а поле боя!

Дядя Игнат (18 декабря 1919 года)

Когда Алексей попал в плен к красным, его обыскали, отобрали деньги. А были у него купюры всякой разной масти, на все случаи жизни, даже марки и десять долларов. Но самая большая потеря – сабля прадеда, тот её у француза ещё в Отечественную добыл. А драгоценности сохранились,

никому в голову не пришло пленённую девушку обыскивать. Вот и пойми эту жизнь, где найдёшь, а где потеряешь.

Ксения предложила спрятаться в Коураке, в предгорном селе у бабки Анисьи, отцовой матери. Дорогу она хорошо знала, потому что ещё при царе отец проводывал братьев и родителей каждый год и Ксению с собою брал.

При бабке Анисье жил сын Иван, он золотишком промышлял на реках Салаира. И была у него заимка на тамошней горе. Вот об этой заимке и подумала Ксения, когда решила помочь молодому офицеру бежать, и тогда же она поняла, что с ним останется. До Коурака вёрст сто будет, но и про ночлег Ксения подумала. А ночевать решила у брата отцова под селом Кииком, на хуторе вблизи реки Ини, а до него полдороги будет. Сыновья бабки Анисьи после женитьбы каждый по своим хуторам разъехались, благо в Сибири и места, и леса, и земель пахотных немерено. Вот каждый себе полюбившееся место и нашёл: Егор в Елшанке, Игнат на Ине, а Иван в Коураке при матери остался.

Когда Ксения с Алексеем добрались до хутора дяди Игната, что на берегу Ини, уже темно стало. Постучали в ворота. Тот на стук чуть из ружья не пальнул. Но обошлось. Удивился, но принял. В доме тепло, овчиной и уютом пахнет. Чисто, жена на стол еду мечет сноровисто.

Алексей подивился виду Игната: мужик среднего роста, в душегрейке с меховой оторочкой, голова стрижена под горшок, а борода великая, чёрная и такая густая, что даже на щеках растёт. И видно на лице Игната только нос и глаза, будто староввер перед тобой. Нос тоже изрядного размера, а глаза огненные, будто сквозь человека светят. А тётя Оля, напротив, чиста лицом, добра взглядом и сама, как хохлушечка, кругленькая и ладная. Коль такая жена в дому, и уюта не надо, без печи согрее.

Долго молчали, только сосредоточенно ели, и наконец дядя Игнат спросил:

– И кто же тебя так разукрасил? Красные или белые?

– Красные...

– И за что? За Колчака? Или ограбил кого?

– Я белый офицер, Левашов Алексей Павлович, поручик Русской императорской армии, сухопутные войска.

– А Ксюша почему с тобой?

– Она моя невеста.

– Егор благословил? – повернулся Игнат к Ксении.

Наступила томительная тишина.

– Вот что ты пристал, – не утерпела тётя Оля, – не видишь, что у них свадьба с убёгом.

– Это так? – опять обернулся Игнат к Ксении.

– Так, дядя, – она покраснела, встала из-за стола и отошла к печи, – я по доброй воле с Алексеем бежала.

– Отлично! Вот тебе белый офицер, когда красные кругом, вот тебе морда, будто кусок мяса, а вот тебе и племяшка со всем этим добром и свадьбой с убёгом. Что с вами сейчас бы сделал Егор? И что мне, брату его, с вами сделать?

– Игнат, – опять не утерпела жена, – они к тебе за помощью прибежали, а ты сидишь и кочевряжишься. К кому им ещё податься? К своему или чужому дяде?

– Дядя Игнат, я люблю его. И к тебе мы бежали и впрямь за помощью. Больше нам спрятаться негде, только на заимке дяди Ивана! – взмолилась Ксения.

– Что хочешь? – обернулся к Алексею Игнат.

– От красных спастись и с Ксюшей остаться.

- Через Иню уйти?
- Да, на Салаир. Как она сказала, к вашему брату Ивану.
- Ивана нет, помер. Но заимка осталась.
- Наступила тягостная тишина.
- Принеси подарки, – обратился Алексей к Ксении. И когда она принесла свёрток, положил его на стол и развернул драгоценности.
- Господи помилуй! – охнула тётя Оля, увидев разные кольца, браслеты и иные украшения.
- А не много ли за переправу? Или со страху?
- Половину. А вторая половина родителям Ксюши. Выкуп за неё и покаяние.
- Награблено? – спросил Игнат.
- По-разному, – ответил Алексей.
- У всех по-разному, – задумчиво ответил дядька. – Хорошо, что честно.
- Что ещё?
- Всё.
- Вот и дурак. Тебе две лошади не нужны, тебе хорошие розвальни теперь нужны, мука, спички, соль. Понял? Я приготовлю. Я знаю, что нужно на заимке хотя бы на первую зиму. А то и себя голодом заморишь, и девку погубишь, не чужая она мне, племянница.
- Спасибо вам! – обрадовался Алексей.
- Давай барахло своё сюда. Будет так: половина Егору, брату моему младшему, это, правильно ты рассудил, за Ксюху, а вторая половина за переправу, провиант, и довезу я вас до Ивановой заимки сам. Это чтобы к матери моей не появляться. Она уж очень говорливая. Золото на Салаире найдёшь, его там хоть ложкой черпай. А молчание наше – бесплатно. Егору же скажу, что у Ксюши всё хорошо. Мол, это свадьба с убёгом, но венчались у меня.
- Венчались?! – переспросила Ксения.
- Именно! Венчались! Завтра поеду с местным батюшкой говорить, он мне тут чуток задолжал.
- А пост? Сейчас Рождественский пост идёт. Батюшка в пост не обвенчает, – авторитетно заявила тётя Оля.
- У нас теперь война, брат на брата, некогда пост соблюдать, а они путешествующие, этим вообще всё можно.
- Не богохуль, – упрекнула тётя Оля.
- Наши дела, не бабы. Как я Егору в глаза смотреть буду, если не обвенчаю? В прелюбодействе жить дядька разрешил? Так, что ли? Всё будет по-людски.
- А не сдаст красным нас этот священник? – засомневался Алексей.
- Не сдаст. У нас тут не сдают, мы тут друг за дружку ещё держимся.
- Спасибо, дядя! – кинулась Игнату на шею Ксения.
- Погодь благодарить. Но к Егору поеду позже, нынче время горячее, чтобы в Елшанку ехать. Переждать надо. А венчаться нынче будем, в пост, крепче узы будут, когда в пост и поперёк времени.

Свадьба с убёгом (23 декабря 1919 года)

Дядя Игнат не обманул. Готовились к отъезду основательно, вместе управлялись по хозяйству и со скотиной. Тут же лечили Алексея, синяки и жёлтые разводы сходили на глазах. Но скорый побег, что называется,

налегке, и полста вёрст верхом не прошли даром для Ксении. Она тайно пожаловалась тётке Оле на саднящую боль внизу живота.

– Приморозили девку-то, до коликов, – чуть позже проворчала тётя Оля своему мужу, будто он тому был виной.

– Так лечи, а то детков не будет, – удивился Игнат.

– Так и лечу. Сегодня, кажись, полегчало, – сказала, будто огрызнулась, тётя Оля.

Спали молодые по разным комнатам, – как и обещал Алексей, близость только после венчания.

Прошло десять дней, до Рождества осталась неделя. Тётя Оля готовила праздничный стол, дядя Игнат уехал за священником, который красных на дух не переносил, а Ленина звал антихристом.

К обеду в собственной кошёвке приехал батюшка, следом за ним дядя Игнат в розвальнях. И пока Игнат распрягал своего коня, священник вошёл в избу. Крупный, высокий, ещё молодой, но уже с разъётым брюхом. Скинул шубу на руки тётке Оле, поправил тяжёлый крест на животе. Со свету с прищуром оглядел горницу, увидел в красном углу иконы и басовито, со вкусом пропел, осеняя себя крестным знамением:

– Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! – Потом повернулся к ожидающим его тётке Оле, Ксении и Алексею: – Мир вашему дому!

Тётя Оля подошла к священнику, поклонилась в пояс, коснувшись пола правой рукой, потом сложила ладони лодочкой вверх.

– Благослови, батюшка Феофан!

Священник перекрестил её голову и положил свою пухлую руку в её ладони, тётя Оля поцеловала руку священника и с видимым смирением отошла прочь, давая иным поздороваться с батюшкой. Скоро вошёл и хозяин. А батюшка уже готовил церемонию исповеди и венчания.

И всё было достойно и благородно, степенно и с соблюдением чина. Исповедались все, и дядя Игнат тоже, в отдельной комнате при закрытых дверях. Тётя Оля специально шебуршала на кухне: то тёрла, то мешала квашню, то в печь дров подкидывала, чтобы ни звука не донеслось из комнаты и не нарушилось таинство исповеди. Предусмотрительная женщина.

Последним исповедался Алексей, долго, так долго, что от волнения дядя Игнат налил из четверти полстакана сивухи и жадно выпил, чему крайне удивилась жена. На том неожиданности не кончились. Потом быстрым шагом из комнаты буквально выскочил священник и, не накинув шубы, вышел на улицу, стоял там минут пять в рясе, считай, раздетый. Алексей оставался в комнате. Скоро вернулся священник, прошёл к исповедному и, не закрывая дверей, сказал:

– Не на земле, а на небе развязывать будешь все узелочки, что завязал здесь.

После накинул на Алексея епитрахиль и начал читать разрешающую молитву.

– Господь и Бог наш, Иисус Христос, благодатию и щедротами Своего человеколюбия да простит ти чадо Алексия, и аз, недостойный иерей, властью Его мне данную, прощаю и разрешаю тя от всех грехов твоих, во Имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

Таинство венчания прошло подозрительно быстро, на трапезу Феофан не остался, сослался на дела – кого-то отпевать надо – и сразу же после церемонии покинул дом.

Дядя Игнат посмотрел в окно на спешащего к своей кошёвке священника, открыл бутылку, налил чуток, выпил залпом и произнёс:

– Действительно, свадьба с убёгом. Ну-с, за стол, молодые!
– Вот сюда, Алексей, Ксюша, седайте! – засуетилась тётя Оля.

– Что мы здесь – пимы сибирские, – продолжил свою мысль вслух дядя Игнат. – Какие тут грехи у нас: своровал, напился, бабу побил. А ты три войны пройди и человеком будь, когда всё человеческое вместе с дерьмом и мочой на поле боя осталось! Вот поди потом и исповедуйся! Вот поди потом и стань святым! Слабак Феофан! Мужика исповедь честную услышал и дриснёй весь двор загадил! – И вдруг обернулся к Алексею, руку протянул, пожал крепко. – Уважаю. Потому что честен. Вот потому и Ксюху отдаю с уверенностью, что счастлива будет, потому что при мужике.

Игнат посмотрел на окно и ударил кулаком по столу.

– Завтра повезу вас на заимку. Лёд на Ине за эти дни окреп. Проедем!

– А если Феофан всё-таки доложит кому о нас? – спросил Алексей.

– Не доложит, знает, что убью. Вот этой рукой. Наливай, зятёк, гулять будем.

Выпили изрядно. Говорили мало. А о чём говорить, всё и так понятно. Счастье с горем смешано, как кровь с молоком. Время такое.

– Ну что, Алексей, легче после исповеди стало? – спросил хмельной Игнат.

– Нет. С самогона полегчало, будто вожжи ослабли, будто душу отпустили на волю погулять. А от исповеди – нет. Бог, он, может, и простит, но ведь и самому себя нужно простить, а это уже сложно.

– Вот и у меня такая же канитель, – в ответ вздохнул Игнат. – Поп, он всё вынести может, потому что чужое, а как самому быть, никто не скажет. Как с собою в мире жить?

– Верно говорите, Бог-то отпустит, а кто меня от меня отпустит? Кто примирит совесть с душою? – согласился Алексей. – Видно, тяжёлый грех у тебя на душе, дядя Игнат?

– А тут как посмотреть. Грех-то вроде и не мой, а душа у меня болит. И пока бабы свои разговоры разговаривают, расскажу тебе, признаюсь, поскольку ты сам не чище меня, потому что в тебе чую душу сродную-грешную. Даже попу стыжусь о том рассказать. А ты сегодня на исповеди не постыдился о себе поведать, вот и я покаяться хочу.

Жил у нас здесь рядышком, в деревне Кусмень, парень Гришка Заяц, и задумал он жениться на девахе местной, такой же бедной и неприкаянной. За душой у них ни гроша. Вот и приехал ко мне этот Гришка, рухнул в ноги и говорит: «Помоги мне, дядя Игнат, на ноги встать, займи денюжек, с лихвой отработаю». А в меня будто чёрт вселился, он слезами пол мает да штанами вытирает, а я ему нет, и всё тут. Всех сирых, говорю, и убогих не согреть, вон вашего брата сколько расплодилось, и всем дай! Встал Гришка, поклонился и говорит: «Прости, дядя Игнат, что пришёл к тебе, знать, иной у меня путь». И ушёл.

Потом узнаю, что Гришка в Новониколаевск подался на заработки, строить Алтайскую дорогу, там изрядно платили, а деваху его в батраки пошла к купцу местному. У того парни подрастали. Что там и как – не знаю, да только пошла та деваху по рукам, купеческие пацаны ею даже приторговывать начали. Короче, срам на всю округу. Вот я и думаю, что я благое дело сделал – спас Гришку от сраму, женился бы он на шкуре бесовестной. Вернулся Гришка через год с деньгами хорошими, а тут такое непотребство. Напился в трактире придорожном у того же купца, а ему его же деваху за деньги предлагают. Порешил он этих двух братьев купеческих в том же трактире и убёг. Где он теперь, никто не знает, говорят, на дорогах шалит. Но я не верю, уж очень он добрым был, уважительным.

Однако двоих убил! Вот как она, жизнь-то, поворачивает. И я вроде как тут ни в чём не виноват, моё дело и моя воля, помочь али нет. А сомнения берут, думаю теперь: помоги я тогда Гришке, и жизнь у него потекла бы иначе, и девка по рукам не пошла. Две души убиенных теперь на Гришке висят, а может, уже и более того, рыщет на большой дороге и грабит безвинных людей. Вот я и гадаю теперь, сколько в Гришкиных грехах моего будет? А тут ещё одна бабка мне как-то и брякни, на моё же слово, что всех, мол, не обогреть. Она мне и говорит: да, милоч, всех не обогреть и не накормить, но стремиться к этому надо. И совсем меня покоя эта старуха лишила. Вот за то, во искупление греха своего несвершённого, повезу вас с Ксенией до самой Ивановой заимки. Может, оттого душу мою грех тот на волю отпустит.

И вдруг бабы шептаться меж собой перестали и чему-то своему громко засмеялись. Потом притихли, а Ксения запела, тоненько и робко, но подхватила тётя Оля:

Домик стоит над рекою,
Пристань у самой реки;
Парень девчонку целует,
Просит он правой руки.

А с припева и Игнат забасил:

Верила, верила, верю,
Верила, верила я.
Но никогда не поверю,
Что ты разлюбишь меня.

Один Алексей молчал. Народных песен он не знал, петь не умел, а убивать больше никого не хотел. Оттого и потекла по его щеке пьяная юркая слезинка. Исповедь всё-таки отпустила душу, окаменевшую, осатаневшую, чужой кровью залитую. А Ксения вела своим тонким и чистым голосом, будто залечивая его раненое сердце:

Белая роза свиданья,
Алая роза любви,
Жёлтая роза разлуки —
Я умираю с тоски.

И все трое – Игнат, тётя Оля и Ксения – уже слаженно и уверенно:

Верила, верила, верю,
Верила, верила я.
Но никогда не поверю,
Что ты разлюбишь меня.

Белую розу срываю,
Красную розу дарю,
Жёлтую розу разлуки
Я под ногами топчу.

И вдруг Алексей подхватил припев, сорвался, но приладился вновь к голосу жены, тётки Оли и громкому, низкому, будто рычание, вою дяди Игната:

Верила, верила, верю,
Верила, верила я.
Но никогда не поверю,
Что ты разлюбишь меня.

Первый раз пел Алексей, и ведь получилось.

В больнице (январь 1920 года)

Долечивался Иван Николаевич Шелковников в Новониколаевске в железнодорожной больнице на Владимирской. Лежал в хирургическом отделении – отдельном деревянном бревенчатом бараке. Лечили с почётом, как партизана, пострадавшего от колчаковских карателей. Мужики – все с боевыми ранениями – дивились чуду спасения из-за войлочной подкладки, пришитой к внутренней стороне шапки.

– Вывели нас на пустое место, поставили в две шеренги, – рассказывал герой. – Раздалось: «Пли!» Все попадали, как литовкой подкосило. Я тоже упал. Сам не знаю, живой или мёртвый. Потом слышу: «Рубите шашками». Я притаился, как мёртвый, чуть дышу. Подошёл один и рубанул. У меня искры из глаз. Ещё раз рубанул – всё потемнело. Потом команда: «Загребите снегом!» Это я услышал всё равно как во сне, еле-еле. Дальше слышу топот – уезжают. Руки из снега вытащил, голову нащупал. Не раскололи всё же. А все остальные мёртвые. Вылез, вышел на тракт – и айда. Ночь была светлая. Холодно. Голова у меня болтается, не держится – шею разрубили. Кровь бежит, а идти ничего, могу. Между трактом и железной дорогой эстонские хутора. Я туда и пошёл. Там работники – свои ребята.

– Да, – вздыхали мужики, и у каждого была своя история, своя боль.

– А вот меня изувечили по моей же глупости, – поддержал разговор пожилой крестьянин по имени Тарас, который по больнице в юбке ходил. – Пришли в деревню беляки, забили все избы до отказа. А утром конфисковали у населения много продуктов. Им нужно было дальше отступать. Многих деревенских они мобилизовали в обозы. Попался и я. Пришлось везти на своём коне беляков до станции Тайга. Вёз я четверых солдат. А был у меня кобель рыжий с красноватым оттенком и всегда неотлучно со мной. Мы уже подъезжали к Тайге, а тут выскочил заяц. Собака, понятно, за ним. Я сдуру и брякнул: «Смотрите, красный белого погнал». Белякам это не понравилось. На станции меня выпороли плётками, да так, что не мог ни сидеть, ни лежать. Вот теперь, стыдно сказать, с вами, героями, жопу свою лечу, штаны надеть больно, вот юбку теперь ношу. Срамота прям.

И вдруг в очередной раз, собравшись в курилке, мужики начали спрашивать Шелковникова о расстреле на берегу речки Ояш, о стойком партизане, который и мёртвый стоял, будто скала. В тот момент Иван Николаевич неожиданно и даже как-то не к месту вспомнил, как год назад вёз в своей кошёвке древнего старика до железнодорожной станции, а тот вместо денег подал ему скуфейку, но из войлока, и посоветовал подшить в шапку, для тепла.

– А не грех, – тогда ещё спросил Иван Николаевич, – носить поповское убранство на своей плешивой голове?

– Не грех, – ответил белый старик, – даже опричники Ивана Васильевича такие носили.

– Опричники? А откель знаешь?

- Знаю, – ответил белый старик. – Глядишь, и в голове твоей почище будет.
- От скуфейки? – удивился Шелковников.
- Нет, от тепла. Если бы скуфейка чистила, все попы святыми бы стали.

Пригодится она тебе, голову твою спасёт.

И не подумал тогда Иван Николаевич, что старик тот с намёком говорил, даже слегка обиделся на него за священнослужителей, что вроде без уважения к ним. Но скуфейку из плотного и мягкого войлока принял. А теперь понял, что не простой тот старец был, истинно святой, оттого и в полах сомневался. И ещё... Шелковников вдруг увидел в этом спасительном случае нечто загадочное. Видно, рано было помирать, что-то ещё осталось неделанное на земле. Но вот что, тут надо бы подумать. Без сомнения, теперь знал Иван Николаевич, что ничто на земле не случайно, а дадено по заслугам и во благо, даже горе пережить.

Ещё один из заядлых курильщиков по имени Александр Парфёнов затеял свой рассказ.

– Не поверите, братцы, я-то был отправлен в Новониколаевск для координации работы партизанских отрядов. Ну, а как с малолетства имею склонность к лошадям, да и работал в Москве на ипподроме ещё с царских времён, то по прибытии в сибирский город напрямик на ипподром. А куда ещё лошадинику податься?

Колчак любуется по всей Сибири, а потому здесь сформировалось два фронта сопротивления ему: одни – убеждённые коммунисты, а другие против Колчака, которые из-за его зверств и грабежа пострадали. Они так и говорили, мол, мы за коммунизм без большевиков. Вот я и озабочился, как их перемешать так, чтобы у всех мозги на место встали. А тут незадача: Колчак Омск сдал без боя! И из Омска сюда, в Новониколаевск, прилетают на аэропланах белые авиаторы во главе с полковником Сергеем Аркадьевичем Бойно-Родзевичем. Ипподром – ровное место. Приземлилось пятьдесят восемь аэропланов и около ста пятидесяти авиаторов вместе со штабистами. Говорят, не все долетели, сломались. Что делать, думаю. Диверсию учинить? А технику жаль, у Красной армии аэропланов раз-два и обчёлся, а они за шестьдесят вёрст летать могут без остановки и четыре пуда боеприпасов везти. Ценность имеют огромную. И влез я в доверие к полковнику, их благородию. А как влез-то? Они прилететь-то прилетели, а ипподром на окраине, два дома рядом, и те битком набиты обслуживающей, а на улице зима! Вот я организовал через комячейку на станции Новониколаевск пять буржук, два воза дров и два диковинного угля. Уголь начали добывать в Судженске всего пятнадцать лет назад. Заняли одну конюшню, почистили, тепла нагнали, разместились облуга и механики, а прочие офицеры постарше в Новониколаевск съехали.

На мою радость, Колчак ещё в июне снял Сергея Аркадьевича с должности и перевёл в резерв, но авторитет полковника среди подчинённых был совершенный. И начал я потихоньку с бывшим начальником Воздушного флота армии Колчака разговоры, что Колчак проиграл, что Красная армия скоро здесь будет, а когда во Владивосток упрётесь, куда полетите? А новой власти и самолёты, и авиаторы нужны, потому как советская власть есть власть народа. И авиация нужна. А как без авиаторов авиацию развивать? Вот, говорю, и подумайте. Так самолёты никуда не улетели, так на ипподроме и остались, и авиаторов около сотни красным сдались, остальные на восток побежали, в Маньчжурию в основном. А после сдачи полковник просил помочь уехать в Польшу. Так и случилось.

А сюда я попал случайно. Когда полковник построил авиаторов и предложил остаться в России с большевиками и служить Родине, один офицер

выстрелил да в меня угодил. Вот я теперь здесь, но скоро поеду в Москву, аэропланы уже там. Кончилась моя конная служба, я теперь помогать буду аэропланы строить.

После рассказа Парфёнова потёр Шелковников лоб и говорит:

– Вот же судьба. В тебя стреляли, чтобы ты в землю лёг, а ты в небо полетел.

И смеялись все раненые так неуёмно, что нянечка без стеснения в уборную, где они курили, заскочила да так цыкнула на них, что смеху ещё больше стало.

Переправа (январь 1920 года)

Отправились в путь – чуть светать начало. Снарядили сани, грузённые провиантом и инструментами, запасную лошадь привязали к саням на длинный повод. Дядя Игнат места знал отменно, спустились на лёд Ини.

– Вот здесь островок, лёд прочный до него, а там посередине реки проедем немного, там мелко. Потом на той стороне появится берег пологий, там и пойдём через стремнину на берег. Однако на стремнине лёд тоньше, подалее друг от друга держитесь.

Переправлялись пешком. Игнат приказал близко друг к другу не подходить, а сам правил лошадкой, запряжённой в сани. Лёд был крепкий, даже не прогибался под ногой. Местами под снегом, а местами чистый и прозрачный, но дна не было видно, чернота. На стремнине лёд затрепал под санями, и Игнат приказал Алексею с Ксенией остаться на острове, а когда переправился и поднялся на берег, распорядился спуститься по течению и переходить, минуя след саней. Впрочем, было странно видеть связанных между собой длинной верёвкой Алексея и Ксению. Когда Игнат привязывал их друг к дружке, так и сказал:

– Теперь или жить вместе, или помереть.

– Пугаете только, – засмеялась Ксения.

– Шутит, – согласился Алексей, обнял жену и поцеловал.

– Ну, будет тут! Телячьи нежности распускать. Скоро надоедите друг другу. На заимке особых развлечений нет. Только топи и жрать готовь, ну и... – задумался, но всё ж сказал, – и о потомстве думай.

– А сколько вёрст до заимки? – спросил Алексей, когда уже пошли полем.

– Семьдесят, пожалуй, будет, – предположил Игнат. – Ксюха, а ну, седай в сани, нечего ноги зазря бить.

– Мы за день не одолеем, – заметил Алексей.

– Есть у меня по пути на примете избушка охотничья, за Курундусом. Теперь время Рождества, значит, все дома, вот мы и переночуем в ней. Мороз бы не ударил, чтобы лошадок не попортить. Но опять-таки, если что, мы их в домик заведём, как-нибудь поместимся, только бы дверь не помешала. Не помню я про дверь, какая она – низкая или для людей.

Потом шли молча. Ксения лежала в санях, укутанная в дядькин тулуп, а Игнат правил лошадкой и шёл рядом, ему вслед шагал Алексей.

– А теперь нам на дорогу выезжать, а на дороге все может быть: и красные, и белые, и разбойники. Обижаются люди, грабежи кругом. А потому вы вроде как тифозные, а я вроде вас везу к Анисье, матери своей, в Коурак от тифа лечить. Там дёготь припасён, намажьтесь, чтобы от вас, как от пса смердячего, воняло. Опять-таки, Алексей, ружьишко под рукой держи,

но до срока не доставай. Попробуем доехать миром. Ну, а если воевать придётся, то уж будем воевать.

– Здорово. А вы, дядя Игнат, продуманный. Такие на войне на вес золота.

До избушки добрались, никого по дороге не встретили, но всё же, сворачивая в лес, дядя Игнат приказал берёзку срубить и к саням привязать, чтобы волочилась и след заметала.

Наутро запрягли в сани вторую лошадку, для того и вели, чтобы сберегла силы. Мороз усилился, и в том Игнат видел благо, потому что скоро пересекать большой тракт. А в Рождество да в мороз пройти незамеченными легче.

Легче, но не удалось! Уже на подъезде к тракту, – видно его было, – вдруг появился отряд конных, человек пятнадцать, красные, потому как один конник скакал с красным вымпелом на высоком древке.

– В тулуп кутайтесь, – приказал Игнат. – Красные, поди, по тракту уйдут.

Но нет, отряд свернул ровно на Курундус и мчался навстречу Игнату. А тот вправо взял, чтобы отряду дорогу освободить, лошадку остановил, сам с саней соскочил и начал неистово креститься на приближающийся отряд, а потом упал на колени и замер, уткнувшись лбом в снег, мол, делайте со мной что хотите, ни в чём я не виноват. Конники промчались мимо. Видно, отряд спешил по каким-то важным делам.

– Всё, ушли, – сказал красный от волнения и мороза Игнат. – Бог миловал!

Алексей и Ксения сели в санях, и Алексей начал смеяться.

– Дядя Игнат, ну ты удивил! Как ты крестился и на колени рухнул, это же надо так раболепно и неистово! Ну, артист!

– Да я, если честно сказать, думал, что всё, не уберёг племяшку. По тебе и твоей роже, даже заросшей волосьём, видно, что ты беляк. На лбу написано большими буквами: я – белый офицер. А их пятнадцать бойцов!

– Не веришь ты в Бога, дядя Игнат! – возразил Алексей.

– Это почему же? Вчераш поп а вам привозил. Сам исповедался, ручку целовал! Как же это не верю?!

– Поп тебе грехи отпустил?

– Ну, допустим.

– Причастил Святых Христовых Тайн?

– Ну, так и что?

– А это прямая дорога в Царствие Небесное тебе открыта? Так или нет? А? Ксюша! Или я неправильно понимаю?

– Да ну тебя, тебе всё только смеяться, – прильнула к мужу Ксения.

– Вот я и говорю, если бы в Бога верили, то после исповеди смерти не боялись бы. А мы не верим, у нас всё на всякий случай, и Бог, и молитва, и исповедь.

Дядя Игнат только махнул на Алексея и, ничего не сказав, тронул вожжи.

– Но-о! Родимая! Поехали! – Сам сел на сани, чему-то улыбался и сильно был собою доволен.

Проехали чуток по тракту с новой берёзиной вместо хвоста, съехали в поле и заспешили к наметившимся на горизонте горам.

Заимка

(январь 1920 года)

Заимку дяди Ивана нашли не сразу. С подветренной стороны снегу намело по горло. Это в полях его мало, а в горах нанесло будь здоров, по

самое не хочу. Пробивались хитрыми путями, и опять опыт и знания дяди Игната выручили. А когда добрались, Алексей прямо сказал:

– Дядя Игнат, если бы не ты, никогда бы не сыскать нам этого места.

– Иван, царствие ему небесное, хитрым был, умным, умел тень на плетень навести. А летом тут и сам чёрт дорогу не найдёт, – ответил дядя Игнат, потом подумал и добавил: – От людей уйти легко, но без людей выжить будет трудно. Я живу на своём хуторе, а от людей не отрываюсь, хотя завтра всё может быть, жизнь заставит – сожрать могут. Жизнь, она такая, сожрут и не поперхнутся. И всё-таки без людей страшно жить.

Заимка в удивительном месте, вроде в провале склона, но вся округа на виду. С одной стороны бок у горы лысый, нет деревьев, ни берёза не растёт, ни сосна, ни пихта, и тут же заросли такой плотности, будто кто деревья напугал и с поляны разогнал, и те столпились по сторонам и на злодея смотрят. Домик маленький, спиной к склону, окно деревянное, слюдяное, в четыре глаза, но со ставенькой от ветра и нечистой силы. Когда вошли внутрь, Алексей сказал, показывая на сияющее от солнца окно:

– Смотри, Ксюша, такие только во дворцах бывают!

А выход сбоку под хозяйственный навес. Под навесом дрова, ларь пустой невесть для чего, сеном угол забит, колода для дров, в нём топор, ржой прихваченный, под крышей пила двуручная с крупными и острыми зубьями, в ящике гвозди гранёные, длинные, кованые, всё на виду и грабежом не тронут. И гнездо осиное, огромное, как ведро, под потолком висит.

– Убери, а то летом сожрут, – распорядился дядя Игнат.

Пока Алексей разорял гнездо, а потом знакомился с угожьями, дядя Игнат печь затопил. Печь без дверки, огонь виден, – красиво.

– А дверка где? – спросил Алексей.

– А без надобности. Видишь, топка глубокая. Это чтобы брёвнышки не пилить и не колоть, просовывай только, как прогорят. Это в Сибири принято. А ну попили-ка чурками – руки отсохнут.

Ксения ходила кругом, смотрела посуду, постель в углу из шкур, печь и полки. Стол с неровной поверхностью, на котором даже чашка и та стояла криво, возвышалась лампа керосиновая, полная керосина, и гасильник для лучины. А по полу рассыпана сушёная полынь и пижма – первое средство от мышей.

– С милым и в шалаше рай! – подбодрил её дядя Игнат. – Поживёте год, всё уляжется, красных погонят, и вернётесь к людям с приплодом.

Разгрузили муку, пшено, другие припасы в лабаз. Дядя Игнат проверил наличие ложек, чугунков, ножей и прочей кухонной прихоти, что-то от себя добавил, но без излишеств и баловства.

– Ну, первую зиму вам одиноко-то не будет, а потом, Бог даст, и распогодится. Живите, любите, печь топите, да помните, что среди зверей живёте. В сортир без ружья ходить опасно, сожрёт кто. Медведя здесь нет, спит, а следы рыси видел. Однако и косули много, зайца и лисы просто прорва, волка видел только у подножия. Короче, жратвы вам тут хватит.

– А вода? Здесь же нет воды. Снег топить? – удивилась Ксения.

– А вот про воду я вам и забыл сказать. Айда со мной!

Они вышли из дома, дядя Игнат зашёл за поленницу дров под навесом и позвал:

– Алексей, огоньку захвати!

За поленницей обнаружился вход в скалу. Дядя Игнат запалил на стене факел, и тот осветил грот, похожий на чум, но по земле текла вода. Она вытекала из стены, попадала в углубление наподобие корыта и другим ходом исчезала под стеной.

– А вот вам и вода, и зимой, и летом. И для себя, и для лошадок, если они нужны будут. Но лошадки вам здесь пока не нужны, они всё зверье вам соберут, всю дичь к дому приманят. Потому и Иван от лошади отказался, когда вторую загрызли. Для охраны, Алексей, лучше тебе рысь приручить, даже парочку: одну для себя, а другую для Ксюши. И живите спокойно. С марта по май окотится рысь, подкормит котят, убей матку и заberi приплод. Очень хорошие охранники вырастут.

– Опять убить кого-то надо, – удивилась Ксения.

– Ты людей убивать не можёшь, Богом запрещено, а живность всякую для жизни и пропитания в меру бери. Она для того и создана, чтобы человек выжить мог. Тут всё справедливо.

Дядя Игнат прожил на заимке три дня, очень важных, без которых молодой чете было бы очень трудно освоиться. Утром намеченного дня отъезда все вышли из дома. После оттепели ночью ударил мороз, и кругом теперь царила красота белого леса, покрытого толстым слоем инея. Алексей запряг одну лошадку в пустые розвальни, вторую привязал к санному разводу. Игнат уселся в сани, слегка щёлкнул языком, и послушная лошадка повезла его прочь.

– Отсажу огород и приеду, – пообещал он.

Алексей с Ксенией шли следом, потом долго стояли на склоне, пока он не исчез в густом лесу. А кругом сказка, у каждого дерева была своя пышная белая шуба. Красиво, но в душе появилась какая-то пустота и тревога.

Они вернулись в дом. Печь трубно гудела, Алексей прикрыл заслонку, протолкнул полено глубже в топку.

– Вот и сбежали мы и от белых, и от красных!

– Да, и от мамы, и от папы, – согласилась Ксения. – Хорошо только, что дядя Игнат сообщит им обо мне, богатый подарок вручит, и старики мои успокоятся.

– Так и будет, любимая. Здесь мы в счастье и спокойствии поживём. – Алексей повернул к себе жену и поцеловал.

«Зайчики»

(7 января 1920 года)

Игнат прежде поехал напрямки, потому как много петляли, когда искали заимку Ивана, а выбравшись на равнину, встал в свой же след, и дорога пошла веселей.

Дум у Игната было много: и про белых-красных, как бы минуло лихо встретиться что с теми, что с иными, и про Ольгу, всё ж таки на неделю, считай, оставил одну на хозяйстве, а тут разбойников развелось. Одно утешало: хутор его вдалеке от глаз людских и нет к нему нынче следа, глядишь, и обойдётся. Но не захватить к матери Игнат не мог, не по-людски это, не по-сыновьи – быть рядом и не попроведать мать родную, тем более матушка его Анисья была охоча до разговоров.

К полудню добрался до Коурака и напрямки по родным улицам к матушке. А матушка его увидела – и в слёзы.

– Жду тебя, сыночек, ой как жду! Давеча Гришка Заяц был, тебя спрашивал. Где, говорит, твой сын? Я ему отвечаю, что на Ине он живёт, чё здесь-то рыщешь? А он отвечает, что нет тебя на хуторе, значит, здесь, у матки. Ищи, говорю, может, найдёшь. Потом только и ушёл, окаянный.

– Плохо. У меня, говоришь, был? Поди Ольгу не обидел. – Игнат разделся, присел к столу. – Покорми, мать, да поеду, чует сердце беду. Ты прости,

что не погостил даже. Вот успокоится народ маленько, власть образуется, и порядок придёт. Тогда и приедем, может, с братцем даже.

– А кака власть-то будет, Игнаша?

– А нам без разницы, мама. Главное, чтобы порядок навели да разбою на дорогах не было.

– Банду эту «зайчиками» среди людей кличут. И белые ловили, и красные по ним стреляли, да всё впустую.

– Зайчики, говоришь, – повторил Игнат и начал хлебать щи.

И часа не гостил Игнат, перепряг лошадку и погнал домой. На свёртке в сторону Курундуса увидел нескольких всадников: никуда не едут, будто его ждут. А куда деваться, едет Игнат напрямик на них. Подъехал, бородастые мужики на конях спешили.

– Постой, Игнат, не спеши, разговор есть, – сказал один.

И узнал в нём Игнат Гришку Зайца.

– Кто ж сообщил, что здесь я, коль меня ждёшь? – удивился Игнат.

– Сорока на хвосте принесла, – в тон ответил Гришка.

– Чего надобно? – пряча в бороде страх, спросил Игнат.

– Глазищи у тебя прямо жгут, но не обжигают. Проси пощады, Игнат, ползай на коленях, как я ползал у тебя, прося о помощи. А не то убью тебя без твоего покаяния.

– Я тебя от бабы худой спас, а ты меня ещё и грозишь?

– Худыми бабы становятся от случая. Помог бы мне тогда, и жил бы я сейчас счастливо, хлеб растил и детишек.

– Худая баба бывает от рождения, родилась подстилкой, подстилкой и будет!

– Твоя что, тоже подстилкой родилась?

– Ты огороды не путай, твоя и моя.

– Тут заглянул к тебе на хутор, так она никому не отказала, со всеми ласкова была.

– Врёшь, сучонок! Врёшь же!

– Я тебе и говорю: баба подстилкой по случаю бывает.

Сдержал гнев Игнат, нащупал рукой ружьё под ногой, предусмотрел, и вот пришёл тот неведомый всякий случай.

– Смотри, красные скочут, – вдруг мотнул головой в сторону Игнат.

А те, как по команде, головы и повернули, а Игнату то и нужно было. Схватил он ружьишко своё и разок успел пальнуть. Прилетела и ответка от всех «зайчат» разом, но только лежал уже Гришка на спине с разорванной грудью, потому что в упор Игнат стрелял, не промахнёшься, да и не дробь на рябчика была заряжена, а пуля на медведя.

Так и нашли потом люди двух покойников рядом. С тех пор банда исчезла, будто и не было. Хоронила мать второго сына уже без слёз, не было, не текли по щекам слёзы, должно быть, от горя, что не на войне сгинули мужики, а от злобы и жадности.

Зимняя радуга

(7 января 1920 года)

К полудню, как уехал с Ивановой заимки Игнат, солнце совсем разыгралось. Вроде и мороз, а тепло.

– Пойдём во двор, посидим, пока мороз под сорок не завернул, – предложил Алексей, любуясь красотой слюдяного окна.

– Пойдём, – ответила отчего-то грустная Ксения.

Они вышли из дому. Алексей выкатил из-под навеса высокую колоду, уронил её набок.

– Трон наш царский! Присаживайся, принцесса моя! А я у ног твоих.

Они уселись на короткий обрубок рядом и обнялись.

– Что это?! – воскликнула Ксения.

– Где?

– На той горе, видишь? Огонь золотой, будто подмигивает. Страшно-то как!

– Вижу. Но отчего тебе страшно?

– Он мигает, будто смотрит на нас!

– Дурёха! Придумала тоже! Ну кто бы на нас смотрел? Да ещё с горы, до которой невесть сколько идти. Это какие глаза нужно иметь, чтобы нас видеть? Вот такушие, с колесо? – показал Алексей, вытаращив на неё глаза.

– Не пугай меня!

– И не костёр это. Это золото! Вот что там такое! Понимаешь ли, это золото! Точно! Слиток! Вот ей-богу! Чует моё сердце, разбогатеет мы здесь! Алексей встал. Прислонил ладонь ко лбу, сосредоточил взгляд.

– Точно не огонь, дыма нет. Это золото. Ксюша, это значит, мы богаты!

– Это же какой кусок золота должен быть, чтобы так мигать? Это дьявол! Сам сатана! Алёша, пойдём в дом! Я боюсь.

– Ксюша, мы теперь живём в тайге, много чего не знаем. Весной схожу на ту гору, принесу тебе тот слиток, и будешь смеяться над страхом своим. А теперь посмотри, есть там огонь?

– Нет, теперь нет!

– Вот и ответ, мы просто чего-то не знаем.

Ксения смотрела вдаль, на склон противоположной горы, но золотого огня больше не было, никто не мигал.

– А ты не думала, что это Вифлеемская звезда оповещает нас о празднике?!

– Почему ты так решил?

– Потому что сегодня Рождество! А я и думаю, отчего сегодня радуга светит.

– Радуга? – удивилась Ксения.

– Глянь туда, в долину. Видишь радугу? Вот я всё вижу, и огонь твой сатанинский, и радугу, а ты ничего не видишь!

– Где? Почему я не вижу, а ты видишь? Ты, наверное, обманываешь меня, смеёшься?

– Любимая, увидь её, это к удаче. Кто увидел зимнюю радугу, тому счастье придёт.

– Не вижу, вот ей-богу, не вижу!

– Смотри, – Алексей поднял руку, – вокруг солнца цветной круг: жёлтый, синий, красный. А по бокам ещё пятна такие же, как солнце. Ты видишь? Сразу пять солнц! Одно большое посередине, а четыре по сторонам.

– Вижу, Лёшенька! Вижу! Это сам Бог пришёл к нам в гости! – закричала Ксения.

– Как хорошо ты сказала: сам Бог пришёл к нам в гости. Так и есть, сегодня Рождество! Это не звезда – это сам Бог пришёл, весь в сиянии, как небесный цветок!

– Какое счастье, Лёшенька, быть с тобой и видеть Бога! Это нам на удачу, это ты правильно сказал.

– Цветок небесный! Ты этого чуда не боишься?

– Нет, этого не боюсь, а того, что мигает, боюсь.

– Радуга зимой! Здорово!

– Да, Алёша, а тот кусок золота, что мигает, ты потом всё же принеси, пожалуйста, чтобы я не боялась.

– Обязательно! Обещаю, какой бы величины он ни был!

Они вновь уселись на обрубок бревна, обнялись и просто смотрели на чудо-радугу.

– Как же мы теперь жить будем? – вздохнула Ксения.

– Счастливо будем жить.

– А как без людей жить счастливо?

– А много ль ты среди людей увидела счастливых? Они же как волки: сильный отбирает у слабого, подлый у честного, наглый у робкого, умный у глупого, богатый у бедного. И этих людей ты называешь счастливыми?

– Как-то без людей непривычно! Но ты есть у меня, и мне больше никто не нужен!

– И ты у меня есть, и мне никто не нужен. Я хочу жить мирно без людей, а с людьми такого не будет. У людей всегда война.

Радуга остывала, постепенно растворились краски, осталось лишь свечение на небосклоне.

– Что же это такое? Алёша, что за день, посмотри, как теперь светится, будто серебро рассыпали!

– Вчера было тепло, а утром ударил мороз, вот и заледенел пар миллионками искринок. Однажды я уже видел зимнюю радугу, но это было ещё в детстве. Посмотри теперь, всё, ничего нет. А почему? Потому что солнышко изменилось, оно за горой теперь.

– А как наша гора называется? – спросила Ксюша.

– Не знаю, может, и никак. Здесь гор много, не у каждой имя есть.

– Жаль, – она опять положила голову на его плечо.

– Почему жаль?

– У прочих, может, и нет имени, а у нашей должно быть!

– Так у нашей уже есть!

– Ты же только что говорил, что нет.

– У нашей горы название есть – Счастливая!

– Почему Счастливая?

– Потому что ты живёшь на этой горе! – Алексей ещё крепче обнял Ксению и вдруг запел хрипловато, но уверенно, правда, он запомнил только припев:

Верила, верила, верю,
Верила, верила я.
Но никогда не поверю,
Что ты разлюбишь меня.

Ксения удивлённо посмотрела на поющего Алексея и подхватила тоненьким, слабым, но очень приятным голосом:

Белая роза свиданья,
Алая роза любви,
Жёлтая роза разлуки –
Я умираю с тоски.

Иванов тайник

(март 1920 года)

В грот Алексей заходил часто, и не только чтобы набрать воды в вёдра. Что-то в этом убежище было таинственное. Во-первых, незамерзающая

вода: откуда вытекала, куда уходила – ответа нет. Свод ровный, будто плита, но весь в сталактитах – маленьких каменных наростах. И все сталактиты были целыми. Это значит, что здесь не было людей, кроме дяди Ивана. Если бы сюда приходили люди, то среди них обязательно нашёлся бы тот, кто отломил бы хоть одну каменную сосульку. Зачем? Да просто так, люди всё ломают просто так.

С трёх сторон стены неровные, но монолитные – одна скала, и только с четвертой будто осыпь из огромных валунов. Будто из пещеры вытекла не вода, а камни. Вот эта россыпь и манила Алексея. Что было за этими камнями внутри пещеры? И главное, почему грот не наполняется дымом от факела? Значит, есть выход для дыма! В общем, жизнь на горе преподнесила новые загадки.

Утро Алексей посвящал заготовке дров, которые просто улетали в открытую пасть печи, потому что дом плохо держал тепло. Уютно было, пока топилась печь. Ксения готовила еду, штопала свою исхудавшую одежду и пыталась рукодельничать. Кушанья не отличались разнообразием. Спасибо дяде Игнату, что дал немного сушёных грибов, иван-чай и бруснику с мёдом. В то же время мяса было много. Косули, зайцы сами лезли в чугунок. Даже на охоту ходить не надо было, достаточно выйти из домика и пальнуть в проходящую мимо косулю. Кроме того, у Алексея появилось ещё занятие, Ксения научила его кожевному ремеслу. Её отец слыл отменным кожемякой, прекрасно выделывал шкуры и шил обувь, вот Ксения и усвоила его уроки, а теперь стала строгим учителем для Алексея. И Алексей учился не только обрабатывать шкуры, но и шить. А шить кожу – это дело исключительно мужское.

Сверх прочих забот Алексей занялся разбором каменного завала. Долго разбирать не пришлось. Месяц работы окупился с лихвой, Алексей нашёл тайник – кожаный мешок с золотым песком и мелкими самородками. Самый крупный – почти два с половиной фунта. Такая находка обескуражила Алексея. Он положил мешок на место, заложил, как было, камнями и разбор завала прекратил. Ксении ничего не сказал.

Ксения же не на шутку затосковала по дому. Она начала часто вспоминать подружек, детские случаи, а иногда тихонько плакала. Алексей видел эти перемены, но молчал, знал, что слюбится-стерпится и с такою жизнью. Человек может выдержать всё.

Он серьёзно задумался о тайном смысле жизни. Он во всём искал тайный смысл судьбы. Вот, например, что значило вдруг свалившееся на голову богатство в двадцать пять фунтов рассыпного золота? Почему оно появилось, когда им воспользоваться нельзя? Превратности судьбы или кто-то издевается над ними? Что это? Ведь богатство имеет смысл, если живёшь среди людей. Здесь, на горе, золото теряет своё значение. Оно становится таким же бесполезным, как зола в печи. В подобных размышлениях он бродил пару дней, потом отрезал от дерева приглянувшуюся веточку, поставил в доме в воду и, когда веточка ожила, сделал из неё дудочку.

Новоиспечённый миллионер играть на дудочке не умел, но намерения имел самые серьёзные. И скоро окрестность ожила нескладной, но токливой мелодией. Такого местный лес не слышал никогда, потому что этот дудочный вой не походил ни на гул ветра, ни на призывы сохатого, ни на шипение и мяуканье рыси, ни на рёв медведя, ни на шум дождя. Это, как сказала Ксения, было похоже на то, как будто «жилы из меня тянешь». Но около заимки следов зверей стало меньше, а зайцы вовсе разбежались.

Заготконтора (1920–1922 годы)

В апреле, когда побежали ручьи и вся округа зашебетала, зашевелилась, зашуршала, завозилась и ожила, он выследил беременную самку рыси, которая приготовилась рожать. Как и советовал дядя Игнат, он пристрелил мать, когда котята начали употреблять сырое мясо. Он принёс их домой, молока не было, а потому кормили только мясом зайцев и косули. Рысьята росли быстро, очень скоро привыкли к людям и сами определились: один котёнок предпочитал общество Ксении, и она назвала его Рос, а второй – Алексея, и тот в поддержку жене назвал своего Рус. Уже в июне Алексей начал брать с собой на золотодобычу своего питомца, а второй оставался охранять Ксению.

Прошло два года, когда, не дождавшись возвращения Игната, Алексей наведался в базарный день в Коурак. Он узнал и про продналог, и об окончании Гражданской войны, и про зверства колчаковцев и белочехов. В центре села были похоронены сорок два борца за советскую власть, в том числе четыре красноармейца. Ненависть народа к колчаковцам во всей Коуракской волости была неистребимой и, видимо, вечной. А потому особенно появляясь на люди Алексей опасался. Однако муку, крупы и соль, патроны, порох, капканы и прочие многие надобности предстояло добывать самому.

На том же базаре Алексей выяснил, что существует заготконтора уездного продовольственного комитета, которая занимается заготовкой картофеля, мяса, яиц, овощей, пшеницы, а также рассчитывается за сданную пушнину не только рублями, но осуществляет обмен товарами, например, ту же пушнину меняет на патроны, порох и прочие охотничьи принадлежности.

Алексей набрался решимости и зашёл в контору заготовителей. За столом сидел пухлый мужчина с недовольным похмельным лицом.

– У нас реорганизация, – только завидев Алексея, сообщил он. – Приходите через месяц.

– А может, удастся как-то решить этот вопрос? Мне очень продукты и патроны нужны.

– Вы меня, товарищ, не путайте, мне работать надо, – заявил пухленький сотрудник заготконторы и утёр рукавом пот с лица. – А лучше вам от меня уйти, пока я милицию не вызвал.

И тогда Алексей положил перед ним маленький самородок золота. Пухленький глянул на металл и продолжил писать. Потом остановился, взял золото в руку, повертел, потёр, рассматривая его на свет, и вдруг сказал, ни к кому не обращаясь:

– Вот это заглотишь! – открыл стол, бросил туда самородок и вынул бланк. – Как фамилия?

– Левашов Алексей Павлович! – обрадовался Алексей и назвал своей настоящей фамилией.

– Работаете?

– Охотник, пушной промысел.

– И золотишко моешь?

– Балуюсь.

– Я тебе билет выписал, по нему пушнину сдавать будешь на складе. Склад за углом. На крестьянина ты не похож, рожа не та, но мне плевать. Осанку свою офицерскую поправь, а то стоишь по стойке смирно. Шапку

надень да поглубже на лоб натяни, тогда, может, ещё поживёшь. Иди. За совет потом рассчитаешься.

Шапки у Алексея не было. Значит, надо сшить, решил он, если даже мелкий торгаш его видит. Алексей тут же заглянул на склад. Там сидел ровно такой же пухленький мужчина, который ровно так же, на опережение, предупредил:

– Принимаем только по билетам!

– Хорошо, – ответил Алексей и скоро покинул склад, потому как сдавать сегодня было нечего, выделанные шкурки остались дома.

«Выход найден! – ликовал новоиспечённый член кооператива. – Власть новая, а лихоимцы старые!» – и это обстоятельство его очень устраивало. Пока есть воры – легче жить!

Но сегодня Алексей получил недвусмысленное предупреждение, что на люди ему лишний раз лучше не появляться – рожа не та.

Ученье – свет (июнь 1922 года)

Ксения совершенно обносилась. Шутка ли, столько времени носить одну и ту же юбку и кофточку, одежда напоминала уже не одежду, а лохмотья. Да и пальтишко уже потёрлось, но взамен ему Алексей сшил нечто похожее на полушубок. Хорошо, тётя Оля отдала Ксении свои новые пимики, беленькие, с незатейливой, но красивой вышивкой на голенище, сапожки кожаные без каблука, но с пряжкой, и ботиночки для лета. Просто счастье, что размер подошёл. Однако башмачки Ксения уже износила. Лапти тёрли ногу. И если супруг смог решить вопрос с заготовкой муки и прочего нужного, то с одеждой вопрос оставался открытым. Тогда Алексей решился идти в Коурак и поменять несколько шкурок лисы, белки и рыси на необходимую одежду. Однако поменять ничего не удалось, зато удалось добыть набор сапожного и плотницкого инструмента и ещё нечто, о чём Алексей говорить Ксении пока не хотел. Обретенные инструменты не произвели на Ксению никакого впечатления. Она требовала обувь – и для дома, и для улицы.

Алексей сел шить для Ксении ботиночки. Прежде дня два он выстрагивал колодки по размеру, взял заготовки кедровые, потому что древесина у кедра мягкая и легко строгаются. Начался процесс с подошвы из шкуры медведя. Когда обрезал подошву по краю колодки, ему уже понравилось, что было сделано собственными руками. Если медвежьё шкуру Алексей выделял впервые и она действительно получилась для подошвы или, вернее, не получилась годной больше ни на что, то козья шкура была мягкой и красивой. Шил новоиспечённый сапожник один башмачок несколько дней. Примерили, Ксения одобрила. Второй получился лучше, без морщин. Однако руки Алексей исколол шилом и иглой изрядно.

А безрукавка, тулуп, кожаная юбка, песцовая шуба, меховая обувка и тапочки у Алексея получились отменные. Он даже подтёсанную столешницу обеденного стола обтянул кожей косули. Постепенно утеплил потолок, натаскав мох на чердак, а стены обвешал шкурами медведей, волков и одного сохатого. Под ногами у постели тоже появилась шкура медведя. Медведей Алексей уничтожал беспощадно и скоро уже не видел их следов в округе своей заимки. Причина была: он знал и боялся этого зверя – слишком огромен, силен, быстр и ловок был сибирский медведь. От прочих хищников их защищали красивые тёмно-рыжие Рос и Рус. Они вели

себя как домашние кошки, приходили, когда хотели, и уходили, бывало, на целую неделю. Иногда Ксения кормила кошек остатками разделанного мяса, но медвежатину рыси почему-то так же, как и люди, не ели.

Однако наступил день, когда Алексей решил обнаружить свои главные подарки. После обильного ужина он очистил место на столе и положил на него грифельную доску и несколько мелков в коробочке.

– Что это? – удивилась Ксения, разглядывая доску.

– А догадайся, – засмеялся довольный Алексей.

– Пачкается, – Ксения положила обратно в коробочку мелок.

– Пачкается! Это ученическая доска! Я буду учить тебя читать и писать!

– Меня? А зачем?

– Как зачем? Человек должен быть грамотным. Вот смотри, в Сибири идёт борьба с безграмотностью, называется эта борьба «ликбез» – ликвидация безграмотности.

– Лучше бы книжку какую купил и мне почитал.

– А я и купил! Сборник стихов Пушкина! Вот послушай, я это стихотворение ещё в детстве читал, когда влюбился в придворную графиню Дору Лейхтенберг.

– Сейчас по шее схлопочешь!

– Не сердись, мне было пятнадцать, а ей двадцать шесть. Не дерись, лучше послушай Пушкина:

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился, —
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.

Перстами лёгкими как сон
Моих зениц коснулся он.
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.

Моих ушей коснулся он, —
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет...

Ксения слушала внимательно, поставив локти на стол и подперев подбородок. Алексей читал, практически не заглядывая в книгу, он знал стихотворение наизусть, и это обстоятельство удивляло Ксению более, чем само произведение, которое она слушала.

– Ну как? – спросил вдохновлённый Алексей.

– Хорошо. Только зачем он мужику язык вырвал? Мужика жалко. А это что за книжка? – Ксения показала на вторую книгу, которую привёз Алексей.

– Эта книжка – самая главная книжка, которую я купил тебе. Называется она «Приключения Крокодила Крокодиловича», и написал её некто Корней Чуковский. Вот послушай, мне она самому понравилась:

1

Жил да был
Крокодил.
Он по улицам ходил,

Папиросы курил,
По-турецки говорил, –
Крокодил, Крокодил Крокодилович!

2

А за ним-то народ
И поёт и орёт:
– Вот урод так урод!
Что за нос, что за рот!
И откуда такое чудовище?

3

Гимназисты за ним,
Трубочисты за ним,
И толкают его,
Обижают его;
И какой-то малыш
Показал ему шиш,
И какой-то барбос
Укусил его в нос, –
Нехороший барбос, невоспитанный...

Алексей остановился и посмотрел на повеселевшую Ксению:
– И как тебе сие произведение?
– Алёшенька, но про крокодила лучше! А что такое трамвай?
– Ну, это когда... потом расскажу. Это целая история.
– Почитай про крокодила ещё.
– Понятно всё с тобой. Но когда ты научишься читать и писать, я надеюсь, ты изменишь своё мнение о Пушкине, он тебе будет нравиться значительно больше.
– Может быть, но пока почитай про крокодила, – не поверила мужу Ксения.
– Хорошо, обязательно читаю, – Алексей положил на стол ещё несколько книг.
– И это всё мне? – удивилась Ксения.
– Отнюдь, любезная Ксения, сии книги я приобрёл для себя. Хочу понять время, вот и купил себе. Смотри, работы Карла Маркса, Ленина и Плеханова. И ещё, – Алексей положил на стол несколько газет. – Это газета «Правда», и ей, оказывается, уже десять лет. А мы не знаем о том. А почему? А потому что не умеем читать. Вот прочитаем газету «Правда» и станем с тобой большевиками, и начнём строить коммунизм. Хотя, мне кажется, мы и так с тобой живём при коммунизме! Представляешь, Ксюша, эта чёртова власть закрывает церкви, а рабочих и крестьян пытается научить читать и писать! Они прям дураки, честное слово! Как из дубины неотёсанной можно воспитать человека? Они же всю жизнь в грязи, а их за парты в школы сгоняют. Они сидят и навозом воняют!
– Так я тоже, получается? Я тоже из крестьянской семьи и тоже читать не умею. Ты-то зачем пытаешься меня учить, доску для письма купил?
– Ты, Ксюша, жена дворянина, а значит, сама дворянка!
Вот такой вечер знаний. Но всё-таки стихами сыт не будешь и на ногу книжки не обуешь. А то, что шилось, было крайне спорного качества. Сделанные Алексеем башмачки натирали мозоли, и Ксении пришлось при-

способиться носить их с портянками. После очередного бурного женского негодования, который мужчины называют скандалом, Алексей решил идти и добыть для жены нормальную и одежду, и обувь.

Барышня, обождите!

(июль 1922 года)

В Коураке славился один торговец-нэпман, его магазин занимал видное место на центральной улице. Собственно, это здание и до революции принадлежало местному купцу, который торговал продуктами и готовым платьем, но сбежал вместе с колчаковцами.

Алексей зашёл в магазин под вечер, осмотрелся и умело спрятался за колонну, на которой висели женские платья и шубы. Прежде ушла продавщица из соседнего продуктового зала, потом засобиравалась галантерейщица. Она попрощалась с хозяином, тот закрыл за нею дверь на засов, а сам уселся в подсобной комнате считать барыши и заполнять какие-то бумаги. Его было хорошо слышно, он сопел, кашлял, причмокивал губами и шелестел бумагой.

Магазин состоял из двух просторных комнат, в каждой по два огромных окна, но в мелкую клетку массивных рам. Алексей не терял времени, он сначала прокрался в зал продуктов, изрядно перекусил, запил солёную рыбу кислым пивом, слегка охмелел, а потом уже занялся делом. Прежде нашёл вместительный мешок и начал собирать в него понравившуюся женскую одежду и обувь. Старался выбирать всё для лета, и платица, и туфли. Скоро мешок был полон одеждой всякого цвета и фасона, с тем умыслом, чтобы Ксения смогла выбрать себе по вкусу, а прочее перешить. Однако вот эта мысль, что можно перешить и из большего сделать меньшее, привела его к тому, чтобы более просторные платья надеть на себя.

Когда на улице уже стемнело, он, изрядно вспотевший в бесчисленных нарядах, неожиданно вошёл в комнату, где корпел над бумагами хозяин, накинул ему на голову плотную юбку, чтобы тот не увидел его, пригрозил недвусмысленно, а после скрутил руки и ноги. Деньги он вытащил из открытого сейфа, аккуратно связал бечевой и сунул в мешок с одеждой. Своё же лицо обмотал тонким шарфиком по самый нос, чтобы бороды видно не было, взвалил мешок на спину и пошёл на Счастливую гору к любимой жене.

Выходил он через грузовые ворота, просто скинул засов и оказался во дворе магазина. Улицы, заросшие крапивой, коноплём и лопухами, дикими клёнами и акациями, были тихие. Село засыпало рано, но всё-таки случайной встречи избежать не удалось. Уже на выходе из села он не заметил, что на скамейке у ворот сидит хмельной мужик.

– Барышня, – позвал мужик, когда Алексей уже прошёл мимо.

Алексей не оглянулся, он даже не приостановился, а размашисто шагал дальше. Но мужик, видимо, что-то вспомнив или просто из охоты поговорить, заковылял за Алексеем.

– Барышня, обождите!

– Чтоб ты сдох! – ругнулся Алексей.

– Ну, барышня, обождите же! Я одинокий путник! Понимаете? Я готов помочь вам нести вашу непосильную ношу! Барышня, ну куда вы так спешите? Я не успеваю за вами. Барышня, обождите. – Мужик начал нагонять Алексея. – Я сегодня выпил. Да, с устатку! Имею право! – Мужик

уже поравнялся с Алексеем. – Хорошо, барышня! Три рубля! Да обождите же вы! Хорошо! Пять рублей!

– Что надо? – нарочито басом спросил Алексей, не поворачивая головы.

– Ой, мама дорогая! – охнул мужик и встал как вкопанный.

А как пришёл в себя, бросился бежать прочь. Ему стало страшно, он никогда ещё не слышал, чтобы женщина могла говорить мужским голосом.

Уже вдалеке от Коурака Алексей снял с себя всё женское тряпье, скрутил, умело накиннул на шею, мешок – на плечо и, счастливый, чуть ли не бегом зашагал домой.

Радости Ксении не было предела, когда она увидела всё изобилие и ассортимент нарядов. Обувь подошла, но не вся, Алексей тут же пообещал её поправить и подогнать по ноге. Одно платьице было столь восхитительным и так узорно подчеркнуло фигуру Ксении, что Алексей невольно заключил её в крепкие объятия. Поняв намёки, Ксения вырвалась и приказала:

– Не сейчас, не мешай, я так давно не носила нормальную одежду.

– Одежду?! – засмеялся Алексей. – Надо говорить «одежду», а не «одежу».

Но праздник кончился вдруг, когда Алексей, распираемый гордостью от столь удачной охоты за женским платьем, рассказал, как ловко обокрал нэпмана и как уморительно приставал к нему мужик со словами «Барышня, обождите».

Ксения села на кровать и удивлённо спросила:

– Так ты не купил, а своровал?

– Так у нэпмана. У него денег много!

Ксения в новом красивом платье вышла на улицу, села на «трон» и заплакала.

– Ну, что ты плачешь, любимая? Такие у нас обстоятельства. Денег не было, шкурки на одежду не меняют. Как мне быть? А тебе что-то носить-то надо. Я же для тебя старался.

– Я понимаю, – шмыгнула, как маленькая и обиженная девочка. – Только у меня муж – вор! Ты понимаешь? Дворянин – магазинный вор! Это ужасно!

– Это обстоятельства! Понимаешь, обстоятельства непреодолимой силы!

– Но обстоятельства создают сами люди!

– Да, я дворянин, но я люблю тебя больше своего титула. Да, это преступление! Но ради ближнего своего. Это разве не оправдывает грех?

– Не знаю. Я не знаю, может ли любовь оправдать грех?

Партизан Лобанов

(август 1923 года)

Всё лето ушло на заготовку дров и на путешествия до Коурака в заготовконтору. Когда Алексей пополнил запасы пороха, капсюлей, дробы, гильзы и прочего охотничьего снаряжения, понял, что муку, крупы, подсолнечное масло и миллион прочих продуктов и вещей на себе не перетащить. А продукты, заготовленные ещё с помощью дяди Игната, кончились совершенно и подчистую. Пришлось купить старенькую лошадку и лёгкую, изрядно потрёпанную таратайку на двух колёсах. Очень выручили деньги нэпмана. На обычной телеге доехать до Счастливой горы было затруднительно, потому что долина перед горой представляла собой сплошную болотину. Возможно, это и стало большим препятствием для визитов

случайных путешественников. В то же время лошадка позволила не мозолить глаза только в одном селе, и Алексей уже побывал в Маслянино и в Егорьевском.

Теперь поездки «в люди» случались только по великой нужде. Одевался он для выезда бедно, даже летом ходил в порванной, но глубокой шапке. Говорил, снабжая правильную речь сибирской словесной смесью. Например, «пошто», «на кой ляд», «бачить», «седайте», «откель», «нехай с ним», «стопарик», «в дышло ему», «едрёна корень», «матью так» и другие привычные для местных жителей словечки. Опять-таки Ксения учила говорить «по-деревенски». При ходьбе сутулился, а в старый сапог подкладывал маленький камушек, чтобы прихрамывать. Сморгался наземь, утирался рукавом, но вот привычку придерживать левой рукой саблю изжить никак не мог.

Минуло три года, а дядя Игнат так больше не появился. И решил Алексей выяснить, где мать Игнатовна живёт да ненароком узнать про него самого. В тот вечер, как прибыл в Коурак, ночевать остался у самогонщицы. Начал он бабку спрашивать:

– А не знаете ли вы, Пульхерия Феокистовна, в Коураке женщину по имени Анисья, у которой три сына – Иван, Игнат и Егор?

А та и отвечает:

– Да как же не знаю, их все знают. Так померла она. Как второго сына схоронила, так и померла.

– Какого сына?

– Так первого Ивана схоронила давно, уже и не помню когда, а года два-три назад Игната разбойники убили. Так и ушла, сердешная, после похорон, померла тихо, со смирением. А тебе зачем?

– Знакомых встретил, так они просили ей кланяться, когда я в Коураке буду.

– А что за знакомые? Может, я их знаю?

– Нет, не знаете, из Болотнинской волости они, из деревни Елшанка.

– Ну, если из Болотного, то не знаю.

Раздался стук в дверь, и на пороге появился мужчина рослый и бородатый.

– Принимай, хозяйка, на постой я к тебе, до утра. Примешь? – он горел энергией и силой.

– Так есть у меня гость уже. Если не побрезгашь с ним в одной комнате ночевать, я вторую постель приготовлю.

– А кто он есть такой? Если купец или нэпман, то побрезгаю, а если человек крестьянского происхождения или шахтёр кузнецкий, так он брат мне. С трудовым человеком и выпить не грех. Это, что ль, гость у тебя заморский? – подошёл незнакомец к Алексею.

– Почему же заморский? – удивился Алексей, сидевший за столом. Он почувствовал опасность от вездливого взгляда неожиданного гостя. – Я из Елшанки Болотнинского уезда, захал узнать о пропавшем товарище и на ночлег попросился да первачка пригубить. Люблю я первачок. А ты-то кто будешь, мил человек? Спрос спрашиваешь, а о себе не говоришь, – не стал сдавать позиций и робеть Алексей.

– Я-то? Василий Лобанов, разведчик партизанского отряда славно погибшего командира Вершинина из Егорьевки! Слышал?

– Слышал, – поднялся навстречу партизану Алексей, – слава о вас великая!

– Так узнал про товарища пропавшего?

– Узнал. Убили его бандиты три года назад, здесь похоронен.

– Понятное дело. Ты что-то про первачок говорил? А первачок я тоже уважаю. Это дело полезное. Сгоноши-ка нам, хозяйюшка, первачка да заку- сить, а потом уж и постель приготовишь. А в Гражданскую-то что делал? – не терял бдительность партизан Василий Лобанов. Потом обернулся к Пульхерии Феоктистовне: – Ты, мать, поспешай, видишь, гости ждут.

– А я что, я уже. Будьте любезны, – хозяйка поставила бутыл, рюмочки и хлеб.

– А это что за библиотека? – указал партизан на стопку книг на столе.

– В избе-читальне забрал, заказывал, из города привезли работы Маркса и Ленина.

– Похвально! Похвально, когда народ коммунизмом и большевистски- ми делами интересуется. А я вот как-то больше не по бумажке, а по делу.

– Васенька, грибочков или огурчиков солёных? – вмешалась в разговор хозяйка.

– Да уж чего-нибудь, – махнул партизан, разливая по рюмкам.

Алексей заметил, что рука гостя трясётся и он слегка суетится в нетер- пеливом желании выпить. Алексей поднял рюмку.

– Давай, за знакомство, – и позвал: – Мать, убери в комнату книги, а то как-то нехорошо при товарище Ленине самогон жрать.

Они дружно выпили.

– Как тебя зовут? – Лобанов утёр бороду.

– Я, товарищ партизан, блох на печке не давил. – И Алексей неожидан- но оголил плечо и грудь, на которых обозначились глубокие шрамы. – Вот это в двенадцатом году турок ударил, подлю. Они все такие, подлые. А это уже немец в июне шестнадцатого под Луцком. Потом госпиталь, потом до- мой отправили гнить, думали, что сдохну, но я выжил, а инвалидом остал- ся. Понял, кто я таков?!

– Так мы на одном фронте с тобой, под командованием генерала Брусило- ва! Наливай! – зарычал Лобанов. – Ах ты, дело-то какое! Братана встретил!

Он сам наполнил рюмки. Выпили залпом, и вдруг Лобанов содрал с себя рубаху.

– Видишь, это немец под Ковелем, а это, – он повернулся спиной, – на- гайкой от Колчака!

– Так ты тоже боевой! – Алексей протянул руку. – Я Алексей Левашов. Давай, солдат, за наше солдатское счастье, что живы остались.

– Брат, – вдруг охмелел Лобанов, – ты мне брат и боевой товарищ! – И партизан ударил кулаком по столу. – У меня, знаешь, сила какая была! Драться мог весь день. Ох, и много я голов немецких положил. Два Геор- гия у меня! Понял?

– У меня Георгиев не было, но я мог одним ударом саблей голову снести напрочь! – похвастался охмелевший Алексей.

– Врёшь, одним ударом нельзя. Убить можно, но снести напрочь нельзя. Хотя был такой, слава о нём шла, поручик один, мог одним ударом голову отрубить, прям на скаку. Но ты не сможешь.

Пульхерия Феоктистовна любезно наполнила рюмки. Поручик Лева- шов и партизан Лобанов сидели друг против друга. Молча подняли рюмки и выпили. Не успели закусить, Алексей вдруг вспылел:

– Спорим, одним махом башку срублю!

– Спорим! – мотнул головой Лобанов.

– На что? – решил уточнить Алексей.

– Не знаю.

– Неважно, – согласился поручик. – Пошли.

– Куда? – удивился партизан.

– Голову рубить, – убеждённо ответил Левашов.
– Кому? – засомневался партизан.
– Кому? А действительно кому?
– А некому рубить. Всё, нажрались! Давай выпьем, и спать.
– Давай выпьем, и спать, – согласился Алексей, но, прежде чем лечь, вышел на двор и заставил себя блевать. Он пил воду и промывал желудок. Так нужно было, чтобы не охмелеть совсем и не выдать себя. Когда Алексей вошёл в избу, Лобанов, который сидел, понуро опустив голову, сказал:
– Теперь, Лёша, ты мой брат. Если что, так и говори: Василь Лобанов – мой брат. Я тебя в обиду не дам. И шрам у тебя, вот этот, на груди, это... Ты понял, что ты герой?! Это же какую мы мясорубку прошли, какое крошево! – Партизан вдруг смахнул слезу. – Брата встретил. Спасибо.

Он встал перед Алексеем, и они обнялись.

Утром проснулись одновременно. Пульхерия Феоктистовна уже приготовила завтрак. Вышли во двор, сполоснулись у бочки, по очереди, поплескав на лицо, утёрлись одним полотенцем. Прошли за стол. Опохмелились. Всё молча.

– Брат, – сказал партизан и обнял Алексея, – спасибо, брат, от души.

– И тебе, брат, – ответил Алексей.

Бывший поручик с трудом запряг свою старую лошадку и поехал. А бывший партизан стоял около ворот и махал ему рукой.

Старатели (июнь 1925 года)

Золотодобыча потеряла смысл после находки Иванова тайника. Однако отказываться от увеличения золотого запаса он не хотел и в очередной раз собрался в поход «пошукать золотишко».

– А я? – спросила Ксения.

– И ты, конечно. Что тебе здесь сидеть. Только ночевать в тайге будем. Не боишься?

– А мы где с тобой, не в тайге ночуем?

– В тайге, конечно, но постель наша застлана тёплыми шкурами, печь даже в летнюю сырую погоду высушит наши одежды, в леднике ты всегда найдёшь кусок вяленого мяса, а в крынке на столе дикий мёд к горячему и душистому чаю. Разве не так? Опять-таки на горной речке мы можем поймать хариусов, запечь их в глине, и нет ничего слаще печёной рыбы с запахом дымка. Но до этой речки идти придётся пешком, потому что наша лошадка нас не довезёт, да и сама, старая, может по горам и бурелому никуда не пройти. А потому, если не боишься переломать себе ноги, пошли.

– С радостью! Я здесь уже одичала, я стала как дикая рысь, готовая порвать любого, кто ко мне приблизится! Мне кажется, что если я ослепну, то не испытаю трудностей, – всё под рукой. Я научилась разделять тушу косули за пять минут в полной темноте, я вижу в темноте лучше Росы, я слышу твоё приближение за две версты, я ненавижу красоту гор и запах цветов! Я ненавижу ёлки, пихты, сосны!

– Понял. Собираемся, – согласился Алексей.

Он пошёл сворачивать шкуру медведя, потому что это он мог ночевать в тайге на куче веток, но не его «принцесса», у которой и без новых испытаний руки стали от холодной воды и грубой работы красными, как у гусыни лапки.

До горной шумливой речки было вёрст пять. Там, в смеси песка и глины, Алексей намыл самое большое количество золотых песчинок за один

приём. И на той же речке он впервые зашурфился. Место было светлое, первый слой глины и щебня выкинул быстро, а потом только киркой: взрыхлил – выкинул, взрыхлил – выкинул. Глубже полсажени он не копал. И была у него заветная мечта – найти крупный самородок, фунтов на пять хотя бы. На той речке местами бурное течение, которое помогало промывать деревянный лоток, кстати, Иванов лоток, счастливый лоток. А рядом с речкой рос густой малинник и душица, которые Алексей любил заваривать в котелке, и там же в береговой заводи он ловил хариусов, которых съедал сырыми: просто потрошил, промывал тут же в речке, немного солил нежное и податливое мясо рыбы и с хлебом ел – вкуснятина!

Вышли утром, день пасмурный, но сухой. Основные инструменты – кайла, лопата, лоток – были уже на месте, Алексей прятал всё в крайнем шурфе. Но сегодня особая ответственность, он шёл на свой прииск с женой, а потому пришлось взять много лишнего: одеяло, дёготь, ложку и запасную одежду на случай дождя. Алексей нёс снаряжение, а Ксения – еду в котелке. Решили пойти на два дня, с одной ночёвкой.

Трава выросла чуть ли не в рост человека, кругом каменная россыпь и валежник – чёрная тайга. К полудню добрались до намеченного места. Ксения сразу же занялась костром, а Алексей выбрал место для нового шурфа чуть выше по течению бурливой реки и сделал первую пробу. Ксения развела костёр и подошла к мужу, ей было интересно увидеть, как добывается золото. Алексей тем временем наполнил лоток грунтовой смесью и начал промывать в речке.

– Долго ещё? – не терпелось Ксении.

– Скоро, сейчас увидишь. – Алексей черпал новую порцию воды лотком, крутил им, сливал глиняную муть, выкидывал крупные камушки.

– Ты так и золото выплеснешь, – сделала замечание Ксения.

– Золото тяжелее камней, на дне остаётся, – пояснил искатель.

В лотке оставалось всё меньше и меньше породы, и вот, наконец, последняя глиняная муть стекла из лотка, и на дне остались золотые песчинки и два маленьких самородка.

– И всё? – удивилась Ксения.

– Да, это лучшая проба за всё время, пока я мыл на этой речке! Смотри, два самородка и, наверное, золотник* песка!

– А что, это много? – снова удивилась она.

– Конечно, много!

– Так это сколько же надо мыть, чтобы разбогатеть?

– Люди всю жизнь моют. А мы с тобой уже богаты.

– Вот с этого золота?

– Любимая! У нас его уже фунтов двадцать пять, этого золота.

– Ты уже столько намыл?

– Не только.

– Украл, что ли?

– Не совсем, я нашёл клад дяди Ивана. Мы с тобой богачи, миллионщики.

– Да как-то не верится, кругом грязь, и дворца я что-то здесь не наблюдаю. – Ксения обвела рукой округу. – Лошадь, правда, есть старая и карета о двух колёсах.

– Не «о двух», а на двух колёсах. Учись, Ксюша, говорить правильно.

– А зачем? С кем мне тут говорить правильно?

– Со мной.

– А ты и так меня понимаешь.

* Золотник – старорусская мера веса, равен 4,26 грамма.

Медведь

(июнь 1925 года)

Алексей был огорчён, потому что добытое золото не произвело ожидаемого впечатления, а, напротив, напомнило прежние упрёки. Они вернулись к костру. Роса и Руса лежали рядом и тревожно секли хвостами.

– Смотри, наша охрана нервничает, – заметила Ксения.

– Или росомаху чуют, или медведя.

– Медведя? – испугалась Ксения.

– Да, медведя. Ты не бойся, они сейчас сытые, жрут траву, корешки да малину.

И вдруг Роса и Руса подскочили и громко зашипели, их шерсть встала дыбом. На берег чуть ниже по течению вышел медведь. Он равнодушно посмотрел на людей, зашёл в речку и уселся в воду.

– Он что, мыться собирается? – прошептала Ксения.

– Да чёрт его знает, может, и мыться.

– Ты так спокойно об этом говоришь, неужели не боишься?

– Я знаю, когда бояться надо. На Счастливой горе я их всех выбил, там нам бояться нечего. И здесь нечего бояться, потому что лето, медведь сыт. А ну, вали отсюда! – закричал Алексей и пошёл к мишке. – Вали отсюда, кому говорю!

Медведь посмотрел на Алексея, поднялся и послушно пошёл в лес.

Алексей рыбачил ровно на том месте, где только что сидел медведь, и скоро вернулся с рыбой.

– Ты посмотри, какой хариус! – Он бросил улов около костра. – Давай сегодня ушицы сварим? А то я на мясо уже смотреть не могу. Или ещё проще – запечём? Выбирай!

– Запечём, конечно! – засмеялась Ксения и обняла мужа. – Медведь пришёл, посидел и ушёл. Умел бы ещё по-человечески разговаривать, поговорили бы.

– Так ты со мной всё время разговариваешь!

– Вот именно, что всё время. Ты мне, наверное, всё рассказал о себе, а про военную гимназию три раза. И я рассказала всё. Говорить теперь не о чем. А я с людьми хочу разговаривать, и чтоб от меня дёгтем не воняло, не по камням лазать, а по улице ходить, и чтоб у меня подружками были люди, а не рыси, а ещё я танцевать хочу! А ты меня в плен заточил! Я здесь как на каторге! Печь, дрова, рысь на кровати, лучина, и всё время тебя жду! Жду и думаю: придёшь – не придёшь, а вдруг что случилось, а вдруг поймали, а вдруг зверь задрал. Это что, жизнь? Где дворец? Где ковры точёные, где слуги? Грязь кругом, холод, тяжеленные вёдра с водой... и тоска. Мы искали свободу, а попали в тюрьму!

Вдруг зашевелились кусты, и появилась морда медведя. Видимо, он учуял запах рыбы. Неожиданно и зло Ксения выхватила из костра горящую головёшку, и со всею силой кинула в медведя, и заорала что есть мочи:

– И ты ещё шляешься здесь! И без тебя тошно!

Медведь ринулся прочь напролом, аж лес затрещал, а Ксения села, опустила голову на грудь и заплакала.

Алексей погладил жену по голове.

– Хочешь, я тебе самогонки налью? У меня есть, я ношу с собой, если что случится, рану промыть или тоска заест. У одной старушки купил, первачок, пьётся как вода родниковая.

Алексей достал откуда-то стеклянную бутылку с сивухой и налил в деревянную плошку.

– На, Ксюша, выпей, полегчает.

Ксения приняла плошку и выпила содержимое с каким-то злым наслаждением, будто яд пила, назло судьбе и ему – мужу. Алексей принял из её рук пустую плошку, черпнул воды из ручья.

– Запей, самогонка горячая! Я её поджигать пробовал, так она горит синим пламенем, огонь поднести не успеваешь – вспыхивает.

Ксения выпила воду, утёрлась и засмеялась.

– Точно, горячая! А медведь где?

– Не знаю, убёг, наверное.

– Убёг? Алексей Павлович, учитесь говорить правильно. «Убёг» – это ещё что за слова? Это я тебе в обраточку, ты меня все эти годы шпыняешь, а сегодня мой праздник! Я сегодня гуляю!

– Ксюша, ну, ты сегодня и правда разошлась не на шутку... Давай рыбу жарить. Сегодня уже столько событий: и медведь, и ты впервые увидела, как золото моют. И у нас, смотри, какая замечательная рыба.

Ксения задумалась, переставила чашку на плоском камне, приспособленном вместо стола, поправила нож, развернула тряпочку с хлебом.

– Давай ещё налей! Напьюсь сегодня! Напьюсь, золото у тебя отберу и к людям уйду.

Алексей понимал, что устала женщина, что не только ей, а и всякому человеку нужна отдушина или скандал, чтобы не копить в душе, пусть лучше выплеснется, и по себе знал, что жить потом легче. Но что он мог ей предложить? Большевицкая власть крепла, начали организовывать прежде коммуны, а теперь какие-то колхозы. Потом объявили новую экономическую политику, и опять появились буржуи. Правительство объявило электрификацию страны, всюду строились электростанции, заводы и фабрики. Что будет завтра, никто не знал. Алексей покупал газету «Правда» и всякий раз жадно вчитывался в статьи, пытаясь предугадать будущее. Но в «Правде» писали уверенно, что старого режима уже не будет. А как приспособиться к новому, Алексей не знал. Всякий вариант наткнулся на колчаковское прошлое. А Колчака в Сибири люди ненавидели лютой ненавистью. И всему виной кровавый след Колчака по всей Сибири, тысячи и тысячи ограбленных и убитых. Даже про белочехов столько не говорили и не писали, сколько о Колчаке, хотя и те творили грабежи и убийства. На картатуру вместе с Ксенией Алексей не хотел.

К вечеру закончили мыть золото. Ксению стал покидать хмель. Алексей нарубил веток, сверху бросил медвежью шкуру. Они укрылись норковым одеялом. На одеяло Алексей пустил негодные для сдачи в заготконтору шкурки, но от этого оно не стало тяжелее или менее тёплым.

Развод

(июль 1927 года)

В Егорьевском Алексей познакомился с человеком, который скупает золото, что само по себе отрадно, но в Маслянино он вышел иной дорогой, и причина была. Скупщик очень легко согласился на довольно-таки высокую цену за грамм золота, забрал всё, что было у Алексея при себе, ненароком поинтересовался о дальнейшем пути, добродушно угостил рюмкой водки в местном шинке и быстро ушёл. Бережёного бог бережёт, решил Алексей и вышел в сторону Маслянино в тот же миг, но не корот-

ким путём, а, оставив у знакомого чатского* татарина лошадку, выпросил у него обласок**, чтобы сплавиться из Егорьевска по Суенге до села Суенга.

Нынче Суенга была полноводна и стремительна. Алексей скоро научился умело управлять единственным веслом, похожим на деревянную лопату, которой рачительные хозяйки подают хлебы в печь.

Суенга протекает по дремучим и сказочным лесам царя Берендея. Алексей знал такой лес под Москвой, но там не было той дремучести и непроходимости, какую он встретил здесь, на гребнях Салаирского кряжа. Стремительное течение и частые пороги заставляли грести и править лёгкой долблёнкой непрестанно, иначе можно было налететь на скалистый берег или каменный валун, выступающий из мутной глубины стремительной речки. Обильные дожди наполнили реку водой и испортили её нрав весенним паводковым задором. Из береговых скал росли берёзы и сосны, но то по левому берегу, а справа – густые кусты ивняка, раkit, вербы, черёмухи и редких, но громадных вётел, нависших чёрными стволами над шумливой рекой, которая блистала перекатами и плевалась грязной пеной на порогах. Сказочная красота стремительной Суенги за каждым поворотом открывала новые и неповторимые пейзажи: то крутой бок белой горы, то угрожающий остриём выступ скалистой породы, а то многоцветье горных трав, устилающих летним ковром обширный и пологий склон. Сказочная страна Салаира, дремучие просторы сибирского Берендея. Сплав занял около трёх часов, так быстра была дорога.

В селе Суенга Алексей оставил лёгкий обласок у знакомого хозяина, а дальше зашагал напрямки в Маслянино. Как и рассчитывал, попал в воскресный торговый день. Деньги были, но много не купишь – впереди обратная дорога, с обласком на спине.

В избе-читальне начиналось мероприятие, которое называли «живая газета», а до спектакля предложили агитлекцию о достижениях Советского Союза. Вот тут-то Алексей и узнал, что в Стране Советов строятся заводы и фабрики, организованы тысячи колхозов, развивается артельное движение. Новониколаевск ещё в прошлом году переименовали в Новосибирск. В городе начали строить центральный водопровод и канализацию, заработало радио, недавно открыли первый радиоузел, введены в строй первые мощные агрегаты по пятьсот киловатт на ТЭЦ-1, и жителям города массово проводят свет в жилые дома! От Новосибирска до Мочище начали строить каменную дорогу. Рассказали и о происках капиталистов, которые станки для заводов продают только за пшеницу, потому что на мировом рынке она сильно упала в цене. И выхода у Страны Советов нет: страна находится в изоляции, а своих станков пока ещё нет. Там же Алексей узнал, что главная задача государства – счастье народа. Так сказал Сталин. И все вдруг встали и запели «Интернационал», их никто не заставлял и не подговаривал. Алексей стоял вместе со всеми и не мог понять, что случилось с людьми. За семь лет страна изменилась.

Алексей смотрел вокруг, и ему казалось, что люди теперь не живут, а празднуют жизнь. Девушки ходили по Маслянино в красных косынках, дети в красных галстуках маршировали нестройными, но старательными колоннами под бой барабана и хрип медного горна. Он чувствовал себя на обочине дороги, он что-то пропустил, очень важное. И Алексей решил непременно разобраться в том, что же сказала и сделала советская власть,

* Чаты — малочисленная группа сибирских татар, проживавших по берегам рек Обь, Чик, Уень, Чаус с VIII века, в том числе на территории современной Новосибирской области.

** Обласок — лёгкая сибирская лодка-долблёнка.

почему люди стали жить и радоваться этой жизни, мечтать и вершить неслыханное.

Обратная дорога заняла много времени, но ни покупки, ни обласок на спине не могли испортить Алексею настроение, он был таким же удивлённым и восторженным, как и люди в Маслянино.

В Егорьевском он ночевал всё у того же гостеприимного татарина, а утром, прикупив необходимое, запряг свою клячу и заспешил на Счастливую гору. Вернувшись домой, он, к величайшему удивлению, обнаружил у порога ворох своей одежды. Шуба зимняя, телогрейка, шапка и портянки с сапогами были разбросаны по всему двору, мелочь типа рубах и подштанников, туго завязанная в два узла, валялась тут же во дворе. По расположению вещей было видно, что их выкидывали из дома с разным, но злобным настроением.

Алексей стоял посередь двора, когда отворилась дверь и на пороге появилась Ксения.

– Ну что, бабник! Вернулся?

– Ксюша, ты о чём? – удивился Алексей. – Какой бабник? Я же в Маслянино за одеждой, за продуктами ездил. И потом, зачем мне женщины? У меня ты есть!

– Видишь ту гору? – показала Ксения. – Она свободна. За лето лачугу себе построишь, а я здесь жить буду.

– Какую лачугу, Ксюша? Что ты выдумала?!

– Лачугу не сможешь, тогда нору рой! Или вообще вали к своим бабам! Гад! – И Ксения с силой пнула по узлу с бельём.

– Точно, в бабу бес вселился! – Алексей посмотрел в небо. – Я пошёл, всё, завтра буду.

– Куда ты пошёл? Опять начал!

– За попом пошёл, беса из тебя изгонять будем.

– Это из тебя беса изгонять нужно! Бабник! Стервец! Пакостник!

Алексей схватил Ксению, прижал к себе и поцеловал в губы.

– Никто не люб мне, кроме тебя. Нет, и не было, и не будет у меня иных женщин, а только ты! Ты и больше никто!

А вечером, сидя на «троне», он утешал её.

– Это, Ксюша, от тоски, от одиночества. Я понимаю тебя, но взять тебя с собой к людям – это выдать нас. Ты же девушка красоты неписаной, всем запомнишься.

– А ты гулять с чужими бабами не будешь?

– Не буду, клянусь! Никто мне не нужен, только ты.

Вещи Алексея, раскиданные по двору, собирали уже утром, по холодку.

Таинственный огонь

(август 1927 года)

Срываться, и совсем не по делу, Ксения начала довольно часто, скоро редкий день проходил мирно. Алексей терпел. Он всё понимал, но не в его силах было изменить сложившиеся обстоятельства. Быт напоминал борьбу за выживание, которая проходила под страхом разоблачения и расстрела. Всякий выезд в сёла был событием, и Ксения, провожая мужа, была готова к тому, что это может быть их последнее расставание. И была у них договорённость, что если Алексей не возвращается неделю, то Ксения уходит. На этот крайний случай Алексей показал Ксении тайник с золотом.

В тот день к вечеру они вышли отдохнуть после дневных забот по хозяйству, уселись на «трон» – перевёрнутую колоду, как вдруг склон противоположной скалы опять загорелся жёлтым оком.

– Смотри! Он! – закричала Ксения.

– Это огонь, Ксюша. Чего ты боишься?

– Это сам сатана смотрит на нас.

– Нужны мы ему.

– Смотри, он мигает!

– О господи! Завтра же пойду на тот склон и найду этого сатану и приволоку его на привязи к тебе. Хорошо?

– Хорошо, но лучше убей его и закопай!

– Хорошо, закопаю.

– Но только чтобы он больше никогда за нами не следил!

И вдруг огонь исчез.

– Вот видишь, он испугался! Так если он тебя боится, то ты почему его боишься?

– Не знаю, мне страшно, когда он смотрит.

Алексей был снисходителен к женской логике и потому не спорил, а наутро отправился на соседнюю гору выполнять наказ жены. Предстояло, прежде спуститься вниз со своей горы, преодолеть болотистую долину, а потом уже карабкаться вверх треть версты, не меньше. Напротив сопка крутая, плотно заросшая пихтачом, осинником и берёзой, видно две осыпи. Алексей внимательно разглядывал гору, мысленно прокладывая маршрут. В конце концов ему самому было интересно, а что же там могло блестеть или гореть.

В то утро Ксения с особой нежностью и вниманием собирала его в поход к «сатане». Приготовила кусок мяса, хлеба, воды. Ожидать возвращения можно было только к вечеру.

В Сибири осень приходит рано. Прежде лес начинает цвести робкими полутонами, а позже яркими красками, вобравшими в себя все чудеса лета: и тепло, и жару, и солнце, и влажную пыль хмельного дождя, и раскаты грома, и синь перекормленных туч. В осени расцветает золото берёзы, черёмухи и поникших трав, рядом ярко-жёлтый клён и красная рябина, янтарём светятся оранжевые кустарники, и всё это многообразие и праздник цветов подчёркивает вечнозелёный ельник.

Алексей не хотел брать ружьё.

– Ну что я его буду таскать? Если медведь, так я его и так шугану, а от прочих у меня Рус есть.

Но Ксения была непреклонна:

– Не на медведя, на сатану идёшь, – говорила она.

Алексей взял-таки ружьё, но оставил его, повесив на суку недалёкой, но невидимой берёзы. До места Алексей добрался – солнце ещё высоко было. Он облазил намеченный участок, но ничего не увидел. Здесь не ступала нога человека. Трава, кусты – всё в девственном состоянии. Что говорить жене, он не знал, прийти с пустыми руками тоже как-то было неправильно. Тогда, спрашивается, зачем ходил?

Он сел на выступающий из земли камень, достал из наплечной сумки еду. Пока жевал, разглядывал округу: да, напротив Счастливая гора, площадка перед домом, но самой займки не было видно. Грамотно всё сделал дядя Иван, умный мужик. И вдруг Алексей увидел на сосне перед собой, недалеко от камня, на котором сидел, старый затёс: он заплыл смолой, его практически не было видно, но затёс был. Алексей ножом очистил зарубку на стволе. Зачем она здесь? Понятно, что она метила конкретное место,

и если кто-то, даже пусть тот же дядя Иван, сделал её, значит, не просто так, уж точно не дорогу метил, потому что всё кругом видать и заблудиться здесь невозможно. Значит, надо искать то, ради чего помечалось это место. Не переставая жевать, Алексей начал обследовать округу. Он встал на камень, на котором только что сидел, и стал осматриваться, но всё безупречно: склон, трава, местами мелкая осыпь и величественные сосны. Чистый сосновый лес! Прозрачный и сухой. Да, склон достаточно крутой, но и всё, никаких тебе выступов скал или углублений. И вдруг ещё один затёс! Ровно на таком же расстоянии, что и первый, но только с противоположной стороны! Алексей спрыгнул с камня, очистил зарубку от смолы и вновь забрался на камень и стал осматривать сосны, нет ли ещё таких же меток. Скоро он очистил ещё две.

Итак, лихорадочно соображал он, есть четыре метки, ровно с четырёх сторон, чётко на север, на юг, восток и запад. Это компас? Зачем компас в лесу, если и так всё понятно? Значит, не компас, значит, что-то иное! Но что? Значит, помечалось место. Место со всех четырёх сторон, а центральное место – тот камень, на котором он стоит!

Алексей спрыгнул с камня, рукавом смахнул с него листья, упал на колени и увидел своё отражение. Это была выступившая из недр земных слюда, именно та слюда, из которой дядя Иван или тот, кто строил заимку, и сделал окно! И именно эта слюда отражала солнечный луч, и он мигал в отвесах заходящего солнца. Сколько переживаний, страхов, а ответ простой.

Алексей отколол кусок слюды, он разбирался очень просто на тонкие и прозрачные пластины, положил в мешок и заспешил домой.

Сатана был изобличён.

Неожиданная весть (октябрь 1927 года)

Узнав причину таинственного огня, Ксения успокоилась, повеселела и даже перестала устраивать разговоры об одиночестве, но Алексей всё чаще начал улавливать от неё запах перегара. Он оставлял риски на четвертной и видел, как мутноватая жидкость сивухи ежедневно понемногу, но убывала. И когда попытался поговорить об этом с Ксенией, получил такой отпор, что больше и не помышлял приструнить жену. И даже нашёл в том признаки примирения: она не устраивала ему истерик про одиночество, а он не замечал её пьянства.

Они по-прежнему вечерами садились на колоду, порой на горе напротив вспыхивал огонь, но Ксения уже радовалась его появлению. Иногда они выпивали вместе, и тогда над долиной и многими просторами текла песня:

Домик стоит над рекою,
Пристань у самой реки;
Парень девчонку целует,
Просит он правой руки.

С припева подключался Алексей, и у них получалось очень слаженно:

Верила, верила, верю,
Верила, верила я.
Но никогда не поверю,
Что ты разлюбишь меня.

Но количество выпитого увеличивалось, и теперь Алексею приходилось ездить в Коурак за сивухой к местной бабке и покупать не одну, а три бутылки. В то же время борьба новой власти с самогонварением не ослабевала, и цена на хмельной напиток росла.

Ксения если прежде и причёсывала свои длинные и прекрасные волосы, то теперь уже не старалась, а однажды, вернувшись с охоты, он с ужасом увидел её косу на табурете.

– Зачем? – только и спросил он.

– Надоело, всё равно здесь никто меня не видит. – И вдруг заплакала, взяла косу в руку и прижала её к лицу. – Разве я думала, что моя жизнь так сложится? Ни дома, ни семьи, ни мамы с папой, ни подружек! Один ты – постылый!

Он вышел из дома, сел на колоду. Ему нечего было ответить. Он действительно испортил человеку жизнь. И свою тоже, и её. Думал – спрятался с любимой, старался, вил гнездо, радовался жизни и свободе! А где она, эта свобода? Правильно Ксения сказала – тюрьма.

Сзади подошла жена, обняла его.

– Прости меня, это от тоски сорвалось. Люблю я тебя.

Она села рядом, прижалась к нему.

– У меня тайна есть, и я не знаю, как тебе об этом сказать. И не знаю, хорошо это или плохо.

– Что за тайна и какая здесь, в тайге, тайна может у тебя быть?

К ним подошли Рос и Рус и улеглись у ног, кисточки на их острых ушах изредка вздрагивали.

– У меня скоро будет ребёнок.

Ошарашенный новостью Алексей повернулся к жене, потом встал, взялся за голову и закричал так, что рыси отскочили от него:

– Господи! Ксюша! Почему у тебя? У нас будет ребёнок! Вот счастье-то! Ты понимаешь, что сейчас спасаешь не только меня, но и себя!

– Я даже и не знаю, хочу ли я ребёнка, – неожиданно призналась Ксения.

– Конечно, хочешь! О чём ты, любимая?!

Алексей начал плясать, притопывая, приседая и приговаривая:

– Я буду отцом! Я буду отцом! – Остановился, запыхавшийся и совершенно счастливый. – Понимаешь, у нас будет самый красивый ребёнок в мире! – Он опустил перед нею на колени. – Прости меня, Ксюша, прости! И спасибо тебе, милая! За неблагодарных Бог благодарит.

– А зачем нам дети? – вдруг опять спросила Ксения.

– Как зачем? О чём ты спрашиваешь, я даже не пойму.

– Ладно. Вот смотри, рождаются дети. Для чего? Чтобы жить, как мы? Как звери лесные? Зачем? Они будут так же, как мы, лазать по сопкам, питаться саранками и черёмухой, ловить птиц, охотиться на косуль и зайцев и жрать их! Зачем?

– Но так живут люди!

– Так живут звери! Или ты скажешь, что золото не интересует зверей, а нас интересует и потому мы люди? А зачем нам золото?

– Ксюша, ты не права!

– Почему не права, скажи!

– Потому что не права, и всё! Всё, что ты говоришь, не так.

– Нет, я говорю так. Всё правильно я говорю! У наших детей, как и у нас, нет будущего. Есть только настоящее, мы всегда живём заботами о настоящем. У нас есть прошлое, но у нас и наших детей нет и не будет будущего. Нет главного – ради чего мы живём. Ты мне можешь сказать, ради чего мы с тобою живём? Для чего нам такая жизнь?

– Не сердись, Ксюша, не сердись, пожалуйста. Мы живём ради того, ради чего живут и другие люди.

– А ради чего они живут? Не можешь ответить, потому что боишься сказать правду. А я скажу! Люди живут ради счастливого будущего, а у нас этого счастливого будущего и не предвидится. Нет его даже в мечтах. Ты приносишь газеты, я читаю. Ты научил меня читать, и я читаю. И вижу, что там, в той несправедливой, дикой, жестокой жизни есть счастливое будущее, есть мечта о нём, а у нас – нет.

Алексей молчал, боясь вызвать гнев жены.

– Принеси мне самогону, – сказала Ксюша.

Алексей безропотно встал с бревна и ушёл в жилище. А Ксения не запела, а завывла громко и почему-то зло:

Верила, верила, верю,
Верила, верила я.
Но никогда не поверю,
Что ты разлюбишь меня.

Когда стемнело, Алексей увёл в дом изрядно выпившую Ксению. Она шла покачиваясь, повисала на его руках и громко смеялась. А когда улелглась, скомандовала:

– Иди ко мне!

– Ксюша, ты бы уже спала, устала же.

– Молчи! – приказала она, и вдруг капризным голосом позвала: – Лё-ёша! Ну, иди ко мне!

Первое мая (1 мая 1928 года)

В тот год весна разлегалась на горных склонах, вскарабкалась на вершины сопок, проникла в долину, погрелась там на солнышке и растопила остатки остекленевшего снега в тайных морщинах Салаирского кряжа. Там, где особенно было уютно, проклюнулась трава, робкая и светло-зелёная, ручьи разлились широко, безбрежно, заглянув во все укромные пределы, а вода блестела, отражая яркое солнце, но бесцветно, потому что ещё не пришло время родиться листве.

Доехать до Коурака теперь можно было только за весь световой день, так далёк был объезд вокруг заливных лугов и болот. Алексей отправился, когда чуть забрезжил рассвет, но в село прибыл – уже смеркалось, однако вешний путь и болотистые западни запомнил, а значит, обратный путь пойдёт веселее. Ночевал у знакомой самогонщицы, утром заехал на базар, затарил оскудевшие за зиму съестные припасы и, стараясь не маячить на глазах воскресного люда, заспешил домой.

Проезжая по селу, заметил большие перемены. Кругом висели плакаты, посвящённые празднованию Первого мая – Дня Интернационала*. На каждом доме красные флажки. Выезжая от базара в сторону заимки через проулок, подъехал к широкой улице, чтобы пересечь её и уже покинуть село, как вдруг дорогу перегородила колонна людей – они шли в сторону поселкового Совета. Впереди, над колонной, возвышался транспарант «Да

* До 1972 года в СССР праздник Первого мая носил название «День Интернационала», затем был переименован в День международной солидарности трудящихся. В современной России отмечается как Праздник Весны и Труда.

здравствует 1 Мая!»), за ним дети в красных галстуках с барабанами и горном. Горн гудел, барабаны били: тра-та-та-та, тра-та-та-та! За пионерами люди с красными флагами, тут же над ними транспаранты с лозунгами: «Выполним заветы Ильича!», «Мир! Труд! Май!» и совсем непонятный «Долой империалистов из Китая!»

«При чём тут Китай, китайский империализм и жители Коурака? Кто услышит? Империалисты Китая? А если услышат, то уйдут? От страха? В панике, что приедут коуракские мужики и набьют им морду?» – недоумевал Алексея, пока смотрел на колонну идущих мимо людей.

Потом в толпе демонстрантов Алексей увидел мужика с гармошкой, тот шёл и играл задорную мелодию, а люди вокруг него плясали. Чуть поодаль, под красной растяжкой с надписью «Сельхозартель “Красный партизан”», пели «Интернационал».

– Что это? – спросил удивлённый Алексей другого мужика, такого же невольного зеваку, как и он сам.

– Демонстрация! – авторитетно заявил тот. – Живёшь в своей деревне, лапоть, и ничё не знашь.

Народа много, наверное, тысяча, а то и две тысячи человек. Дорога была ещё свежая, её размесили, но все шли в сапогах, и грязи никто не замечал. Когда демонстрация прошла мимо, мужик по-деловому сказал:

– Айда! Теперь ехай куды хошь.

Будет что рассказать Ксюше, думал Алексей, новостей море.

Ещё вчера от самогонщицы узнал, что «Сталин – отец народов и защитник всех обиженных». Что идёт первая пятилетка, началась индустриализация и коллективизация, а кулаков отправляют «за болото». На полях появились трактора, а в Коураке собираются построить МТС – машинно-тракторную станцию. При царе, понимал Алексей, такого бы никогда не случилось. Что-то пошло не так, советская власть устояла, более того, страна развивалась и строилась. И никогда он не видел столько улыбок, люди много улыбались и чувствовали себя счастливыми. И вот это ощущение праздника витало в воздухе, и не только сегодня – в день непонятного праздника Первого мая. И ещё, вот этот лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Зачем и для чего, Алексей понять не мог.

Смерть не жалует никого

(1–2 мая 1928 года)

К заимке Алексей подъехал уже потемну. Ксения не вышла его встречать, не вышла и Роса. Он распряг лошадь, пустил к воде и овсу, вошёл в дом. Горела лучина, Ксения лежала на кровати. Он подошёл к ней.

– Ксюш, приболела?

– Да, Лёшенька.

– Ты вся горишь!

– Лёша, я, кажется, дитя не уберегла.

– Почему? С чего взяла?

– Вчера я упала, а он теперь не шевелится. Я, наверное, мёртвого рожу.

– Да ну что ты такое говоришь. Ты поспи, успокойся, и всё будет хорошо. Усни. Я не буду тебе мешать, на лавке лягу. Спи, родная, всё будет хорошо.

– Обними меня, Лёшенька. Какой ты хороший. Я так благодарна судьбе, что мы вместе. Ты такой заботливый, ты такой добрый. Я посплю и проснусь, и дитя наше проснётся.

Алексей не стал тушить лучину, оставил гореть на всю ночь. Приготовил плошку с водой и поставил на табурет у кровати.

– Ксюша, ты водички больше пей, при температуре это первое средство.

– Хорошо, любимый.

Это были её последние слова. Утром Алексей нашёл её мёртвой. Она лежала, сложив руки на груди, глаза закрыты, а губы сжаты, будто понимала, что умирает, и подготовила себя к приходу смерти.

Алексей убрал с табурета плошку воды, выплеснул её на пол. Сел, осмотрелся, глянул на Ксению, будто чего ждал. И замер бездумно, просто замер в непонимании, как теперь ко всему этому относиться: к себе, к мёртвой жене, мёртвому ребёночку, которого он так и не увидел, но который был здесь, вместе с ним, в этой комнате. Их было трое!

К полудню он взял кирку и лопату, остановился на площадке около колоды. Здесь же он определил восток и начал копать могилу. Прежде шла глина, потом она смешалась с песком и гравием. Он долбил грунт, потом зачищал лопатой, опять рыхлил каменную смесь с глиной и зачищал. Он копал шурф не для того, чтобы взять, а для того, чтобы отдать!

Алексей не знал, почему людей хоронят головой на запад, а кресты ставят в ногах. И это неважно. Он выкопал могилу глубиной в свой рост, зачистил дно до идеальной глади, потом застелил это дно медвежьей шкурой.

Ксению он нёс на руках. Положил на край могилы, спустился сам, аккуратно опустил её, положил на шкуру, присел около и поцеловал в лоб. Всё молча, без слёз. Будто готов был хоронить Ксению давно. Поверх накрыл второй шкурой, а потом начал, стоя в могиле, сгребать грунт руками. Грунт сыпался, камни скатывались по ногам, но не били тело умершей. Когда шкура скрылась под землёй, он вылез из могилы и засыпал её полностью.

Он оставил маленький холмик, с тем лишь расчётом, что, когда насыпь осядет, могила сравняется с поверхностью земли и никто не увидит её. Из берёзовых веток он выстрогал четыре палки: из больших сделал большой крест, из меньших маленький – и воткнул в рыхлый грунт там, где у покойницы были ноги.

Вынес бутылку с сивухой, плошку и кусок вяленого мяса. Сел на «трон», на горе напротив загорелся таинственный огонь, золотой огонь Салаира. Алексей улыбнулся ему.

– И ты пришёл попрощаться?! Спасибо. Всё не один! Помянем её, брат?!

Налил плошку и выпил, утёр замоченные сивухой усы, откусил мясо и начал мерно жевать. Выпил ещё и ещё, тупо и бездумно. Нет, он думал, но как-то отрывочно, так думают ни о чём. Потом зачем-то встал на колени, подровнял края могилы и сильнее втолкал в землю кресты. И вдруг оцепенел от мысли, что у младенца нет имени. Он даже не знает, кто умер – мальчик или девочка. Он ужаснулся этой мысли. Вернулся на колоду-трон, и ему стало обидно, просто по-детски обидно, и вырвалось, вырвалось с криком боли и слезами:

Домик стоит над рекою,
Пристань у самой реки;
Парень девчонку целует,
Просит он правой руки.

Верила, верила, верю,
Верила, верила я.
Но никогда не поверю,
Что ты разлюбишь меня.

Вдруг прервал песню и заорал что есть мочи:
– Сука!!! Сука!!! Сука!!! – и заплакал. – За что мне такая жизнь?! Сука ты, а не судьба! Сука ты! Сука!!!

Вернись!

(1929 год)

После смерти Ксении он перестал опасаться за свою жизнь. Лошадь сдохла, и до Коурака он ходил пешком, покупал продукты, книги и не спеша возвращался на заимку. Коуракский коопторг оставался главным кормильцем. Прежний управляющий ушёл на пенсию, но пришёл новый, который не отказывался ни от шкурок, ни от самородков, правда, хитрил нагло, не в пример предшественнику. Но жить можно было.

Голова и борода обрели неопрятный и седой вид. Теперь трудно было в нём узнать стройного и красивого поручика, годы и жизнь в тайге сделали своё разрушительное дело. Походы к самогонщице стали постоянными, она не отказывалась брать в уплату золото песком или самородками, с просьбой возвращать тару. Летом случалось, когда он за день не мог добраться до дома и ночевал в поле, совершенно пьяный и беспамятный. Закусывал листьями берёзы и сочными травами. Он похудел так, что одежда висела на нём, как на крючке.

Однажды, выйдя из дома опьянелый, он вдруг увидел, что могила провалилась, обозначив глубокую прямоугольную яму. Он упал на колени, подполз к провалу и заглянул вглубь. Могила была пуста! И вдруг он догадался, что Ксения ушла от него. И он заплакал. Он плакал горячими слезами так горько, что скоро вокруг могилы собрались все звери лесные: зайцы, лисица, два волка, умершие рыси Рос и Рус, и даже медведь присел на край могилы и свесил лапы.

Он плакал, и звери завывали. Он просил, захлёбываясь слезами, чтобы Ксения вернулась, и все звери просили Ксению вернуться в свою могилу. Когда утром он проснулся, могила была ровной, никакой ямы не было. И Алексей понял, что было с ним, и тут же у могилы поклялся не пить, а если опять напьётся, то пусть его заберёт смерть. Клятва сильнее жизни.

Ошибка

(1930–1939 годы)

Неожиданно и резко жизнь Алексея изменилась. Он перестал пить, привёл себя и жилище в порядок, занялся заготовкой продуктов и охотничьих припасов на зиму, но главное – погрузился в изучение философии, а более всего – полного собрания сочинений Ленина в тридцати томах, которые появились в его библиотеке, а также основных работ Маркса. Кроме того, очень внимательно следил за публикациями и выступлениями Сталина. Он поставил целью понять, что произошло со страной, с народом, с властью. Где и что он пропустил, и почему, ещё недавно живя на гребне событий, он вдруг оказался не у дел? Что не так?

Он заново организовал свою жизнь, теперь опять, как в казарме, всё четко и по распорядку: подъём, быт, золотодобыча или охота, и обязательно три дня за рабочим столом.

При лучине читать было трудно, и потому он приспособился покупать свечи, а скоро и сам научился их делать. Фамилия Василия Лобанова,

легендарного партизана, открывала перед ним любые двери. Он часто слышал о нём: Василий работал прежде в ОГПУ, а теперь в НКВД, боролся с преступностью и врагами советской власти. Но лично с ним Алексей встречаться опасался.

Он читал книгу за книгой и скоро пришёл к выводу, что требуется делать записи, – на его столе появились тетради, деревянный пенал, карандаши, ластик, чернильница, ручка с запасными перьями. Складывалась странная картина: на горе Счастливой сидит за столом, в бликах мерцающих свечей бородатый поручик Белой гвардии и изучает основы марксистско-ленинской теории построения мирового коммунизма.

В библиотеке отшельника скоро появились сочинения Льва Толстого и Фёдора Достоевского, а также Шпенглера, Гартмана, Канта, Гегеля, были доступны работы Абрама Деборина и Яна Стэна. Несколько лет изучения трудов умнейших и образованнейших людей принесли плоды. Алексей Левашов понял, что марксисты ошибаются, и ошибаются в главном!

В тот день, ошеломлённый собственным открытием, он вышел из дома. Стоял тихий осенний вечер, округа была ещё видна, но всё небо усеяно яркими звёздами. Алексей не верил самому себе, что ошибка марксистов лежит на поверхности. Так не бывает, думал он. Ленин – безусловный гений и не заметил того, что марксисты, искажив учение Маркса, который сам наделал немало ошибок, в итоге увели своих последователей в дремучую глушь, выход из которой мог быть только в такой же дремучий и варварский капитализм! И полемика Ленина с физиком Эрнстом Махом тоже ошибка, причём обоих оппонентов. Не через «ощущения познаётся мир», как утверждал Мах, а в диалектике познания физического мира и безусловной для человека духовной части. Душа человека не может изучаться законами физического мира, она вне этого мира, но именно она руководит человеком.

Скоро в его записках появились строчки:

Ошибкой считаю неверное определение основы человеческого бытия между духовным и материальным. Маркс определил, что материя первична, а сознание вторично. Это неверно!

Да, человек живёт в материальном мире, но принадлежит ещё и духовному, божественному миру. Сознание его зиждется на духовных, то есть нематериальных законах, и контролируется Совестью, которая есть Бог, материализованный в физическом мире.

Не мог существующий вокруг нас мир и тем более человек стать результатом случайной комбинации триллионов атомов. Не мог человек произойти от обезьяны, потому что нет в мире полуобезьян, полупревращённых в людей, и быть не может. А вот людей, опустившихся до полуживотного состояния, мы знаем, мы с ними знакомы, но то проблема не перерождения, а нравственной, духовной деградации.

Животный мир живёт по закону сильнеешего, и в этом его природная справедливость. Человек не может жить по закону сильнеешего, потому что он человек, то есть существо не материальной, а духовной основы. Если человек начинает жить по закону животного мира, он становится животным, страшным животным, потому что наделён большим, чем обычное животное, – духом. Дух на службе закона сильнеешего – это и есть анти-Бог, это и есть зло в самом крайнем и жестоком проявлении.

Дарвиновская теория происхождения видов путём естественного отбора нужна только капиталистам, чтобы оправдать своё право на эксплуатацию людей. Она делит людей на более развитых и менее развитых, а это дорога, ведущая к страшным последствиям. Все народы мира – это и есть наш единый и красивый человеческий мир, и у каждого народа своё предназначение и своя роль.

Алексею не с кем было полемизировать, вокруг глухая тайга, глубокое небо и мёртвые книги на столе. А потому он продолжал размышлять, стараясь делать свои записки максимально краткими.

Человек, живущий в материальном мире, понимает свою способность духовного изменения и понимает свою жизнь как духовный рост. И если физический мир неизменен, ничто не исчезает и ниоткуда не появляется, то духовный мир изменчив: человек может быть менее или более духовным, совестливым или бессовестным, и живёт человек по закону нравственной справедливости, зависящей исключительно от духовного наполнения через воспитание и самовоспитание. Поступки человека, нравственные или безнравственные, мотивируются духовными ориентирами. Только такое понимание может объяснить нерациональные с позиций мира физического поступки, как подвиги и жертвы наших героев – защитников Отечества, такие свойства, которым название доброта, отзывчивость, сострадание, любовь.

Он читал мудрецов прошлого и современников, пытаясь между строк ухватить тайный смысл мироздания. Мысли поднимали его над собственной горькой судьбой, но за окном были те же горы, так же невозможно шептались деревья да иногда проблёскивал золотой огонь Салаира. И Алексей сокрушался: «Ошиблись мы с Ксюшей, поверили в единоличное счастье. Попробовали жить без людей, но счастья не обрели. Без людского мира нет и не могло быть у нас будущего... Но ведь и мир несправедлив, отторгнув нас. Брат пошёл войной на брата, и теперь я классовый враг, нет мне места нигде, кроме моей горы. Нет в том справедливости».

Алексей уже понимал, что если найдут его здесь, в горах, то там, на равнине, он предстанет перед судом не только как колчаковец, но и как человек, усомнившийся в теории первооснователей коммунизма – Маркса и Ленина! И его судьба будет предрешена. Но он продолжал писать. Собственно, этому была причина: он надеялся, что когда-нибудь его записки попадут в нужные руки и удивительный мир, построенный рабочими и крестьянами, будет спасён. Алексей Левашов стал социалистом. Чёрт возьми! Он понял, что коммунизм без Бога не построить! Без религии можно, а без Бога нельзя! А потому он продолжал заполнять отдельную тетрадку, которую назвал: «Трактат о Справедливом мире».

Главный закон человека – закон Справедливости.

Как и все нравственные законы, Справедливость не подчиняется законам выживания, физическим законам и законам дикой природы. Справедливость подчиняется только Совести.

Справедливость – это вовсе не равное распределение трудодней и благ земных. Справедливость – это равные условия на право нравственного и духовного развития, в обществе, которое не делит людей на бедных и богатых, на своих и чужих, на нужных и бесполезных, потому что ни одна человеческая жизнь не может быть бессмысленной.

Далее в своих размышлениях Алексей писал:

Отрицание духовного начала и торжество материализма станет причиной того, что со временем романтический период строительства общества социальной справедливости непременно сменится созданием общества несправедливого – капиталистического или феодального. Как бы ни были красивы идеи социализма, но, если они построены исключительно на фундаменте материализма, надо понимать, они непременно рухнут.

Человек – часть общества и всей его истории. И не прав один, когда хочет блага только себе, и не правы те, кто хочет осчастливить многих. Также не правы и те, кто решил построить новый мир на руинах старого, очернив и обоглав прошлое. Те, кто презрительно усмехнулся вслед своим предкам. Они не правы, потому что человек – часть земного рода, неотъемлемая его часть,

он преемник и продолжатель. Всякий человек есть связующая нить между прошлым и будущим.

Социалистический опыт надо принять как великий опыт и попытку строительства социально справедливого государства, с полной благодарностью к тем, кто совершил этот подвиг. А если помнить о человеческом бессмертии, то жертвы прошлых поколений есть часть нравственного наследия всего народа, всего человечества, которое мы не только вправе, но и должны сберечь.

Иногда Алексея лихорадило от ощущения первооткрывателя. Почему он не знал этого раньше? Почему открывает мир для себя только теперь, когда всё потерял? Он не мог ответить, как и в полной мере объяснить, зачем ему эти открытия, если он социально мёртв. Кому теперь нужен капитал его знаний? Знаний о том, что полюбившийся социализм уже обречён.

А в этом он не сомневался: «Социализм обречён. Большевики решили, что их философская концепция идеальна, безошибочна и единственно верна. Но именно отсутствие развития большевистской философии приведёт к смертельному результату. Или, может, так и должно быть? Счастье, как и дитя, рождается в страдании матери. Так и Справедливость, как основа общества, рождается через муки поиска, противостояние и даже смерть. Побеждая смерть, поправ смерть, вопреки смерти!»

Огни

(1939–1940 годы)

И вдруг в долине, перед горой, ровно между двух речек, появились люди. Прежде поставили палатки и задымились костры, потом загрохотали трактора, машины, долина наполнилась нездешним звоном пил, топоров и треском падающих деревьев. Несколько десятков людей деятельно копошились в глубокой долине, и скоро Алексей увидел стены первых домов. Они росли как грибы, удлинённые бараки, удлинённые цеха. Скоро загудел натужно и ровно генератор, и как по команде над посёлком включился свет, а воздух наполнился визгом пилорам. Начали работать бригады заготовки и переработки леса. Тяжёлые лесовозы увозили по разбитым дорогам кругляк, ровный брус и плаху куда-то в сторону Коурака.

Генератор работал с шести утра и до одиннадцати вечера. Обозначилась первая улица, дома ещё строились, они стояли вдоль глубокой дорожной колеи, с открытыми ребристыми крышами, похожие на обглоданные рыбины.

В июле приехали машины с матрасами, комодами и детьми. В нескольких домах в окнах зажгётся свет. На глазах строился новый посёлок. Прежде запустили цех, затем контору, поставили барак для жилья, а потом уже начали строить школу и Дом культуры. Алексей стал спускаться в посёлок, заходил в новый магазин, снабжение хорошее, но принимать шкурки в обмен на продукты там отказались. Требовали деньги.

По воскресеньям из чёрной тарелки на столбе шла трансляция программ Всесоюзного радио на весь посёлок. Сначала били московские куранты, потом звучал гимн Советского Союза. Что особенно поражало Алексея, так это когда диктор приглашал всех на утреннюю зарядку. Весь день играла музыка, сообщались новости со строек заводов, гидростанций. Страна жила какой-то неведомой, но мощной жизнью: люди строили, пели, смеялись.

Седьмого ноября около конторы собрались люди с флагами и точно такими же транспарантами, как на празднование Первого мая, которое Алек-

сей видел однажды в Коураке. Вечером в Доме культуры играла музыка, и уличные фонари светили до часу ночи. К зиме посёлок насчитывал около двадцати домов, две улицы и четырнадцать столбов с фонарями. Когда в октябре пошёл снег, Алексей впервые увидел, как сияет посёлок в размытых белых огнях уличного света. Он был очарован, ничего подобного он ещё никогда не видел. Мерцающий в темноте свет напомнил ему зимнюю радугу в тот рождественский день, когда они с Ксенией остались на горе одни.

Так против кого он воевал? Его навязчиво преследовал образ расстрелянного партизана, который не хотел падать и которому Алексей напрочь одним ударом снёс голову. Да, он показал свою удачу. Кто помнит о ней? Никто. Никто, кроме него, и этот партизан стоит теперь перед его глазами всю жизнь. Получается, что он выстоял! Выстоял и построил Магнитогорский и Кузнецкий металлургические комбинаты, Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Беломорканал, Днепрогэс, Уралмаш, Краматорский завод тяжелого машиностроения! Освоил Север! Построил Туркестано-Сибирскую железную дорогу и плотину в Узбекистане! Добывает нефть в Баку. И ещё тысячи строек и городов, о которых Алексей никогда раньше не слышал и даже не знал, где они находятся.

Там, внизу, у самого подножия Счастливой горы, жили счастливые люди.

Алексей по-прежнему охотился и мыл золото. К нему на гору люди не ходили, заготовка леса велась на соседних склонах, там, где рос красный лес – пихта, кедр и сосна. А Счастливая гора отличалась большим количеством осыпей и полян, на склонах росли осины, берёзы и ёлки, и потому, наверное, не вызывала интереса у заготовителей леса. И, конечно, читал, читал и записывал свои мысли. Жизнь приобрела новые ориентиры и смысл. Кому нужны будут его записки, он не знал, но не делать их уже не мог.

Однажды, на Первое мая, Алексей расположился на «троне», послушал радио, посмотрел демонстрацию в посёлке. День был ясный и тёплый. После митинга и выступления руководителей страны по радио начался праздничный концерт. И вдруг объявили народную застольную песню «Верила, верю», в исполнении комсомолки-колхозницы из сибирского села Елшанки. От неожиданности Алексей вздрогнул и даже привстал с бревна. И потекла тонким и робким голосом Ксении песня над всей долиной, проникая во все распадки, ударяясь о насыпи Счастливой горы:

Домик стоит над рекою,
Пристань у самой реки;
Парень девчонку целует,
Просит он правой руки.

Алексей подхватил, вторя чистому голосу:

Верила, верила, верю,
Верила, верила я.
Но никогда не поверю,
Что ты разлюбишь меня.

Он принёс из дома бутылку с самогоном и выпил изрядно. Когда проснулся, то нашёл пустую бутылку. Он сильно замёрз, и весенняя земля высосала из него тепло. Утром его давил жар, а через несколько дней появился кашель с сукровицей. Он лечился подручными средствами, но скоро понял, что они не помогают: кашель усиливался, а крови отхаркивалось больше. Клятва сильнее жизни.

Подарок (август 1940 года)

В то утро, пришедшее после мучительной бессонной ночи, Алексей понял, что наступил его последний день. Он принял эту мысль спокойно, даже с каким-то вызовом и радостью, что наконец-то всё закончится и, может быть, он увидится скоро с Ксенией и своим ребёночком. Он сложил два пудовых кожаных мешка с золотом на кусок шкуры медведя, закрепил ляжку из вожжей, перекинул через плечо и поволок свою поклажу в посёлок.

Он шёл к конторе начальника строительства. В лёгкой прозрачности далеко разносился стук плотницких молотков, на краю посёлка визжала пилорама, натужно и ровно гудел поселковый генератор. Алексей вытянул поклажу в улицу и пошёл среди строящихся домов по будущему проспекту Строителей.

Он присел отдохнуть на брёвнышко около дома. Рабочие, как грачи, облепили решётку крыши. Они сноровисто крепили плахи перекрытия, ладили обрешётку, тут же подавали наверх волнистые шиферные листы. Увидев старика, присевшего около дома, решили сделать перекур. В любом коллективе работяг всегда есть самый говорливый и весёлый. И здесь был такой, молодой ещё, худой, но с залысинками.

– Дед, говорят, ты многое знаешь? – спросил весельчак, прикуривая модную папироску «Север».

– Врут, – спокойно ответил Алексей.

– Тяжела ноша-то твоя? – веселил парень себя и своих товарищей.

– А кому и когда было легко носить золотые цепи? – ответил вопросом Алексей, поправил бороду и сдержал приступ кашля.

– Дед, это ты на той горе живёшь?

– Нет, не я.

– Не хочешь говорить, не говори, мы и без тебя знаем. А как называется гора, на которой ты не живёшь?

– Счастливая гора.

– А почему?

– Потому что там счастье похоронено. А вы, ребята любопытные, откуда будете?

– С Сузуна мы. Слыхал?

– Далек.

– А мы сюда насовсем. Коммуной жить будем, – похвастался весельчак.

– Это как? – удивился Алексей.

– Это когда всем поровну, – ответил парень.

– Так не бывает.

– Бывает. Это ты старорежимный, а мы – коммунисты, потому что у нас коммуна.

– Так не бывает, – упёрся Алексей.

– Так почему же не бывает? Поясни народу. – Весельчак повернулся ко всей бригаде, которая сидела тут же, на обрешётке крыши, и слушала разговор.

– Потому что одного чашкой похлёбки накормишь, а другому и полведра мало. Один за смену десяток деревьев повалит, а другой и трёх не одолеет, потому как ему Бог той силы не дал. Мы от рождения не равны. Но если у зверей побеждает сильнейший, то у людей должен самый умный, самый честный, самый талантливый.

– Ну, дед, ты завернул, и у людей бывает, что побеждает самый сильный, самый хитрый, самый подлый, самый нечестный.

– Верно, но то одичалые люди, люди со звериным сердцем. Это у них, у буржуев, побеждает самый подлый и жадный, а у нас самый человечный человек. Но даже по доброте и совести мы разные, а оттого коммун, где всё поровну, не бывает и быть не должно. И это хорошо, есть возможность отстающим догонять лучших, а сильным поддерживать слабых. Коммуна – это не равенство, а взаимопомощь.

– Правильно дед говорит, – сказал невесть откуда появившийся пожилой мужчина. – Всегда у кого-то больше, у кого-то меньше, абсолютного равенства не бывает, но мы равны в одном – в желании как можно больше сделать доброго и это доброе отдать людям. Теперь вы поняли, что такое коммуна? Правильно я говорю, старик?

– Умный ты человек, сразу видно, а молодёжь не учишь.

– Учим помаленьку, не всё сразу. Не сразу Москва строилась – так говорят. Приходи к нам в столовую, накормим.

– Спасибо. А кто ты будешь, добрый человек?

– Начальник строительства, Ковригин.

– Хорошо. Иди, я сейчас приду. Вот посижу ещё, отдохну, умных речей послушаю и приду. А то я всё один да один.

– Хорошо. Приходи, только у меня сейчас заседание правления будет.

– Очень хорошо, – похвалил Алексей.

Ковригин погрозил пальцем плотникам на крыше, мол, чтобы старика не обижали, и пошёл в контору посёлка.

– Дед, а что ты такое волочешь непосильное?

– Золото.

– Два мешка?

– Вот видишь, уже считать научился.

– Да, – вздохнул хохмач и поудобней уселся на решётке крыши, с удовольствием начал новую тему, – мне бы мешочек! Вот бы зажил! Захотел – туда, захотел – сюда! Захотел мармелада-шоколада, а лучше водочки! Во жизнь! А мужики? Как вам такая пропозиция?

– Глупость это, – усмехнулся старик.

– Кому глупость, а кому-то счастливая жизнь!

– А ты и впрямь дурак. То-то я от хорошей жизни золото иду сдавать вашему Ковригину.

– Нам-то сдавать нечего, а ты, видно, поумнел, – немного обиделся, но продолжал ёрничать плотник.

– Поумнел, да поздно, – грустно ответил старик.

И вдруг все поняли, что старик говорит правду, в мешках действительно золото. Они устремили взгляды на шкуру, где лежали два кожаных мешка. Тем временем Алексей встал, перекинул лямку через плечо.

– Ну, будьте здоровы, а я пошёл на заседание правления. – И поволол мешки к конторе, но вдруг закашлялся, потом отхаркнул кровь, постоял, отдышался.

– А ты, дед, не жилец, однако, – удивлённо заметил хохмач.

– Не жилец, и всё по глупости своей, всё из-за неё, родимой, – согласился Алексей и налёг на лямку, и шкура натруженно зашуршала по земле.

Правление (август 1940 года)

Товарищ Ковригин – старый большевик, прошёл Гражданскую войну, был ранен, имел награды. Теперь возглавлял строительство посёлка Пихтовый и замещал секретаря парткома, который уехал в Новосибирск

на заседание обкома партии и за дополнительными лимитами на цемент. Секретарю так и было сказано: «Без лимитов не возвращайся».

Правление шло в кабинете Ковригина, просторной комнате в два окна. На стене за начальственным столом портрет Сталина, под портретом сабля и шашка закреплены на стене крест-накрест. В углу шкаф с книгами, у порога большая вешалка на стене.

В кабинете за большим столом сидели человек восемь. Шёл жаркий спор, бились за очерёдность возводимых объектов. Одни доказывали, что производственные площади в приоритете, а другие требовали строить прежде жильё, аргументируя тем, что, если будут люди, стройка пойдёт веселее. Но в это время дверь открылась, и на пороге появился старик, белый, лохматый, с мешком в руках. Он молча прошёл до стола и положил на него кожаный мешок.

– Товарищ, я же предупредил вас, что у нас правление. Приходите позже.

– Так я на правление шёл. И не с пустыми руками. Вот подарок принёс.

– Что это?

– Это золото, добытое в здешних местах. Если кого пошлешь, то там, у крыльца, ещё один такой же мешок будет. Пусть кто принесёт, тяжело мне.

И вдруг Алексей начал кашлять глубоко и бессильно. Он вынул тряпицу и сплюнул кровь. Потом рукавом утёр вспотевшее лицо.

– Болею я. Принёс, говорю, вам золото, чтобы строили посёлок быстро и красиво. А мне оно уже без надобности. Помру я скоро.

В это время занесли второй мешок и поставили на стол рядом с первым.

– В каждом по пуду. – Алексей развязал один и толкнул набок, тот упал и рассыпал на столешницу золотой песок вперемешку с малыми самородками.

Ковригин подошёл к мешку, набрал в руку золотого песку.

– Товарищи, а ведь действительно золото! – сказал Ковригин. – Кто вы, почтенный?

– Я Левашов Алексей Павлович, поручик Российской императорской армии! Живу на Счастливой горе.

– Подожди! А не ты ли это будешь? – Ковригин снял со стены саблю и приоткрыл лезвие, на котором было выгравировано два слова: Алексей Левашов.

– Это мой прадед, который добыл эту саблю в бою с французами. Там ещё есть надпись: Пьер Шевалье.

– Вот это чудеса! Товарищи! Разве это не чудо, когда сабля прадеда встретила с правнуком?!

– На этой сабле много жизней, очень много красной крови, – сказал Алексей.

– И не только красной, но и белой, поверь мне, я воевал не хуже. А я помню тебя, ты тот поручик, который своровал деваху в Елшанке, и мы тебя поймали, а вы оказались в стоворе, убили часового и угнали моего коня. Так или нет?

– Так и было, – удивился Алексей. – Так, значит, это вы тот командир?

– Я, командир эскадрона красных бойцов, которые шли наперехват карательного отряда адмирала Колчака, но поймали тебя. А где та красавица?

– Умерла. Не разродилась и умерла.

– Да, жаль, товарищи. Не поверите, девчонка была удивительной красоты! Такая красивая, что я до сих пор помню её! – Ковригин закрыл саблю и повесил её обратно на стену. – Крови пролили много и красной, и белой – это ты верно сказал.

– Нет красной или белой крови, есть русская кровь! – твёрдо поправил Алексей.

– Согласен с тобой, поручик Левашов.

– Товарищ Ковригин! Но ведь белая сволочь развязала Гражданскую войну!

– Да, это так. Но поручик Левашов прав, от этого кровь менее русской не стала.

– Товарищ Ковригин, – поднялся представительный мужчина с седой бородкой, – должен со всей ответственностью сказать, что считаю ваши слова провокацией и намерен доложить вашу позицию на бюро райкома партии!

– Валяй, ты же сюда приехал не просто так, хочешь вынюхать нечто эдакое и доложить потом. А мы сюда приехали, чтобы строить новую и счастливую жизнь. Вы, товарищ инструктор райкома, саботируете это строительство тем, что делите нас, разделяете. А я предлагаю закончить Гражданскую войну здесь и сейчас и строить будущее вместе. Вот эта сабля прошла много войн, защищая нашу Родину. Да если б не она, смогли бы мы построить социализм? Если бы французы захватили Россию? Дальше надо уметь видеть, товарищ инструктор райкома партии, ваша близорукость и подобных вам товарищей приведёт нас к расколу.

Все молчали, что-то совсем новое прозвучало в словах Ковригина – легендарного командира Красной армии, коммуниста с 1914 года. Здесь и сейчас в одной комнате встретились прошлое и настоящее. Инструктор райкома резко встал, громко отодвинул стул, даже отшвырнул его в сторону, и вышел из кабинета. Ковригин посмотрел ему вслед.

– Вот иногда я думаю, от кого зла больше: от врагов России или от ретивых дураков?

– Но, товарищ Ковригин, – поднялся первый член правления, – это с вашей стороны демагогия чистой воды!

– Он хочет купить свободу! – показал на Алексея второй член правления. – Вы понимаете это, товарищ Ковригин? Он сейчас пытается нас купить! Советскую власть купить!

– Я никого не собираюсь покупать! Я хочу быть полезен людям! Вот и всё, – горячо ответил Алексей.

– Только коммунисты могут быть полезны России и всему трудовому народу, – категорически заключил третий член правления.

– Глупость! Опять глупость! А наши предки, тысячи и тысячи лет истории, разве были коммунистами? А его прадед вот этой самой саблей не освобождал нашу страну от француза, не умирал за каждую пядь земли? Разве он был коммунистом? Нет, товарищи, всё не так! – рубанул рукой Ковригин.

– Вы оппортунист, товарищ Ковригин. Вы перерожденец! – закричал первый член правления.

– Нет, товарищи, в первую и главную очередь я – человек, который тоже хочет быть полезен Родине и остаться в её памяти навсегда. Я понял, что имел в виду господин Левашов. И сегодня мы делаем для Родины, для вечности и своего бессмертия очень много. Как это делали наши боевые товарищи, которые ныне покоятся в братских могилах. Они в это верили, как и мы теперь в это верим! Но сегодня мир, и потому мы учим в школах детей, защищаем их здоровье в больницах, мы создаём условия для талантов всякого живущего на нашей земле человека, чтобы он через свои дела, слова и поступки тоже стал бессмертным, именно для этого мы строим социализм. И теперь я прямо спрашиваю тебя, господин Левашов, зачем ты

пришёл к нам и принёс это золото? Купить нас, покаяться или иная идея тобою руководила? Расскажи членам правления. Развей сомнения.

Всё это время Алексей стоял с торца стола и молча слушал возбуждённые речи членов правления посёлка Пихтовый. И сейчас ему опять стало жаль, что он не жил среди этих людей, не участвовал в жарких спорах, как это происходило у сидящих за столом людей. Сейчас они пытались разобраться сами в своей жизни, они искали ответы на очень сложные вопросы. Как это было ново и неожиданно. Алексей утёр мокрое лицо, температура зашкаливала, отчего голова слегка кружилась. И он начал говорить:

– Так получилось, что мы с женой десять лет просидели на горе, которую назвали Счастливой, однако счастья не обрели. Жена умерла, а золото осталось. Потом пришли вы. Я смотрел, как вы работаете и радуетесь жизни, я слушал ваше радио, наблюдал за вашей жизнью и понял, что золото без людей не имеет смысла. Я не знаю, как вам сказать. И причина всему – сам человек, дело только в самом человеке. Понятно, что одни условия позволяют сделать больше, чем другие, но главное – человек и его выбор. И я сделал свой выбор и пришёл к вам. Я сейчас не про золото, я о том, что человек может жить только среди людей, а живя среди людей, он становится бессмертным. Я это понял там, на горе, сидя в полном одиночестве. Наверно, непонятно говорю. Без людей у человека нет ни будущего и нет вечности его делам, дела человека живут вне зависимости от человека, даже когда его уже нет. Через свои дела человек вечен. Понимаете? И я это понял! Золото я отдаю, чтобы оправдать свою жизнь. Пусть золото поможет вам построить город, дороги, паровозы, самолёты – они повезут людей, и в этом будет и моя с женой маленькая заслуга. Через сто лет поедет человек, он о нас ничего не знает, и мы о нём ничего не знаем, но в том, что он живёт счастливо, будет и моё участие. Я не ищу больше бессмертия на небе, я понял, что бессмертие в делах людей на земле.

Алексей вдруг гортанно закашлял, сплюнул в тряпочку сукровицу и продолжил:

– Скоро война, и вы об этом знаете лучше меня. Я уже не боец, но может быть, танк, самолёт или пуля, сделанная на эти деньги, попадёт в сердце врага и убьёт его. И в той пуле будет толика моего труда, моей жизни, моей вечности. Я скоро умру, как умерла моя жена и неродившийся ребёнок, но я хочу, чтобы мы, моя семья стала бессмертной в делах на земле через вот это добытое нами золото. Золото отдаю на строительство, – и вновь тяжёлый кашель.

– Может, вам в больницу? – спросил Ковригин.

Отдышавшись, Алексей вынул из-за пазухи серую тетрадку.

– Это вам, товарищ Ковригин, посмотрите, я тут написал свои размышления о будущем.

– Что это?

– Записки. Прочтите, я хочу, чтобы наша страна сохранила народную власть, и не хочу, чтобы те жертвы, которые случились... – Новый приступ кашля прервал его слова. – Мать рождает дитя в муках, и наш народ выстрадал своё право строить справедливое государство. Здесь об этом. Почитайте и, если сможете, отправьте Сталину. Он поймёт. Он мудрый человек.

– Хорошо, почитаю. Не думаю, что у товарища Сталина будет время читать ваши мысли, но я подумаю, кому отправить. Только прежде сам прочту. Отведите его в лазарет! – приказал Ковригин.

– Не надо, – махнул рукой Алексей, но вновь захлебнулся в кашле.

– Отставить разговоры, исполнять приказ!

Фельдшер Ксения (август 1940 года)

Алексея проводили в медпункт, который разместили в отдельно стоящем доме. Сразу же с порога в нос ударил запах медикаментов.

– Ксения Петровна! – позвал сопровождающий. – Я по распоряжению товарища Ковригина привёл вам больного человека.

Из комнаты в коридор вышла совсем юная девушка.

– Проходите, дедушка, – позвала она и вновь зашла в комнату. – Что вас беспокоит?

– Тебя Ксенией зовут?

– Да, в честь бабушки моей. Вам кого-то напомнило моё имя?

– Для меня это имя звучит как молитва, – глубоко вздохнул Алексей.

– Интересно сказали. Так что вас беспокоит, что болит?

– Эх, милая девушка Ксения, что может болеть у человека, который прожил жизнь и будто не жил вовсе?

– Так не бывает. Давайте я заполню на вас карточку, так положено, а вы как раз успокоитесь, и потом мы поговорим о вашем здоровье. Как вас зовут? Присядьте вот на этот стул, – фельдшер показала на стул около стола.

– Алексей Павлович Левашов я.

– Сколько вам лет?

– Родился в 1890 году, в Москве.

– Вам всего пятьдесят лет?

– Мне много лет, потому что каждый год... – Алексей закашлялся и скоро сплюнул сукровицу в тряпочку, которая служила ему платком.

– Снимите рубаху, я вас послушаю! У вас же воспаление лёгких! Снимите рубаху.

Алексей расстегнул рубаху.

– Что это?! – вскрикнула Ксения, увидев глубокие и кривые рубцы на его груди.

– Война. Это война, Ксюша. Ты мне дай таблеточку, чтобы мне силы хватило до дома добраться.

– Вам нужно срочно в Новосибирск. В прошлом году открылась областная больница, и у них есть рентген. Вам срочно нужна госпитализация!

– Значит, таблетки у тебя нет. Но ничего, я всё равно доберусь до дома.

– Кто у вас дома? Жена, дети?

– Жена, моя Ксюша, и младенец. – Алексей встал, чтобы идти.

– Всё-таки вы зря так к себе относитесь. Подождите, это неправильно! – Ксения попыталась остановить его. – И что, вы так возьмёте и уйдёте умирать?

– Нет, – он опёрся о дверной косяк. – Скажу тебе то, о чём теперь всё время думаю: держись людей! Я сейчас пытался это сказать на правлении, но, видимо, не получилось. Самое важное, что есть у человека, – это люди, которые вокруг и рядом. И какое счастье – видеть их около себя каждый день. Здороваться с ними, разговаривать, даже спорить или ссориться – это самый дорогой дар, общение. Береги его. Ничего нет страшнее пустой жизни, а наполнить её смыслом могут только люди.

– А я хочу замуж, и чтобы у меня была семья: муж и дети. И мне кажется, что это и есть счастье – семья, в которой любовь и дружба. У меня есть жених, и я надеюсь, что он скоро сделает мне предложение, и тогда мне не нужен будет никто на свете, только он и мои будущие дети. Сначала семья, а потом уже люди.

– Счастья тебе, дочка! Счастья тебе, Ксюша! Мы думали так же, когда прятались на Счастливой горе. Но, укрывшись от людей, счастья не найдёшь. Конечно, семья – это самое главное, это твоя маленькая страна, твой мир. А я хотел сказать, что твой мир, твоя семья может жить только в мире людей, в мире таких же счастливых семей. Если бы мы с моей Ксюшей жили среди людей, с нами не случилось бы беды. Но она мертва, да и я уже мёртв.

– Алексей Павлович, – шагнула к Алексею Ксения, взяла его руку, – услышьте меня. Если вы не начнёте срочно лечиться, вы действительно умрёте. Надо ехать в Новосибирск, здесь вам никто не поможет.

– Ксюша, милая девочка, я не боюсь смерти. Я слишком много...

– Алексей Павлович! Вот порошок, это глюкоза, может, она поможет, даст силы, и вы дойдёте до дома. Выпейте, вот вода, – она подала стакан.

Алексей высыпал сладкий порошок в рот, запил водой.

– Я сейчас же доложу товарищу Ковригину, что вы отказались от госпитализации!

– Спасибо, Ксюша. Спасибо. Будь счастлива. – И вышел вон.

Капля

(август 1940 года)

Алексей возвращался на заимку с одной лишь мыслью – дойти и не потерять сознание. Приступы кашля всё чаще останавливали его, он харкал тягучей сукровицей, а потом уже на ходу плевался солоноватой кровью.

К этому дню он готовился загодя: заложил вход в грот камнями, оставил только лаз, который легко было заткнуть изнутри. Он запалил факел, которым поджжёт дом и навес, потом проник в грот, закрепил факел на стене, закупорил вход. Всё было продумано.

Он лёг на каменный пол. Факел щёлкал и брызгал смолой, коптил, но светил ярко. Алексей смотрел в потолок на чёрные сталактиты – пещерные каменные сосульки. Прямо над собой он увидел одну, с висящей на самом кончике каплей воды. Он улыбнулся, и вдруг ему стало легче, саднящая в груди боль прошла, голова прояснилась, зрение обострилось, в теле появилась лёгкость, он даже хотел встать, но не смог, потому что умер.

Заимка горела адским пламенем, но скоро дом рухнул, как подкошенный, и только серый дым вился над пепелищем ещё сутки, затирая серым пеплом каждую щёлочку, всякий намёк на вход в склеп, чтобы навечно закрыть своим мёртвым телом историю любви, историю жизни, историю судьбы.

Валерий МАККАВЕЙ

Родился в 1980 в Горьком. Окончил юридический факультет Нижегородского госуниверситета им Н.И. Лобачевского, квалификация – юрист. Работает заместителем директора по научно-методической работе в ГБ-ПОУ «Нижегородский техникум информационных технологий и права».

Публиковался в журнале «Нижний Новгород», альманахе «Земляки», сетевом издании «Литература». Вошёл в шорт-лист Международной литературной премии им. Юрия Левитанского (2023).

Живёт в Нижнем Новгороде

КУЧЕР

1

В подвале поселился бомж.

Его стали замечать по утрам, когда он, сидя на лавочке, сворачивал очередную самокрутку. В грязном спортивном костюме, в зимних ботинках, с сальными и спутанными волосами, он доставал из потрёпанного рюкзака пластиковый контейнер, набитый окурками, и методично выдавливал на газетный листок коричневые крошки табака. Пожелтевшими от никотина пальцами скручивал всё это в трубочку, кончиком языка смачивал бумажные края, чиркал зажигалкой и глубоко затягивался. По вечерам он сгорбившейся тенью залезал в подвал. Лицо у него было не испитое, вёл он себя тихо, и видели-то его всего два раза в сутки: утром да вечером, – может, поэтому и не прогоняли.

Витька наблюдал за ним из окна кухни, приподняв жалюзи ровно настолько, чтобы видеть происходящее, а самому оставаться незамеченным. Витьке недавно исполнилось шестнадцать. На летние каникулы он устроился на работу курьером по доставке еды. Если брать много заказов, то можно неплохо заработать. А деньги были нужны. Витьке хотелось купить игровой ноутбук. Стоил он дорого. Витька решил откладывать по возможности всю зарплату, оставив себе немного на карманные расходы.

Доставкой он занимался в основном во второй половине дня. Домой возвращался затемно.

2

– Эй, пацан, иди сюда!

Витька ускорил шаг. Он только что отнёс очередной заказ и находился в минуте от дома.

– Слышь, чудило, тебе говорю.

Конфликта было не избежать, и Витька притормозил. Повернувшись, он увидел у пивного магазина трёх коротко стриженных парней. Рядом с ними на асфальте стояло две полторашки с пивом. У каждого в руке по сигарете.

– Чё, оглох что ли? – спросил тот, что стоял ближе; лицо его было покрыто прыщами.

– Нет, – неуверенно сказал Витька. – Я думал – не мне.

– Ты ещё кого-то здесь видишь?

– Да нет...

– Подойди-ка сюда, – сказал прыщавый и смачно плюнул в сторону.

– Зачем?

– Сюда иди! – прорычал долговязый тип с оттопыренными ушами. – Если шкура дорога.

Деваться было некуда. Витька медленно направился к ним. Термосумка черепашьям панцирем нависла над его тощей фигурой, но вряд ли она его защитит...

– Чё в сидоре?

– Ничего. Всё отнёс уже.

– Ща проверим, – долговязый резко сорвал сумку с Витькиных плеч и потряс. – И правда лёгкая.

Он опустил термосумку на землю и ногой пнул её в сторону.

– Деньги есть? – вмешался третий. Он всё время топтался за спиной друзей, попивая пиво.

– Нет. Нам на карточку переводят. Я её маме отдал, – соврал Витька.

– Я её ма-а-аме отдал, – передразнил долговязый.

– А спорим, ты своё очко за ботинки ставил? – прыщавый ехидно посмотрел на Витьку.

– Ничего я не ставил и спорить не буду.

– Ну, давай проверим. Если мы правы, ты покупаешь нам пиво. Если ты – мы расходимся полюбовно.

Витька чувствовал, что это какая-то ловушка, но не мог сообразить, в чём подвох. Выбора не было. Всё равно они не отстанут.

– Ну, давай... – чуть ссутулившись, сказал Витька.

– Садись на корточки.

– Это ещё зачем?

– Садись. Щас узнаешь.

Витька присел.

– А теперь смотри, где находится твоё очко, – сразу за ботинками.

Парни заржали.

– Я вас приветствую, братва, – прозвучал хриплый голос.

Все обернулись. К ним вялой походкой направлялся бомж. Тот самый, что скручивает самокрутки по утрам. Витька поднялся.

– Чего тебе? – спросил долговязый.

– Я Вова Кучер, – бомж подошёл ближе. – Освобождался с шестнадцатой, с ОСУСа. Дайте закурить, пацаны.

Прыщавый полез в карман, достал мятую пачку LD и протянул одну сигарету.

– Держи.

– От души. Сами кто будете?

– Я Юрка, – ответил долговязый. – Тот, что угостил сигаретой, – Олег. А это Серёга, – махнул он на третьего.

Кучер обвёл всех глазами.

– А ты чё молчишь, малец?

– Витька меня зовут.

– Витька – мамкина титька, – загоготал долговязый.

– Осекись, – осадил его Кучер. – Значит, имён у вас пока нет, как я понял. Ну, ничего, это дело поправимое. Когда заедете по первой, попроситесь к окошечку и кричите: «Тюрьма, матуха, дай кликуху». И прилетит в ответочку. Зашибеешься выбирать!

Повисло неловкое молчание.

– Ладно, не робейте. Витёк, забирай сидор, нам пора.

– Ты чё, за него впрягаться будешь? Он же... – прыщавый не окончил фразу.

– Правильно, что сдержался. «Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься», – Кучер чиркнул зажигалкой и раскурил сигарету. – А впрягаются только быки. Ты во мне быка увидел?

Прыщавый потупился.

– Нет, конечно.

– То-то же. Малой, пойдём.

Троица расступилась. Витька взял термосумку и последовал за спасителем.

– Ещё увидимся, – крикнул долговязый.

– А как же, – парировал Кучер.

3

– Ты их не бойся, – сказал Кучер Витьке, когда они присели на лавочку возле подъезда. – Противно мне, когда кубло собирается в стаю и унижает беззащитных. Передачи отнимают, за сигареты прессануть могут. Никого не бойся. Они чувствуют страх. Совсем как вши.

Кучер шумно вздохнул и сплюнул в сторону.

– Вши любят первохода. Когда попадаешь за решётку, то сильно нервничаешь. Организм выделяет какие-то ферменты или ещё что, и вши беспощадно тебя атакуют. Ползают по матрасу, прячутся в швах одежды, кусают безбожно. А ты давишь их, давишь. Потом успокаиваешься, понимаешь, что сидеть ещё долго, и они исчезают. Не то чтобы совсем, но, видимо, выбирают того, кто очкует сильнее.

– А почему ты живёшь в подвале? – неожиданно для самого себя спросил Витька.

– А больше негде. Пока сидел, умерла мама. Сестра прислала бумагу, чтобы я отказался от наследства. Она всю жизнь за матерью ухаживала, подгузники меняла. А я чего? Всё по лагерям. Я и подписал. Теперь вот кочую, – Кучер посмотрел на небо. – Я как самолёт, который упал и уже никогда не взлетит.

– А если устроиться на работу, квартиру снимать?

– Да кто ж меня возьмёт. Семь ходок, три побега, – Кучер грустно усмехнулся. – Хожу теперь, побираюсь. Да и деньги-то сейчас не дают, говорят, номер диктуй – перечислю. А у меня даже телефона нет.

Кучер поднялся.

– Ладно, малец. Давай по шконкам. Утро вечера мудренее.

Витька встал и протянул руку.

– Спасибо, Владимир, как вас по отчеству?

- Ишь, какой воспитанный попался, – улыбнулся Кучер, пожимая худую руку Витьки. – Иванович я.
- Спасибо, Владимир Иванович. Ещё увидимся.
- А как же.

4

В десять утра Витька вышел из дома. На карточке было восемь тысяч рублей (он накануне проверил). В соседнем доме находился ломбард, куда он и направился. Войдя в помещение, Витька сразу пошёл к стеллажам с телефонами. Сонная продавщица спросила:

- Подсказать что-нибудь?
- Да, здравствуйте. Мне нужен самый дешёвый смартфон с NFC. И симка.
- А документы у тебя есть?
- Да, конечно, – Витька вынул из кармана паспорт в коленкоровой обложке – он ему действительно понадобился.
- Вон тот за 4990. Но предупреждаю – он будет тупить.
- Ничего. – Витька расплатился, сунул в карман купленный телефон и вышел на улицу.

День был тёплый. Можно было позвонить Антохе и смотаться на озеро, но нужно работать, покрывать непредвиденные расходы.

5

Вечером Кучер сидел на лавочке.

- Здравствуйте, Владимир Иванович!
- О, Витёк, привет. Ты, это, давай завязывай с Ивановичем. Просто Кучер или, на крайняк, Володя.
- Дядя Володь, у меня для тебя подарок, – сказал, потупившись, Витька. – Вот.

Он достал из кармана смартфон и протянул Кучеру.

– Я его настроил. Завёл виртуальную карту. Теперь вам могут переводить деньги по номеру телефона, а вы – расплачиваться в магазине при помощи приложения.

– Ты чё, рехнулся? – Кучер недобро посмотрел на Витьку. – Благотетель выискался. Деньги, небось, у матери свистнул. Ты кого во мне увидел? Думаешь, я могу вот так малолетку обобрать?

Витька смутился.

– Дядя Володь, я от чистого сердца. А деньги мои, сам заработал. Думаю, что имею право ими распоряжаться. От меня не убудет. Кстати, номер телефона в заметки занёс.

– Нет, малец, так дело не пойдёт, – Кучер посмотрел в сторону. – Сам справлюсь.

– Тогда я его сейчас выкину, – выпалил Витька.

– Твоё дело. Сигарету бы лучше дал.

– Нет у меня сигарет. Ладно, давай так. Это будет кредит. Ты берёшь телефон, а как накопишь денег – вернёшь. Стоит он четыре штуки. Идёт?

– Смотрите на него. Характер показывает. На «ты» перешёл. Вчера бы так выпендривался.

Витька покраснел.

– Ну? По рукам?

Кучер посмотрел на него с интересом.

– А ты настырный, да? Ну, будь по-твоему. Давай телефон.

6

Несколько дней Витька не видел Кучера. Работать приходилось больше обычного. Брал все заказы, что успевал. Домой возвращался поздно. По-быстрому ужинал, потом в душ, поспать хоть немного – и снова на работу с утра пораньше.

В один из вечеров, возвращаясь с работы, Витька встретил Кучера. Тот сидел с бутылкой водки. В руке дымилась сигарета.

– Витёк, здорово! – заплетающимся языком сказал Кучер. – Не пошёл бизнес. Ты уж извини, – он глубоко затынулся. Веки почти не поднимались. Нижняя губа отвисла, и были видны пожелтевшие зубы. – Понимаешь, малец, какая штука... Пришлось заложить телефон.

У Витьки защемило внутри. Навернулись слёзы.

– Разбогатеешь – отдашь, – только и сумел вымолвить он, направляясь к подъезду.

– А как же, – протянул Кучер и сделал большой глоток из бутылки.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Родилась в Ашхабаде Туркменской ССР. Филолог, переводчик-лингвист, владеет четырьмя иностранными языками. Автор издательства «Эксмо», серия книг нон-фикшн для подростков «Секретная книга о самом важном» (2020–2021). Автор сборника сказок для самых маленьких «Приключения насекомых на Цветочной Полянке» (изд. «Спутник», 2008).
Живёт в Москве.

КОД КРАСНЫЙ

Сегодня аншлаг, такое часто бывает по пятницам. Народ, вхлам уставший, расслабленно заваливается в наш гастронаб, туснуть. Не напрягая, играет живой джаз, и вообще атмосфера очень приятная. Я обслуживаю сразу несколько столиков. За одним из которых как раз сейчас выслушиваю недовольства девушки.

«Коть, тут чеснок, скажи, пусть заменят. Я не ем чеснок, ты ж знаешь». Её котя даже усами не ведёт: «Замените», – он поднимает тарелку и словно фрисби, она скользит по поверхности стола в мою сторону. Ловлю. Его взгляд скользит по её декольте. Понимаю, что ей он простит любой каприз. Оставляю их ненадолго и спустя пару минут возвращаюсь с новой тарелкой. Каприза воротит носом: «Чёт я уже совсем расхотела этот салат. А можно сразу к сладкому? Хочу что-нибудь вкусняйшего». Я чувствую жар. Тарелка ещё горячая. Улыбаюсь. *Мама говорила – надо быть добрыми.*

Как можно более спокойно и невозмутимо спрашиваю: «Что бы вы хотели?» «Ты десертную карту-то нам дай, – шипит из-под усов котяра. – Сами выберем. Лапуль, что бы ты хотела?» «А пускай мальчик посоветует на свой вкус», – вульгарно облизывает она свои губы. Хмырь переводит взгляд с её пухлых губ на мой бейдж. «Слышал, Антоша...» Молча улыбается ей. Я молча улыбаюсь ему: «Боюсь, что мой вкус отличается от ваших предпочтений». «Ты чё, попутал, што ли? Совсем нюх потерял, или хочешь вылететь отсюда? Не можешь ткнуть в сраный тортик?». «Коть, ну не ругайся, – довольно растекается каприза. – Пойдём лучше потанцуем. А мальчик принесёт мне вкусненькую пироженку на свой вкус. Да, Антоша?»

Я уже хотел было уйти, провожая взглядом зажавшегося котяру в модных скетчерсах, на такие я только облизывался, как он сейчас на девку. Но, смахивая крошки со стола, заметил на стуле выпавший портмоне, по-видимому, из заднего кармана. Они ведь ушли танцевать... значит, по факту они ушли... я собираю посуду, не знаю как... сгребаю

кошелёк... закрывшись в подсобке, вытаскиваю из него все купюры... закрываю... снова открываю и оставляю пару пятихаток. *Мама говорила – надо быть добрыми.*

* * *

После полной смены я ещё всю ночь левачил на тачке, буквально на автопилоте оказался в кровати. Помню, что, когда засыпал, солнце уже светило в моё окно. Отрубаясь я так, что не разбудит даже взрыв атомной бомбы. Я, накрывшись с головой, всё-таки реагирую на душераздирающую Smack My Bitch Up входного звонка... стягиваю со спинки дивана шорты и в одной тапке, пришаркивая, иду до двери. Не смотря в глазок, проворачиваю дважды ключ, и в распахнутый проём влетает сначала фраза: «Привет, бро, выручай... тут кароч такой кипиш...» «Ммм...» – цежу я и сквозь полудрёму узнаю голос своего кореша. «Да, блин, моя меня тянет на Кипр, – разуваясь и бесцеремонно, не дождавшись приглашения, заваливаясь в комнату, продолжает он. – Пофотаться на пляже ей вздумалось, ну и вот... я хочу типа рисануться... Тока тут загвоздка небольшая, мой стухся, да и ваще кринжовый он какой-то. А у тебя офигенский Никон, и я тут подумал...»

Я жмурюсь из-за пробивающихся сквозь жалюзи всполохов света, вхожу вслед за ним в комнату и потираю кулаком глаза. «Может, ты одолжишь, а-а-а, бро... тебе ж он не нужен?» Понемногу очухиваясь ото сна, отвечаю: «Ну почему ж не нужен... Как раз собирался походить по лесу пофотать дупла, если ты понимаешь, о чём я, – с ухмылкой открываю створку шкафчика и достаю коробку. – На вот... там даже плёнка вроде бы должна быть. Давай поезжай». Друг радостно хватает обеими руками коробку. Я же продолжаю: «Аренда три штуки, отдать можешь шас или как вернёшься, мне не упёрлось». «Ты чё? Рил?» – он тарашится на меня. «Ну да... не сильно дорого, думаю», – я, окончательно проснувшись, нахожу вторую тапку и засовываю в нее ногу. «Мы ж друзья...» – мямлит он... «Да, – не дав ему договорить, вставляю: – И поэтому я даю тебе безвозмездно свою вещь». *Мама говорила – надо быть добрыми.*

* * *

Мы лежим после бурных ласк на моём диване, она водит ручонками по моим волосам, наматывая мои длинные пакли на свои паучьи лапки. Мой дизайнер лепечет о каких-то макетах и углах наклона... она клёво рисует, но ещё клеветнее занимается любовью. Конечно, я понимаю, что через пару недель мы расстанемся. Она чуть приподнимается на локотках и заглядывает в мои глаза: «Ну и что ты решил? Мы сойдёмся... ну... будем жить вместе?» А я не хочу ничего решать и не хочу ничего выбирать. «Нет... – так же смотря в её большущие голубые глазюки, отвечаю, – ... меня устраивает то, как у нас сейчас». Я не вру, ведь я и правда её люблю, зачем же обнадёживающе гладить по шёрстке. Моя кошечка тотчас же щетинится, вскакивает и, схватив трусики, босиком убегает в ванную. Под звуки воды слышу всхлипы. Ничего. Зато так правдиво. *Мама говорила – надо быть добрыми.*

Через пару минут слышу, как хлопает дверь. Она ушла. Возможно, навсегда.

Я сижу на диване, свесив босые ноги на пол. Смотрю в никуда, и слёзы застряли, как сухой мякиш хлеба. Если вы думаете, что боль может иссушить, вы ошибаетесь. Она как медленно заживающая рана. Она волком выеденные ваши внутренности. Она всё и НИЧТО.

Жалость к себе к такому несчастному сменяется злым оскалом к окружающим. Нежность к проявлению заботы и участию от окружающих – безразличием и полным отращением к себе. Всё на сообщающихся сосудах. Мы то, что мы проецируем. То, что мы видим, то отражается в нас. Всё просто.

* * *

Мама шевелит губами, я наклоняюсь над ней. Мама. Моя сильная волевая смелая Мама. Сейчас в этих трубках, обмотанных вокруг её тела, как щупальца спрута, она выглядит такой слабой и очень несчастной. Тяжелее всего смотреть в глаза. Знаете, как умирает человек? Загляните в его глаза – в них сидит страх. Никто не хочет умирать. Даже самый отчаявшийся хочет жить. Любить. Творить. «Сыграй! – шепчет. – Мою любимую».

Я стаскиваю с прикроватной тумбочки скрипку, вспоминаю уроки в детстве... касаюсь смычком струны. То, что заложено в нас с детства, остаётся с нами. Нежность заполняет палату. Доброта всегда будет в нас, как бы жизнь ни пыталась переубедить в обратном.

Входит док. «А-а-а... вы приехали. Ну что ж... – он протирает свои очки, даже не подойдя к маме. – Принесли?» Музыка обрывается, выдернув из лиричных мелодичных фантазий в прозаичную грубую реальность. Его слова испугом отразились на мамином лице: «Давайте выйдем». Я тепло и успокаивающе, как могу, смотрю на маму и выхожу с ним.

В коридоре он снова повторяет: «Принесли сумму?» Я сжимаю кулаки и разжимаю их прямо перед его носом. «Сколько?» – «Сколько вы сказали». – «Хорошо. Значит, завтра готовим её к операции».

Он опускает руку в карман и, расплывшись, как пятно на кафеле, растворяется.

Я смотрю ему вслед. Открываю дверь и вхожу к маме, улыбаясь. Беру в руки скрипку:

– Помнишь, мам... до-ре-ми – надо быть добрыми.

Мама улыбается мне в ответ.

Геннадий ЁМКИН

Родился в 1961 году в Сарове Горьковской области. Окончил Лукояновское физкультурное педагогическое училище и Арзамасский педагогический институт. Воевал в Афганистане. Преподавал в школе, работал инструктором по спорту, лаборантом, техником, инженером, кочегаром, дворником, таксистом, плиточником. Был частным предпринимателем.

Автор поэтических сборников, публикаций во многих изданиях России, а также Казахстана, Болгарии, Беларуси, Германии. Лауреат премий журнала «Русское эхо», Нижегородской писательской организации за лучшую поэтическую книгу 2014 года.

Член Союза писателей России. Живёт в Сарове.

ЛИЛИИ БЕЛОСНЕЖНЫЕ

– Чес-слово, я так больше не буду! – виновато и веря в искренность своих слов, обещаю я маме, устроившей мне не то что нагоняй, а, пожалуй, и целую выволочку за то, что я взял из шкафа тюлевую занавеску, которой мы с пацанами, как бредешком, ловили рыбёшку во время походов на речку. К моей радости, никакого наказания за мой проступок я не получаю. Испорченная напрочь занавеска, естественно, остаётся в моём пользовании. А мама, охая, упрекает уже батю: «Научил ребёнка на мою голову!» Это она о том, что он сам-то с мужиками на Мокшу ездил рыбалить пару раз, да не с бреднем, а почти уж и с неводом!

Рыбаком отец, по сути, не был; так, ездил иногда за компанию со своим другом дядей Альбертом Пичугиным. Вот тот был заядлым рыбаком! А снастей у него было – ого-го! И однажды он даже подарит мне настоящий двухколенный, клеённый из бамбуковых пластин, с пробковой ручкой, спиннинг вместе с «Невской» катушкой!

В цеху ни у кого из батиных приятелей не было машины. А у нас была! Зимой профсоюз продвинул папке очередь на машину с третьей на первую. Бывший первым в столярке по очереди, схлопотав выговор за пьянку и прогул, был поставлен куда-то в конец очереди, второй почему-то сам отказался. И, когда машины уже пришли в магазин, бате и предложили: бери, мол, Максим Степаныч! Родители, назанимавши денег у родни, у знакомых, взяли в кассах взаимопомощи и купили замечательную синюю машину «Москвич-408»! Вот из-за машины цеховые приятели и пытались затянуть папку в рыбацкую компанию. После первой поездки батя привёз столько и такой рыбы, что я не то что за всё лето никогда не налавливал, но и не видывал такущих огромных! Лини, лещи и подлещики, язи, судаки и щуки, не считая крупнящей плотвы и карасей! Естественно, я и напросился на следующую рыбалку ехать вместе с ним.

Кто-то в столярке из батиных приятелей, таких же работяг, как и он сам, был родом из Жегалова, села, что километрах в тридцати от города. Крайними своими домами оно враз на Мокшу и выходит. Так вот, с местными там всегда договаривались, когда надо приезжать рыбалить, – подгадывали день, когда в райцентре на смену заступала знакомая бригада рыбнадзора. И в этот раз к приезду городской компании всё было готово. Встретили нас километрах в пяти за селом на берегу Мокши. Несколько взрослых ребят и трое мужиков ждали нас на высоком в этом месте, со стороны села берегу. Лодка, невод – всё было готово.

Сидим над Мокшей – под обрывом омуток, вода в нём кручёная, тяжёлая, непроглядная. А вот там, где за стремниной от излучины к нашему берегу коса отходит, по обе стороны от неё мель желтеет. Вода за косой тихая, видно, как окунь малька гоняет. Бах, бах! И мелочь рыбья, и брызги – всё серебряное на солнце – в разные стороны! Некоторая мелочь даже на берег вымётывается. Дух захватывает! Чуть позже опять бац, бац! Опять – серебро брызгами! Даже долгоносый куличок, что по косе ходит, замрёт. Прислушается. Голову повернёт, наклонит её и, словно мальчишка, присматривается, сколько блинчиков по воде, брошенный им камушек отсчитает. Опять расхаживает, чего-то выискивает. Остановится. Замрёт. Клю! В воду. И ходит опять, ходит. Присматривается. Прислушивается. Длинноносый...

За прибрежным ивняком луга заливные, далеко видно, вон стадо пёстрое. Пацан с дядькой за ним идут. И ещё видно много. Простор. Ветер.

Понятное дело, взрослые, пока не свечерело, стали отмечать приезд, предстоящую рыбалку. Выпивают, курят, разговаривают. Ну, это ихние взрослые дела. А я – на Якорную заводь (на ней-то и собрались ночью невод таскать) с удочкой. А то как же, из-за этого и ехал. Мокша славится рыбалкой. Рыбы в ней всякой – во-о! Заводь красивая. Кувшинки, лилии, камыш в самом конце. У неё оба берега высокие, но не обрывистые. Из-под одного в нескольких местах ключи бьют, вода прозрачная-прозрачная, водоросли прямо ото дна видно, а глубина-то – с ручьями, да ещё и дна не достанешь! Мальки среди водорослей мелькают, щурёночка можно иногда затаившегося увидеть. Стоишь, смотришь на воду, на кувшинки. Те жёлтые-жёлтые, бочончатые. Лепестки, правда, немного кургузо-полукруглые, но всё равно красиво! Среди кувшинок и ближе к середине заводи цветут лилии.

Вот эти белые лилии в Якорной заводи – самые красивые из всех цветов, что я видел! Белоснежные, остролистные, в обрамлении зелёной остролистной же короны, собраны в маленькую-маленькую вазочку из смотрящих в стороны и вверх лепестков, в центре которой – колечком щёточка, желтее жёлтого цвета, из множества глянцевого тычинок, окружающих красновато-оранжевое донце. Такой нежный цветок и рвать жалко. Засмотришься. Красиво.

И лилии, и кувшинки, на ночь закрывая свои цветы, скрывались под воду. Кувшинки – превращаясь в маленькие зелёные, чуть приплюснутые сверху вниз кубышечки, а лилии смыкались в вытянутый, островерхий, тоже зелёный, но с белыми прожилками бутон (наружные зелёные лепестки не имели уже силы так плотно сжать весь цветок, чтобы совсем скрыть от глаз белизну внутренних лепестков).

Вечер разомлел. Стрекозы летают. Синие, зелёные, есть даже ярко-голубые с чёрными крыльями, они больше на осоке сидят небольшими группками, переговариваются, наверное. Вот коричневая стрекоза, она

в несколько раз больше зелёных и синих. Толстая. Гудит как боевой вертолёт! Слышно, как её крылья шелестят, страшновато шелестят. Прилетела, висит прямо напротив моего лица, кажется, дунь – и прогонишь. Да как-то уж больно пучеглазо она смотрит на меня, кажется, даже опаснее, чем пчёлы на Винни-Пуха, после того как Винни заглянул к ним в гнездо. Висит. Смотрит не по-доброму так, смотрит – пучеглазо. Жужжит. Нехорошо жужжит – страшновато. А главное, там, где рот у неё, там шевелятся два каких-то загребательных коготка. Нехорошо так шевелятся. Висит и смо-отрит. Тут ещё одна такая же подлетает. Ну, думаю, всё! А чего «всё», пока ещё не знаю. Но нехорошее думаю... Прилетевшая стрекозица на меня посмотрела как-то невнимательно. Обидно даже посмотрела. Переглянулись эти обе пучеглазо, пошевелили своими жвалами, о чём-то договариваясь, и полетели будто куда, да первая, остановившись оглянулась и такое выражение своей морды сделала, словно сказала: «Не уходи куда, ужин!»

Улетели в догонялки играть. Уф! Отлегло.

Я и о поплавке-то забыл. Вот он, сделанный из пробки, со спичкой, зажимающей леску в отверстии, прожжённом гвоздиком внутри поплавка. Он так замер, словно в лёд вмёрз. А вода такая же, как лёд, и есть – прозрачная-прозрачная, ти-ихая. Вдруг какая-то рыбища ка-ак вывернется – ба-бах! Только круги на воде. Кувшинки и их лопухастые листья покачиваются. И обязательно ведь у того берега! Обходишь заводь, а заводь длинная, обходить полкилометра, наверное. Сейчас я её! Вот здесь плесканулась. Забрасываю. Замираю. Всматриваюсь в поплавок. Не клюёт. Всматриваюсь ещё внимательнее, с прищуром уже. Всё равно не клюёт! Потом начинаю рыбу уговаривать: «Ну давай, давай, чего тебе ещё? Червяк такой хороший! Навозный! Полоски у него поперёк то красные, то желтоватые. А вёрткий! И после того как на крючок насадишь, всё равно хвостом так и крутит, так и крутит! Вкуснющий, говорю, червяк!» Даже губами причмокиваю. Ну что ж не клюёт-то, зараза?! Давай! Давай! Клюй!

Я вот потом пацанам-то расскажу, как я тебя вытаскивал! От зависти загнутся, как начну рассказывать, что я тебя – и туда, и сюда! Удочка в дугу, трещит! Ко мне на помощь уже бегут. А я говорю: «Не надо! Я сам!» И вот полчаса уже так друг друга перетягиваем. Наконец, поднимаю твою голову над водой, а ты только воздуха хлебнула – и всё!

Сдаётся рыбина. Ложится на бок. Лещ! Я его, эту сковородину, подвожу, конечно, без всякого сачка, под жабры пальцами сжимаю, у-у, лещуга! Тяжеленный! И тут я пацанам показываю нехилый бицепс, но я, мол, – во! Видали? Все пацаны переводят дыхание (жалко, что ещё никто не курит всерьёз, а только пробовали, а то нервно бы затыгивались!). Да! А возразить-то никто не может! А то – айда смотреть! Вот он лещуга! Разлётся на полванны. Жёлтый! Светится весь! Хвостиче – лопатой. И он им – ба-бах! Ба-бах!

От этого «бабаха» я сам уже очнулся. Да что ты будешь делать! Опять на другом берегу... Хватаю банку с червяками, – туда. Всё повторяется – не клюёт. Придётся пацанам рассказать, что два раза леску рвало. Ну, вот разве, для пушей убедительности, кончик у удочки надломить? Нет, это не годится. Починяй потом... Да... Теперь обратно под тем берегом – ба-бах! Ба-бах!

Невод начали заводить уже по темноте.

Втроём на лодке заводили одно крыло его аж под самый другой берег и, делая дугу, причаливали обратно недалеко от того места,

где в нетерпении дотягивали уже свои беломорины ожидающие на берегу. Взявшись по четверо с каждого крыла за толстенные палки-жердины, начали вытягивать невод. Поначалу снасть идёт ходко. Капроновые ячейки рассекают воду со свистящим шелестом. Но постепенно ячейки невода забиваются длинными шелковистыми водорослями, что растут со дна, и жёсткими, теми, что похожи на хвощи и растут ближе к берегу, листьями кувшинок и скользкой тиной... Большие гайки-грузила, что на нижнем шнуре, заставляют нижнюю часть невода врезаться в донный ил и загребать в свою пасть всё, что попадает на пути: ракушки, мелкие коряжинки, комья глины, разный мусор и мечущуюся во всём этом ужасе рыбу. Вот сквозь забитые водорослями ячейки вода начинает проходить уже плохо. Тяжело пошёл невод.

Ночь, темнотица! Мужики тяжело дышат, с просвистом. Сперва поругиваются. Палки-жерди аж потрескивают, выгибаясь. Тяжело идёт невод.

Кое-кто, оскальзываясь, и припадёт уже на колено. Подгоняют друг друга: «Давай! Давай!» Уже не то что поругиваются или разговаривают с матерком, а даже и кряхтят-то матом. Вода в забитые ячейки почти не проходит и шумным буруном переваливается через верхний шнур с большими, в кулак, пенопластовыми поплавками, и всем своим зевлом ненасытная, заглатывающая махина пытается уже всю ту часть завести, что очертили дугой, всю её и выволочь на берег. В проявляющемся иногда слабom, рассеянном свете луны (сама луна появляется лишь в разрывах облаков, словно и смотреть не хочет на эту пагубу) видно и слышно, как за крыльями-щеками невода, в жадной пасти его, переходящей в глотку, пробулькивает, вскипает, плещется и будто жалобно попискивает.

И вот невод с трудом, рывками уже, но выволакивает свою ношу на берег. А мне ещё и представляется, что за самое окончание его, за мотню, в которой лежат железяки-грузы, водяной уцепился и пытается удержать невод, упирается во дно своими ножищами-кореньями. Да куда там удержать! Вон сколько этих мужичищ остервенело, сами все в поту, ругаются, но прут и прут себе в высокий берег эту мерзкую снасть! Вот и пробулькивает вода в ячейках, вскипая. Вот и поднимается муть за этой ужасной снастью, вот и слышится водяное сопение! А мужики кряхтят ещё громче, ещё упорнее и матернее! И тянут, тянут-таки водяного, уцепившегося за невод. И он, изранив ручищи свои железяками-грузами и раздирающими кожу ячейками невода да с избитыми о камни, ракушки и коряги ногами, у самого берега, обессилевший уже, со стоном и горьким, раздающимся по воде во всю ширь заводи «У-у-у-ух...» выпускает из рук гибельную эту снасть.

Ворохается в туго набитой мотне, всплескивает, всхлипывает, шевелится...

Двое мужиков, взявшись за осклизлый конец мотни с сочащейся из её ячеек жижей, поднимают его сначала до уровня пояса, потом до груди, стараются вытрясти её содержимое ближе к нижнему шнуру невода, а затем и вывалить всё на траву.

Рыбы было много! Язи, лини, лещи, караси, судаки, щуки и прочие плотвички да окушки. Из мелкой рыбёхи — много давленной. Крупные светлые рыбины, если были не залеплены тиной и грязью, — лещи, язи, крупная плотва, те ещё проблёскивают в пробивающемся иногда сквозь разрывы туч лунном свете. Но в основном вся рыба, ворочаясь в жиже из ила и тины, облепленная водорослями, почти не видна, и находить её

приходится при помощи ощупывания растекающегося по траве месива да по затихающему рыбьему шевелению. Раков крупных, чёрных – неведомо сколько! Они, подбивая под себя хвостами, всё назад пятятся, выставив перед собой жуткие шипастые клешнищи. И представляется мне, что глазки их словно и не успевают за туловищем и потому, вываливаясь наружу из-под низкого, с шипами же, рачьего лба, телепаются на пружинистых проволочках. Страшно.

Пищат те, которые недораздавленные и уже не в силах упрыгать, лягушки и совсем ещё маленькие лягушата. Крупные, больше ладони, ракушки с каменным стуком бьются друг о друга, когда их вытряхают из мотни, и тоже будто попискивают...

Под утро мужики остаются довольны уловом! Четыре или пять полиэтиленовых мешка рыбой набили.

Только мне вот очень жалко раздавленных лягушек и лягушат. Жалко большие смятые и рваные уже листья кувшинок и лилий, их бутоны на перекрученных и оборванных стеблях, жалко те длинные и красивые водоросли, что тянулись со дна в прозрачной-прозрачной воде к поверхности, между которыми притаивались щурки, мелькала рыбья мелочь и рывками в разные стороны двигались тёмно-коричневые жуки-плавунцы. Теперь эти водоросли слиплись, перемешались с илом и тиной. Жалко те самые огромные, чёрные почти ракушки, которые днём под солнцем, обсохнув и словно прося пить, раскроют свои створки и станут похожими на открытые шкатулки, а язычки их будут, сморщиваясь, сохнуть между гаснущими под солнцем переливами внутренних перламутровых створок.

Страшным утром будет и то, что в выволоченных на берег, растёкшихся кучах осоки, рогоза, какого-то мусора, среди, потерявшей свой серебряный живой блеск и отверделой уже рыбьей мелочи на своих изломанных, перекрученных обрывках стеблей бутоны кувшинок и лилий раскроют, как раскрывали они каждое утро навстречу взошедшему солнцу жёлтые и необыкновенной белизны нежные цветы, раскроют лишь для того, чтобы узнать, что они мертвы и мёртвыми уже смотреть, смотреть на восходящее солнце.

На такую «рыбалку» мы с батей больше не ездили...

Виталий ГОЛЬНЕВ

Родился в 1961 году в Горьковской области, в военном городке под Арзамасом-16. Через пять лет переехал с родителями (уроженцами Смоленска) в Горький. Окончил экономический факультет Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Работал инженером-программистом в Научно-исследовательском институте измерительных систем, с 1997 года – преподавателем.

Печатался в поэтических сборниках, альманахах и литературных журналах. Дебютная книга стихотворений «Прямая трансляция» вышла в 1990 году в издательстве «Молодая гвардия», шестая – «Осторожно, двери закрываются!» – в 2022 году.

Член Союза российских писателей. Живет в Нижнем Новгороде.

**...И СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
К НАМ ПРИДЁТ НЕПРЕМЕННО**

* * *

Ах, балерина-балеринка,
былинка в пачке... Это ж так
обыденный прогон, разминка,
всего лишь спевочка, пустяк.

Зачем ты так взяла высоко
на хрупких пикселях пуант –
и всю любовь свою, что робко
хранила, весь расклад расплат

зажгла на сцене – и не жалко! –
вся в высь, и – быть или не быть,
ведь это ж просто генералка?
Так до премьеры не дожить.

В обиде, в нежности, в расцвете,
в раскаяньях – зачем душа
вся в глубь?.. И вот уже на сцене
смирненно опустошена.

По воле юности и Бога,
аплодисментов не прося,
из крыльев платья голубого
наружу вывернута вся.

Сиреневая музыка

Сгущая звуки красками у ног,
разбрасывает крылышками с глупой
настойчивостью бойкий мотылёк
сиреневую музыку над клумбой.

Всё позабыв на свете часом, он
аранжирует, упиваясь летом,
свет настоящий, что покуда светом
искусственным несильно загрязнён.

Щенок соседский увлечён его
игрой, но отчего-то только лает.
Бежит за музыкой – и не пойми с чего
особо с этой музыкой не ладит.

Унять бы ему лай, да невдомёк,
что, около моих апартаментов,
столь искренних уж точно мотылёк
ничем не заслужил аплодисментов.

* * *

С. М.

Звёзды не умеют под ногами
отражаться на земле. Нигде –
не умеют, даже мимо гати
если ты гуляешь по воде.

В русле нет их. Нет их даже в крепи
русла, где высок и чист их свет.
А верней, не в русле, а на небе.
Смотришь – и тебя как будто нет.

Два ветра

С. М.

В дебрях, но не слишком далеко
заблудились мы, а как положено
двум ветрам – и сделалось легко
там, где было только что тревожно.

Может, вспомнил маму и отца –
и словами стало сердце? Может,

из потёмок наши голоса
вырвал свет – и мир их дальше множит?

Легче теплых пёрышек души,
их дела просты и неразменны,
и над белым светом так слышны,
что уже почти и незаметны.

* * *

Хорошо бы заснуть на скамье
под окошком избы, а проснуться, –
на окошко взглянув, словно в блюдец, –
в русых кудрях, а не в седине.

И зайти, словно в сани свои, –
их ведь летом готовят, – в далёкий
разговор у реки, лёгкий-лёгкий,
и в кругу оказаться семьи,

в тех раздольях, где мама отцу
и жена – не забалуешь слишком,
и любимая – с миленьким личиком,
и отец моей маме к лицу.

И не сыщешь окошка милей...
Но засну, и опять просыпаюсь
в седине, словно выцветший парус,
и не знаю, что делать мне в ней.

Вечеру у летейских урём
тишины, что кидает на лица
злую скорбь, лишь дурак не боится.
Но сегодня я чувю нутром,

что, ступая на мягкие ноги,
холодок на коротком шажке
подойдёт и в матером прыжке
пролетит мимо горла дороги.

* * *

Разрумянила рань колхозницу
возле цинковых двух корыт.
Открывается на околицу
прополоснутый в речке вид.

Речка небом эмалирована,
ярким солнышком холодна.
Через двор протянулись ровненько
две верёвки, как провода.

Сохнут вязанки-рукавицы
и вязанки к душе печной.

Тень в причёске хозяйки снится
тонкой наволочке ржаной.

Сохнет пододеяльник сочно
с парой бязевых лебедей,
сохнут простыни и сорочка
со стожками ржаных грудей.

На прищепках висит скатёрка,
повидавшая многий мир,
не порвавшаяся, где тонко,
и горой вспоминает пир.

Исток

Темнеет и медленно перетекает
ненадобность света в ненадобность слов.
И жить основания нет. И тепла нет.
И всё же, скорбя возле горьких крестов,

нет-нет и воскликнешь, ещё не итожа
юдоли и клином не вышибив клин:
– Какие любили нас женщины, боже!
Зачем же небрежны так были мы к ним?

Забыть их нельзя, как бы ни было тошно,
затем, что отнять их нельзя искони.
Цепляйся! Живи! Умереть невозможно,
тогда же ведь с нами умрут и они.

Умрут – и окрест пошатнутся устои,
и свет упадёт ниже отчих полов.
И с Древа познания история Трои
осыпется в прах, не дождавшись плодов.

Затем и живи, как бы ни было горько,
в сторонке от шума доматывай срок,
доделывай дело своё – и негромко
в полуночных дебрях ищи свой исток.

Перед устьем

Не учу себя благому днесь,
просто говорю на всяком поле:
– Принимай судьбу такой, как есть,
но живи в отчизне, а не подле.

И, плутая рытвинами, нех
сильно сомневаться, ибо наша
цель не в подчинении наверх,
где над нами сроду нет карт-бланша.

Разве что совсем уж высоко,
а пониже – нет, пониже – те, кто

в праздности разнежались легко
в подноготной дьявольского трека.

И пускай мы выглядим смешно
оттого, что, принимая старость,
вновь разводим руки – дескать, что
можем, то и делаем, стараясь.

А юнец уже кидает злость:
– Ничего не сделали вы толком.
Чем-то мне его приятен лоск.
Чем? Не знаю. Он ведь прав во многом.

Промолчу. Но перед устьем в срок
свой отвечу всем на свете пашням:
– Не от нас остаться должен толк,
а от той земли, куда мы ляжем.

* * *

...И сегодняшний день к нам придёт непременно,
чуть поздней, я не знаю насколько поздней,
время как-то однажды уже не имело
никакого значенья, ему ведь видней
с высоты, где оно то серьёзное солнце,
то скупая луна. И не надо точней,
если день к нам сегодняшний снова вернётся,
в виде солнечных самых обычных лучей.
Мы узнаем его небывалые всходы,
колоски и бутоны увидим его,
будет много красивой и чистой погоды –
не узнать невозможно. И значит легко
мы узнаем его по крупицам, по малым
лепесткам, по жужжанью весёлых шмелей.
И, как пойму реки, его утро туманом
не накроет. Не бойся. Смотри веселей
на дорогу с примятою пылью отменно,
на сиреневый ветер, бегущий по ней,
и настанет сегодняшний день непременно,
чуть поздней, и неважно насколько поздней.
Этот день мы увидим по рекам и пашням,
по дыханью небес. И гороховый шут
побойтся назвать его чем-то вчерашним,
ведь скорее шута позабыть предпочтут
потихоньку в себя приходящие люди,
чем себя и надежду, теплее зари,
на сегодняшний день, и ударят салюты,
и отмоют молитвы глаза изнутри.

Татьяна ТУНГУСОВА

Родилась в 1947 году в городе Яранске Кировской области. Окончила историко-филологический факультет Казанского государственного университета. Работала журналистом в районной прессе, прошла путь от корреспондента до заместителя главного редактора газеты.

Автор поэтических сборников, многочисленных публикаций в периодике. Член Союза писателей России. Живет в городе Советске Кировской области.

ДЕРЕВНЯ У РЕКИ

Имена

Антонина, Ирина, Татьяна...
 Три реки, три звезды, три дурмана.
 Как тропинки в лесу за калиткой,
 Судеб трех перепутаны нитки.
 Две звезды мне в ладони упали –
 Возвращу их на место едва ли.
 Две реки пересохли, но третья
 Существует пока что на свете.
 Кружат голову мята и донник –
 Вот и свиделись, бабушка Тоня.
 Аромат горьковатый полынный –
 Вот и встретились, мама Ирина.
 Тополь почками выстрелитпряно –
 Это я, дочь и внучка Татьяна.

На губах вкус осенней рябины.
 В небесах эхо птичьего клина.
 В них слились имена воедино:
 Антонина, Татьяна, Ирина...

Дядя Саша

Огород соседи пашут
 С ветерком да с матерком.
 А за плугом – дядя Саша
 И, заметьте, босиком.
 Дядя Саша ровно пашет –
 Не подводит глазомер.
 Он для всей округи нашей
 Агроном и землемер.
 У него ступня – барометр.
 На термометр не глядит.

Чуть ногою землю тронет,
Сразу вынесет вердикт.
Мол, куда спешите, люди?
Май нагонит холодов:
И картошка хворой будет,
И корявою морковь.

Вот прогреется земляца –
Всякий овощ уродится.

Нервно рыжая кобыла
Бьет копытом о землю.
Видимо, в хлеву изныла
Без работы с осени.

Зайчик солнечный на плуге,
Ручеек в логу журчит.
А по пашне друг за другом
Ходят важные грачи.

«Здравствуйте!»

У нас в поселке – как в деревне:
Всяк по родне, то сват, то брат.
И все, как водится издревле,
Друг другу: «Здравствуй!» – говорят.

Соседка слева, тетка Анна, –
Ей в марте восемьдесят два –
Вслед спросит: «Здравствуешь, Татьяна?»
И я отвечу, что жива.

Ты местным или пришлым будешь,
Юнец иль в возрасте уже,
Когда тебя приветят люди,
Теплее станет на душе.

Я в третий раз из дома вышла
(Уловка эта не нова),
Чтоб вновь: «Как здравствуешь?» – услышать
И убедиться, что жива.

Гость

А.В. Быстрову

– Здравствуй, Толя! Давненько не был.
Ну, рассказывай, не молчи.
Поотведай нашего хлеба,
Только вынула из печи.
Мы здесь все еще по старинке,
И с коровой, и с петухом.

Ты снимай-ка, снимай ботинки,
По избе пройдишь босиком.
А потом от крыльца да в поле.
Поседел, но прежняя статья.
Здесь, в деревне, такая воля,
Где же вам, горожанам, знать.
И Молома – она все та же,
Есть и окуни, и ерши.
Я окрошки тебе налажу
И по стопочке – для души.
Все дядья твои на погосте,
Там же, где и отец, и мать.
Знали бы, что заглянешь в гости,
Погодили бы умирать.

Саночки

Ах, какие саночки
Ладил дед Евсей.
Саночки-гуляночки
Для деревни всей.
Мчались с горки весело
Наперегонки.
Скрип полозьев песнею
Лился вдоль реки.
Легкие да быстрые,
Птицами летят.
С виду неказистые,
Кручу укротят.
Не полозья выгнуты –
Шеи лебедей,
Из березы, липы ли,
Чтоб катать детей.
Саночки-игрушечки –
Что за красота!
Пацанам по-дружески
Дед дарил всегда.

Годы словно саночки –
Пронеслись, и нет.
Но пролегли по памяти
Двухполосный след.
И хранят кладовочки,
Сени и дворы
Санки на веревочках –
Радость детворы.

Старая кошка

Старая женщина, старая кошка
Целыми днями сидят у окошка.
Снежная улица, словно пустыня.
К ночи морозец ударит – подстынет.

Взять бы лопату, почистить дорожки
 Да подремать бы у печки немножко.
 Но полушалок пуховый не греет:
 Бабка болеет и кошка болеет.
 Старость – диагноз у них одинаков.
 Силы не те уже стали, однако.
 Мыши в подполье погрызли картошку –
 Больше на них не охотится кошка.
 Есть перестала – сметаны не хочет.
 Жметя к хозяйке под бок днем и ночьюю.

Старая женщина думает думу:
 Старую кошку пристроить к кому бы?
 «Если умру в одночасье я ноне,
 Кто мою кошку потом похоронит?»
 Катится жизнь, как и солнце, к закату.
 Дым над трубой восклицательным знаком.
 Старая женщина, старая кошка
 В сумерках зимних сидят у окошка...

Деревенская невеста

– Что-то сваты, девка, к нам не спешат...
 И во сне он снится матери, зять.
 Прокисает пива третий ушат,
 Только где же жениха нынче взять?

Не осталось их в деревне у нас:
 Семь старух да древний скотник Егор.
 Не дожидаться – не появится князь,
 Городской не завернет к нам во двор.

– Засидишься в вековухах ты, дочь!
 Мать все пилит, как тупая пила.
 И сама я выйти замуж не прочь,
 Я бы жизнь тогда как песню вела.

Я б поехала за ним хоть в Москву,
 Только там своих невест пруд пруди.
 Хоть всю ночьку напролет протоскуй,
 А на ферму в пять утра выходи.

Я б хотела, как и все, за орла,
 Да летают те орлы высоко.
 Я бескрылого – и то бы взяла,
 Отпоила бы, глядишь, молоком.

Не крива я, не коса, не худа.
 Не судьба мне только деток растить.
 И за что мне это горе-беда?
 Поревем, и мать за пиво простит.

Аннушка

А в глазах у нее – море синее,
А на косы пал белый снег.
Здравствуй, Аннушка, свет Васильевна,
Дорогой ты мой человек.
Гнут нас годы, но ты не гнешься,
Упадешь, так сумеешь встать.
Не заплачешь, а улыбнешься.
Где мне силу такую взять?
Переспросишь: «Какую силу?»
И еще раз расскажешь мне,
Что пахала ты и косила,
Если нужно было стране.
Что с войны не отходят ноги –
К непогоде болят хоть плачь.
Что коровке твоей безрогой
Не помог прошлый год ветврач.
Что сынок непутевый Пашка
Сгинул где-то, и писем нет,
Что давление так и пляшет.
Промолчу. Не готов ответ.
А глаза – словно небо, синие,
Полыхнут, обжигая, вдруг:
«Я, Татьяна, жива Россиюю.
Вот она, посмотри вокруг!»

Деревня у реки

На варенье пенка розова,
Осы вьются над столом.
Пахнет яблоком и грозами
Край, в котором мы живем.
Пахнет борovým он рыжиком,
Сеном с заливных лугов.
Под тесовыми под крышами
Хлеб в печах уже готов.
Здесь живут от века праведно
Дети, внуки, старики.
Но безделье неоправданно
В той деревне у реки.
Люди здесь трудолюбивые,
Знают, стоит кто чего.
На словцо несправедливое
Все горой за одного.
То грустит гармонь, то дразнится,
Переборы вдаль плывут.
И какая, в общем, разница,
Как деревню ту зовут?

Михаил КРУПИН

Родился в 1967 году в Горьком. Окончил радиофизический факультет Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, Высшие литературные курсы при Литинституте им. А. М. Горького, аспирантуру Литинститута. Генеральный директор кинокомпании «Держава».

Писатель, драматург, сценарист и режиссер ряда фильмов. Автор книг прозы и стихов, в том числе крупных биографических работ «Никита Михалков. “Он русский, это многое объясняет...”» и «Карен Шахназаров. “Своя тайна”», публикаций в журналах «Нижний Новгород», «Юность», «Москва», «Наш современник», в «Литературной газете» и других изданиях. Лауреат Всероссийской литературной премии им. В. Шишкова (2006), Международной премии имени Валентина Пикуля (2017), победитель Сценарного конкурса Фонда кино (2014).

Живет в Москве.

И ЖИЗНЬ ЕСТЬ СОВЕСТЬ...

Пушкин

*И ничего не исправила,
Не помогла ничему
Тихая смутная музыка,
Слышная только ему.*

Георгий Иванов

Вольные русские лирики
От ледяного дождя
В теплые галльские заводи
Плыли, бесшумно частя
Книжицами, будто ластами...
Выплыли в лучшие дни:
Мол, по Руси вашей шастают
Звери да бесы одни.

Только путями окольными,
В тысячах лье на восток,
Падал за окнами школьными
Пушкинский легкий снежок.

После мороз был и солнышко,
Речка блестела до слез...
Бесы упали на доньшко,
Зверь нам царевну привез.

Ноченька звезд не убавила...
Видимо, что-то исправила
И помогала всему
*Тихая смутная музыка,
Слышная только ему.*

* * *

Вот и вошла забота
сквозь кружево теней.
И жизнь есть совесть. Что ты
ни напиши о ней...

А думалось – все просто:
мол, «рысью как-нибудь»,
приятельские звезды
покалывают путь.
И безмятежен Будда...

Но светел – Серафим.
А твой сынок как будто
тобою не любим.
Земля твоя продрогла
и тяжела, как яд.
И волны бьются блекло.
И звезды не горят.

* * *

М. К.

Ночь девятнадцатого века.
Лопатой неба снег прибит.
В колодец звездочка летит.
Есть ощущение ночлега...
И Пушкин спит. И Гоголь спит.

Спят храмы, лошади и страны –
Руками голыми бери.
И только перышко Татьяны
Морочит беса до зари.

Страшная месть

Зима, нестрашная сначала,
До боли избу обняла,
И бабка Сима вдруг устала,
На лавку засветло легла.

Луна является без звука,
Беспамятна и молода.
Сияет на открытке внука,
Гоняет слоников стада,

И шлет лучищами своими –
Помолодеть – один совет...
Нет, видно, бабке Серафиме
И при луне покоя нет.

Чу!.. От коттеджей бьет петарда,
Опять как будто немец бьет...
Наверно, хватит дров до марта,
А там и пенсия придет...

Привыкла бабка жить рисковно,
Муку всю давесь извела –
Пирог для внука городского
На Рождество в печи пекла...

Под елкой пулеметик ясный
Щитком пластмассовым блеснул –
И Серафиме безопасно,
И глаз один уже уснул...

И чудится: зима не эта,
Снега не холодом цветут...
и пахнет окончаньем света!
Да и начало где-то тут...

И на снегу слепом и сладком
Во фраках, пиджаках с резьбой,
Какой-то чуждою повадкой
Дрожат какие-то гурьбой.

И вот за твердью голубою
Над бабкою клубится бас:
«Враги твои – перед тобою,
И Березовский, и Чубайс –

Все те, кто грабил или мучил,
Твой род швырнул в один провал,
Кто даже дельивал покруче –
Сердцами внуков торговал...

Их покарал бы все едино,
Но, жено, ты мой суд укрась.
Как сарацинам Палестина,
Назначь же казнь».

Душа забилась, как пеленка
Под вольным ветром у ворот:
«Хоть я и штатская бабенка,
Пусть в руки автомат придет!

От первой очереди черной
Пусть захлебнется враг в крови,

Второй же – легкой, живодерной,
Им головы пооторви,
А третьей – как цепом над рожью –
Ты их последней лаской тронь,
Яви такую милость Божью,
И в вечный их воткни огонь

Как дров бессмертную охапку!..»
И Бог сказал: «Страшна же казнь
Тобою вымыслена, бабка.
Зарей геенна занялась!

И духом Божиим замирая,
Честь и тебе я воздаю.
И для тебя не будет рая,
А на вот – Родину твою».

* * *

Поэту нижегородцу Игорю Чурдалеву

Мне снился старый Чурдалев.
Он оказался прав. Не меют годы.
Жизнь оказалась долгой. Лучших слов
Мы не нашли под знаменем свободы.

С потухшей беломориной во рту,
С потухшим взором над Окой и Волгой,
Старик-поэт уходит в пустоту,
Что притворялась небом так недолго.

Поэтому спокоен Чурдалев,
Он знает – над великой далью синей
Мы не нашли каких-то главных слов,
А «просто шедевральные» бессильны.

* * *

Как великое слово тускнеет без меньшего,
Так луна в обессиленной сини –
Без звезд с утра.
Александр Данилович Меньшиков,
А как выглядела бы Россия,
Если бы ты не смешил Петра?

Интересно, когда ты забыл окончательно
Сиволапое детство, овчинный тулуп?
Разносолы твои с обветшалой зайчатиной
Не подавали к царскому столу.

В дикий век еще не были быдлом мещане,
Терпеливо жующим любые куски,

И пришлось угоститься лихими лещами
И бежать от возмездия, кинув лотки.

Но карета Лефорта не проехала мимо,
Ты вскочил на запятки, и ямщик поднажал.
Так спаслась отечественная пантомима
И разговорный жанр.

Кавалькада друзей и министров старательно
Хохотала вослед за царевым баском.
Александр приворовывал так обаятельно,
Что поймать его – значит, прослыть дураком.

К черту всякие «благоволите покорнейше»,
И еще не снимая колпак и трико,
Если видишь, задумался царь над реформишкой,
Важно тут же шепнуть: «Это очень легко!»

Разоренье Москвы, испарение Китежа,
И пожар, и парад, и мораль, и метель...
Петр нахмурится: «Сань, а мужик это выдержит?» –
«Очень даже легко, я ведь тоже оттель!»

И пошел сквозь приватные веси и села
Вихрь указов, морочащих прежний закон,
Гениальных, лукавых и просто веселых, –
«Это просто, мин херц! Это очень легко!»

Пусть не видно, что финские прячут чащобы,
Неизвестно, прибавят ли хлеба поля,
Только если не хочешь шуткарить до гроба,
Если хочешь иметь свой завод хрустала,
Титул, шхуну, клинок, салютующий берег,
В общем, если ты хочешь пойти далеко
(Но не в плане тех мест, где скитается Беринг),
То всегда повторяй: «Это очень легко».

Как великое слово немеет без меньшего,
Так ли оды восторг не усилить
Без порчи пера?
Александр Данилович Меньшиков,
А как выглядела бы Россия,
Если бы ты не смешил Петра?

* * *

Все и ярко и убого,
точно спичек коробок.
Мы давно забыли Бога.
Ну, скажи – какой он, Бог?

Все и весело и грустно.
Разомкни свои уста,

Обо всем скажи мне устно,
Я давно читать устал.

Нынче нам за ум не платят.
Чем на эту карусель,
я залезу на полати:
дураку и там Брюссель.

* * *

Я – мост, и здесь я обрываюсь.
И дальше ни опор, ни мыслей
Проектировщика. Повисли
слепые звезды над водой.
А может быть, они святы,
но в этом я не разбираюсь.
Они горят или остыли,
я старый или молодой?

Но если доски дотянулись
до этой золотой стремнины,
то непонятно где ходящим
всем плотникам я говорю:
река полощется как море,
и волны словно ваши спины,
и чудо веет на просторе,
и князь Гвидон летит к царю...

* * *

Кто вам сказал, что *там* не снятся сны?
Когда покров земного чувства снят, когда от боли
ни цели, ни причины не важны...
И мы по счастью, в страхе, поневоле,
в тех снах встречаемся – живые ль, мертвецы?
Нам не сказали. Вот несут цветы,
и жизни дар, и близости секунды...
И на часах небесных нет числа,
раз уж навеки нас любовь спасла...

Но входит явь, бетонно беспробудна.

Алексей НЕБЫКОВ

Родился в 1982 году на Сахалине. Окончил Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина и ВЛК Литинститута имени А.М. Горького. Главный редактор портала «Печорин.нет».

Автор книги малой прозы «Черный хлеб дорог. Русский хтонический рассказ» (издательство «Вече», 2024), публикаций в журналах «Роман-газета», «Москва», «Нева», «Аврора», «Дон», «Волга – XXI век», «Литературной газете», других печатных и сетевых изданиях. Лауреат литературной премии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» (2023).

Живет в Москве.

ПАННОЧКА

– Сергей Александрович, всё! В конец увязли! Сделайте одолжение, переждите вон в той церкви, где тихий свет мается! Дальше сегодня никак нельзя. А я приберу тут да за вами...

– Поступай как знаешь! – недовольно, но с некоторой искрой чаяния нового стечения, прокричал в ответ невысокий, коренастый парень и спрыгнул с коляски, направляясь к деревянной, совсем почерневшей церкви, сиротливо стоявшей на небольшом отдалении от дороги.

Кругом стояла ночь непроглядная. Дождь заливал весь минувший день, дорогу разъело, и не было никакого средства, чтобы справиться с распутицей. Надлежало ждать, пока кругом пообсохнет.

Сергей шел вдоль погоста, мимо покосившихся крестов прочь от дороги и удивлялся, отчего хоронение устроили на подходе, а не как принято, подальше от глаз, на заднем церковном дворе.

– Спаси и сохрани! – решительно проговорил, осеняя себя крестом, Сергей, забегая по высоким ступеням под своды обители, и звезды вдруг проглянули кое-где на небе, но в тот же час тучи вновь набежали на них, нагнетая бессветие.

Снаружи церковь всю окутал закостенелый мох, и, если бы в окнах не светился огонь, любой бы подумал, что в приходе давно уже не отправлялось никакое служение. Внутри было манко, натоплено и безлюдно. Свечи окрашивали почти каждый образ, и что-то вытянутое стояло на возвышении в центре, перед самым алтарем.

Сергей перекликнулся, оглядывая темные углы церкви, куда не доносился разлитый у образов свет, но голос его не звучал. Он хотел было разрешиться сильнее, но внезапный гулкий скрип остановил его. Обер-

нувшись на звук, он увидел у непонятого, таинственно расположенного посередине предмета вдруг появившуюся девушку.

– Зачем шумишь? Время покойное будоражишь, – тихо проговорила она и точно нерешительно, не переступая, а скорее проплывая над землей, стала приближаться к парню.

– Край ты мой заброшенный. Край ты мой, пустой! Милая, глухомань-то какая у вас тут. А я застоялся в дороге, не даются пути. Забежал сердца чуткого увидеть, а здесь – умирения тоска. А мне нужно, сильно нужно доехать до ладной своей Изадоры. Зацелую допьяна! Изомну, как цвет!.. – зазвучал нараспев Сергей.

– Ясно... Веселый ты, складный. А у меня как с прежним назначенным разладилось, так и не найду себе путника по жизни согласного, – почти зашептала, приближаясь к парню, девушка, и резвый, остывший ветер заносил вдруг ее слова по сводам церкви и по укрытым мраком углам.

– Небось, милая. Найдется он, – и Сергей с удовольствием приметил, какая исключительная к нему приближалась красавица с немного растрепанной косой, с длинными стрелами-ресницами, с кожей нежной, ослепляющей, как снег, с устами-рубинами, с чертами лица резкими, жгучими, опасными для любого молодого сердца.

Что-то страшно-пронзительное вдруг затрепетало на душе у Сергея, и он решился спросить:

– Говоришь, разладилось с прежним. А что так?

– Так сгинул он али сбежал... Почему я знаю. Дед Векий его сохранял, а он нелюдим и угрюм у меня. Может, и ты его увидишь, если не сладимся.

«Эге, да это ведьма, – догадка жуткая вмиг поразила Сергея. – Или чего плоше – покойница. Вон и гроб под сводами раззявленный стоит...»

– Ты вот что, послушай, милая. Мне же никак нельзя, любовь у меня, понимаешь. Глупое, милое счастье! Свежая розовость щек! Нежная девушка в белом! Нежную песню поет!

– Какая еще любовь? Вклепался просто, остынешь, – или околдовала. В неосвященном браке живете, пристрастием проникаетесь. Нет уж, не будет дороги тебе теперь обратной, – в тот же миг хлопнули ставни церковных окон, вихрем загасились свечные огни, писком нетопырей заполнилось подсводное пространство, и заблестели в темноте совсем рядом с Сергеем глаза незнакомки.

...Пробудившись в холодном поту, увидел Сергей Александрович привычную столичной квартиры обстановку, слышал шарканье знакомых ему по легкой поступи ног и прокричал:

– Знаешь, Дунька, думаю, нам гоже благословить наш союз, обвенчаться! Сегодня же! Что скажешь?..

ТИРОМАЛКА

Уходя, он обещал вернуться через пучину лет, чтобы вновь увести детей...

Надпись на доме гамельнского крысолова, 1284 г.

– Сымай, говорю, подеяло с покойника, – шипели из-под распахнутого окна Николеньке, а тот хоть и нашел в себе стойкость перевалиться через оконник в мертвецкую, теперь вдруг заиндевел в недвижимости в глухоте приуснувшего дома.

Дед Михей околел два дня назад, и сегодня в последний раз надлежало ему ночевать под родными сводами. Близкие его утомились от поминальных приготовлений и потому не слышали ни шарканья оконной щеколды, ни стука ставень, ни скрипа половиц под неокрепшими ногами. А Николенька был бы теперь только рад, погибая от нерешительности, если бы обнажилась засада хозяевами и замутка не имела бы разрешения.

Ночь стояла святочная, дети села Погостова по привычку собирались на посиделки, тогда-то и загорелись друзья-товарищи соображением жуткой постановки. Решили украсть саван покойника, окрутиться в него, набелиться известкою да явиться видом таким на побеседки. Долго спорили, не решались, ужасились, но затем сговорились: кому выпадет жребий – чур, не робеть.

Не робеть надлежало теперь Николеньке. Он стоял в полупустой, неокрашенной светом комнате, где на крепком столе в самом центре лежал дед Михей. Тело его было покрыто саваном, и казалось, что нет ничего легче – стянуть одеяло и задать бегуна. Но зубы Николеньки неостановимо стучали, и, если бы не засиленное прежде слово, никакая забава, никакая хвальба в итоге не сдержали бы его благоразумную робость.

Но некуда было теперь деваться – прихватил погребальную одежду Николька у самых окостенелых дедовых колен, зашуршал ею вверх, оголяя помутненное, совсем поусохшее тело, и сорвал наконец ткань и с головы упокойника. И открылось взгляду его ужасающее лицо старика. Казалось, рот Михея беззубо-раззявленный Николеньке скалится, глазницы прикрытые клокочут смоляными шайбами-впадинами, а уши лохматые шелыхаются в отсветах луны.

Опрокинулся навзничь Николенька, заелозил ногами к окну, вынырнул прочь в растворенный проем и припустил от дома, прижимая к груди саван.

Долго потом хохотали друзья-товарищи по дороге на встречу с деревенскими, вспоминая, как сильно сначала Николенька в мертвецкой куролежился, но затем достал все же крепости раздобыть саван.

Детвора тем временем уже собралась на колядки в заброшенной бане и обсказывала, пугая друг друга, кошмарные о неживых побасни... И вот посреди сказа о пробудившемся мертвяке, о явлении его для истребования душегуба себе на расправу за честь, за совесть, за жизни загубленные – послышались вдруг за окном на скрипучем снегу шаги. Дети вмиг поутихли: девочки жалась к парням, а те и сами рады были к теплу попритасть, крутили головы, не зная, что делать. Самый храбрый среди детей, Тимофей, решил было поглядеть в небольшие оконбойницы, как вдруг мелькнула под ними неспешная тень, распахнулась дверь предбанника, влетел с жутким визгом в баню черный кот, а за ним с морозным туманом просочилась внутрь фигура в жутко-белом саване.

Обмерла враз детвора, позабывала дыхание, а когда вдруг явившееся нечто воздело вперед и руки, – позакричала, позавскакивала, позапрыгала. Рванулась толпой сперва было к окнам бани, а затем и мимо покойника, превозмогая страхи и жуть оказаться застигнутым.

Больше всего в кутерьме досталось двенадцатилетней Малке. Невесомая, хрупкая, ладная, проявляя характер, она старалась сперва пробиться через толпу, прихватиться за кого-нибудь, кто многим сильнее, чтобы вынестись на его руках, но вместо того различила сперва тычок грубый, жесткий в ключицу, затем пинок от кого-то высокого мосластым коленом под самую лопатку, ну а следом развернула ее перепуганная детвора и припечатала лбом о занозивый крепкий дверной косяк. Покачнуло Малку, от удара попятило, и осела она, поутратив чувства от дурноты, духоты и жасти.

В полусне слышался Малке залиvistый смех, разговоры веселые, и, казалось, кто-то подтаскивает ее, подсаживает, умещает, но потом беседы шутейные прекратились, завязался спор, пробудивший и Малку к сознанию и мучительной головной боли.

– Ты сымал, ты и ворочай! – отбивались от приступившего с обидой Николеньки парни.

– Договор был и наше дружество! – причитал, выпрашивая, Николенька. – Как туда одному! До сих пор рожа его знобливая пронимает до трепета! До окошка только меня, ребя, чтобы на глазах был, на голосе, али что. А там я сам. Враз или отказ, а?..

Но никто за Николеньку не вступился, никто не пожелал под остывшей луной к незахороненному идти.

В этот миг и пробудилась окончательно Малка. Распознала забаву, разъярепела и, замыслив расправу гневную, обругала ребят, загрозила Николеньке за обиду, на лбу набитую и, громко хлопнув дверью, зачистила по снегу домой, бормоча и расточая про себя поношения.

Подбегая к отецкому дому на краю села, различила вдали потемнелого леса огни. Малка и прежде примечала их проявление, цеплялась взглядом не в первый раз. Но все как-то не до того было, не до отрыва от дел ежебудных. Не до огней было и в эту ночь – надуманное ею не терпело промедления, потому и промелькнула она в комнату, не расточая себя на другие вокруг дела.

– Сымаю крест и пояс. Отпускаю в космах узлы. Сахарного петушка за губу, – заговаривала Малка положенные ворожбе обряды, избавляя себя от охранений, расплетая волосы, запасаясь и меной на случай выкупа себя у духов, чтобы в незадавшемся случае было чем отбрасываться за свою жизнь.

Такого, правда, с Малкой прежде не случалось, чтобы крыса ее, Боянка, не сглодала предлагаемый кусок тироса, сыра по-нашему, но бабка-ведунья, выдыхая из себя последнюю жизнь, строго-настрого наказывала, передавая внучке свирепый дар, об откупе не забывать.

Заскрипели половицы пола, и явился на свет тусклой лампы в руках Малки целый подпол сыров – отличных размеров, узоров и степеней разложения. Куски тироса лежали поодаль друг от друга, и каждый пропорот был зуботычкой с закрепленной на конце запиской. Вписаны в записки были и папа, и мама, и сестрица Френечка, и ребята деревенские, и товарка из магазина, и много кто еще из сопредельных Погостову мест.

Созревали сыры втайне от близких Малки по старинным бабкиным рецептам и помогали справляться с теснителями, предугадывать выбор, чувствовать стержень жизни и ни за что не бояться.

Решила Малка теперь завязать негодяя Николеньку по-крупному, не с большого зла, а скорее по неосознанной какой-то одержимости. Забухтела что-то шипящее себе под нос, потирая шишку на лбу, застучала в стену безокую кулачками-костяшками, и послышалось в тишине под луной неспешное копошение да шарканье.

За кроватью, в неприметном углу хоронилась прикрытая рогожей аккуратная скважина. Ткань, застилающая выход из проеденной когда-то прежде глубины, завозилась, задвигалась и наконец откинулась, проявив в подземном мраке светящиеся в темноте красные суетливые глаза. Затем из затеми показалось крупное тело черной, тяжелой крысы, сотрясаемое беспокойным дыханием. Передние лапы, так похожие на ладони людей, примеряли крючковатыми, когтистыми пальцами на ощупь половицы на пути, а затем вдруг поднялись в воздух и сомкнулись в замок, замерев в ожидании угощения.

Крыса опиралась на толстый, густо покрытый волосками хвост, а вибриссы ее суетливо взбивали воздух, распознавая запах еды и предупреждая любую опасность.

Это была Боянка, доставшаяся Малке от бабки-ведуньи Хмары. Боянка не могла уже более исполнять спорые в движении рывки и прыжки высокие, но по-прежнему была такой же опасной, не столько способностью укусом причинять человеку неизлечимую болезнь, загнивающую заживо, прорастающую в жертве желваками и нарывами, сколько способностями своими хтоническими, расточаемыми по воле хозяйки Малки.

Так и теперь подцепила Малка кусок чеддера, высвободила зуботычину с именем Николеньки и пустила скакать тирос по полу до самой до выеденной скважины, где застыла крыса.

Заприметив большой, нераздельный кусок, не прежние небольшие отломы, Боянка замешкалась, застоялась, точно давая Малке миг прояснить нерешительность, перезадумать. Но Малка отважилась наверняка и лишь думала теперь об обидчике, потирая кулачком зудящую шишку. Тогда Боянка подцепила сыр своими хватками пальчиками, прихватила желтыми зубками и уволокла в туннель, где в закутке между крепким домом и подпирающей его амбарной стеной располагалось ее подземелье.

Поутихнув чувства свои и негодования, Малка не скоро, но провалилась в сон, а утром еще спросонок расслышала вдруг пробегающей сестры Френечки крик в окно:

– Николеньки нема, не ночлегал дома! Сбегай к забросу... – не слышала Малка до конца призывы сестры, вмиг пробудившись сознанием вины своего поступления.

* * *

– Говорил я вам, ребя, что Михей – колдун. Сунемся – завернет головы на затылок, будем следы счтать! А вы дразнились! А теперь Николька канул.

– Да не он это, а Банник, – подхватил разговор Тимофей. – Я еще когда в окно заглядывал, чувствовал, будто баня вся скрыпит. Не любит мохнатый забав пропокойных, не нравится то ему, против евойных правил. Николька поди, как саван отнес, вернулся за вами. А вы-то уж дома сопели. Вот и заволок Банник его за полог да заколупал... Когти-то у него... – и Тимофей растянул руки в стороны, сообщая деревенским меру когтей страшного славянского духа.

Но не покойники и не домовые случили ненастное с Николенькой. Близкий надумал, настрашал беду. Знала такое про себя Малка и сама не могла поверить, как отвратилась от добра, оказавшись враз злодейкою.

Забросом в деревне звали стоявший поодаль от дороги и основной гряды деревенских построек дом. Теперь он стоял полуразрушен, крышу его поносило временем, стены сточила непогода, пол, провалившись, врос в землю. Ночью сюда редкий отваживался забрести гость, а днем ребята часто собирались на сходки – взрослых нет, да и дорога мимо идет.

Всего год назад здесь еще в нелюдимости жила бабка Хмара – родная Малкина кровь. То ли звали ее так, то ли прозвание за скверный нрав надумали, Малка в том так и не разобралась, даже когда сама стала хранителем родового секрета...

Была Хмара и неприветлива, и неговорлива. С родителями Малки общалась редко, но внучек, как оказалось, любила, а Малку, младшую свою, так и совсем решила оберегать.

Деревенские дети прежде часто собирались на кладбище, любили ходить под луной среди устий жизни и страшать друг друга привычными замогильными историями. Часто они пугали друг друга старухой Хмарой. Так было и в тот первый знакомства Малки с Хмарой день.

Тимофей признавался, будто слышал, что Хмара способна заговаривать кровь, не только живую, но и стылую, подчиняя и нечисть себе на службу, знала про всех и про всё – что сбудется, что сотворилось и что задумано. Николенька сообщал, что однажды проходившие мимо деревни путники усмехнулись, повстречав Хмару, а она в ответ руки крестом на груди сложила и долго о чем-то своем бормотала на месте да все в землю сплевывала, недобро провожая их тяжелым взглядом. Нашли грибники путников этих в лесу через три дня, точнее, вещи повстречали поразбросанные, а людей – нет, так, говорят, и погинули.

И много еще у ребят историй неясных про Хмару было припасено, начали они уже и над Малкой насмешничать, мол, глаза у тебя в ночи как у ведьмы сияют, плещутся – поди, и заметливость впотьмах лучше, чем днем... Но тут вдруг разнесся эхом могильным неспешный шорох и ворчание шипящее. Затем пробудился какой-то хруст и скрежет, казалось, кость кто-то среди могил глодает-грызет. И вот большой серый

валун, у которого приостановились для бесед ребята, заершился, зашевелился и, возбужая ввысь, обернулся к детям старухой Хмарой.

Вся в земле, в паутине, в руках лопата, волосы, всклокоченные до самого пояса, желтые кошачьи глаза углями горят, побрякушки и бляхи железные, повешанные на платье, разнообразные – противно позвякивают. Как голосом своим, неотличимым от скрипа дверных петель, захрепетала Хмара, так детвора позавскакивала да позаразбежалась.

– Куда?! Кимарики! Заговорю сей час, кто хворым станется, кто тусклым загниет, кто бранной руганью больбу себе зазывает, силы защитные истончает!

И трепетали дети этих как раз наговоров Хмары больше, чем дел ее непонятных на кладбище – то ли копала, то ли прикапывала, – главное, слово сглазное в свой адрес не расслышать.

Метнулась было за ребятами и Малка, да, отступая назад, провалилась по колено в яму примогильную, от времени поосыпавшуюся, да застряла от ужаса, вырывая ногу против препятствия, хотя неспешно легко бы могла его обойти, не царапая кожу в кровь, не собирая раны и ссадины.

– Обожди, не рви, – недовольно проскрипела Хмара и склонилась на коленях к Малкиной ноге.

«Закусает до издоха, загрызет посереде упокоенных», – убеждала себя Малка, зажмурившись от ужаса, пока Хмара длинными своими, костлявыми руками вызволяла ногу из ямы.

– Заживится, затянется. Однако надо отварный намазать свет. Идем, мелкота. Не хошь? Заговорю!.. – и Малка, не имея решимости противиться, увлеклась бабкой своей родной в стены обходимого прежде стороной дома, ставшего затем на долгие дни самым милым в деревне приютом.

В тепле речей Хмары, в мягкости ее прикосновений, в вязанном особенно для внучки кардигане, в иван-чае, заваренном с сушеными ягодами, медом и яблоками, находила Малка больше приветливости и внимания, чем в быстротечных разговорах на ночь с безызбывно уставшими родителями и в пустяковом вредительстве Френечки, ревновавшей младшую сестру с самого детства.

В тот первый знакомства день обработала Хмара раны и ссадины Малки, снимала с одежды репей и, усадив внучку в мягкое кресло, пошла и себя приводить в порядок, явившись на глаза уютной и опрятной старушкой, снимавшей с себя побрякушки странные, расчесавшей в широкую косу волосы, набелившей и руки до чистоты...

Обстановка у Хмары в доме в общем была современной, хотя выделялась сложенной в самом углу дома по-старинному, без смазки, каменной. Печь в наши дни Хмара уже не использовала, но засмоленные стены хранили свидетельства прежних дней, когда топили ее по-черному, а солнечные лучи проникали в дом, сочетаясь с дымом, точно копченые. У печи стояла та самая кладбищенская лопата, с которой деревенские встретили Хмару под луной, а еще на полу стелилась небольшая изгрызенная со всех сторон рогожа.

– Чяго смиряешься? Не стойшь за сябя! – прервала размышления Малки проявившаяся из уборной комнаты Хмара. – У меня в твои годы могли враз охрометь, али чяго похуже... – и ведунья, хитро заблестела глазом, застучала посудую, зашуршала мешочками и тусками, и явились на тусклый лампадный свет сухофрукты, варенья разные и целая россыпь сахарных петушков, которых затем и сама научилась варить Малка.

– Не надо никого хрометь. Ребята годные у нас. Да, забавники. А и ты, бабушка, кажись престранная. Переплетни знашь как про тебя? А ты вона! Не жастная совсем. Зачто так дико себя ведешь, одеваешься, нелюдима?..

– Для острастки, для охранения... Не люблю людей... – и, увидев испуг на лице Малки, добавила Хмара: – Но той не про тябя. Ты моя кровь, мой сглаз. И мое к тебе буде всегда жалейское внимание. Лопай скорее, – и Хмара толкнула внучку в плечо, чтобы та приступала к угощениям.

– А с мамой моей почему поразладились?..

– Сама она... сама... Сперва, конечно, и я все не могла простить дочери заурядный выбор... Когда кругом силы стихийные, непознанные, дикая мощь, густота. Был ведь у матери твоей, Малка, ведуньин дар, да растеряла она его, утопив в делах семейных. Ну а потом и сама она стала меня обегать... Село, вишь, наше торговое же испокон было. Не просто так «Погостово», значит «Соборище торговое», прозывалось. Завсе тута торговали сыром, творогом и всяким подсобным. Это теперь позабывали ремесло, а давеча не только торговали, но и нагадывали: за кого замуж девка пойдет, в кого влюбится себе на счастье, а в кого – на погибель. Сыр, вишь, не просто так сворачивается, свертывается – по его узорам, дырам и плесени о жизни можно читать...

– Так то же и ничего несправедного в том, отчего мамка-то?..

– Вишь ли, люди кругом в основном середняки, а бабка твоя Хмара силой наделена. Урожай-то ведь не только на то, что произрастает в земле, случается, но и на наши людские особенности. У нее, у натуры, знашь какая мощь! Заталанить может. А тому, кто поперек устройства надумает чего, али разумом своим, али характером, замыслит нравничать, отделяться, порчи свои внутренние станет на свет вызволять, на оборот, натура враз от себя избавит. В зависимости мы все, в едином потоке... Так вот, мне-то больше других силы досталось. Могла и дурного человека различить, предупредить болезного, чтобы пооберегся, а душевной хворью томимого, чтобы не надумывал недоброе. Особо искусно вызревал у меня и сыр, да творог сладкий собирался до восхищения. Но не торговала энтим я в товарных рядах, а использовала для разговора с силами верными, разьясняя приходящим и судьбу, и всякое разное...

И рассказала тогда Малке Хмара, как являлись к ней люди, робко, тихо стучались в двери по ночам, как уходили с решением и надеждой, благодарили, кланялись, но за глаза стали бояться и привирать. Мол, заодно старуха с бесами, исполняет злые гадания, мелет в сыр и кости, общается с упокойниками... Напужалась было Малка тут, вспомнила недавнюю на кладбище встречу, лопату, притуленную недалеко у печи, но Хмара так ласково на нее посмотрела, что вмиг страхи отринулись. А бабка все продолжала, что, мол, так и мать раньше, когда недорослой была, – все принимала с увлечением, а как созрела, смужилась, – стала стороной...

– Давно все это было, теперь уж не прибегаю... Одна Боянка сзывает в памяти те времена. Иди познакомлю...

И застучала Хмара по стене костяшками, зашептала наговоры, точно змея, закутилась на пятках в разные стороны, и повылезла из-за печи на рогожку крыса Боянка.

Случилось Хмаре с рождения стать сил природных хранительницей, дававших ей и жизненной крепки, и способности заглядывать в неизведанное. Науке сподобили предки – потомственные ведуны, что в свой

час переняли искусство от старших сородичей, и так из колена в колено по девичьей линии – до тех пор, пока след и известия не затерялись в позабытой теперь летоистории.

Боянку же приютила Хмара в один из торговых дней, когда на крыс расположенного недалеко от деревни Погостово города объявили смертный лов. Случилась в городе нехорошая болезнь, грызунов посчитали заносчиками. И пошла на них охота – ловушки лютые, приманки и отравы отменные. Завезли и котов, и терьеров наученных в большом количестве. Пригласили и крысоловов умелых.

Был среди них один пооткрывший причину грызунов размножения. Мол, человек в беде повинен сам: все замусоривает кругом, не вычищает стоки, запруживает подвалы и амбары, содержит в гниении помойки и тюрьмы, закономерит и голод, и войны, и бедствия. Но не одумались горожане, не послушали его, лишь поизбили и прогнали прочь.

Случилось в те дни оказаться Хмаре в городе и, следуя по его тесным улицам через крысиной резни гул, завернула она на истошный писк в один из глухих проулков и увидела Боянку, бьющуюся от безысходности с тремя терьерами, выдравшую уже одной собаке глаз, израненную, но не уступающую схватке за последние жизни мгновения. Отбила Хмара у собак Боянку, укрыла в платье, унесла из города и с тех пор живет с крысой вдвоем.

И благословила натура союз этот, наделила Боянку силой жизни тягучей. Пережила она не одно свое поколение, а еще выучилась загаданное хозяйкой исполнять.

– Твари эти, Малка, – не только болезни и разрушение, они есть знаки природной выручки, свободы, мудрости. А Боянка моя так и во все особенная, крысы-то живут всего несколько лет, а она позабыла о времени, породнилась с тех дней с моей судьбой, а после и тебе будет охранительницей.

Так и простились Малка с Хмарой в тот знакомства день, и часто затем забегала внучка к бабке по всякому важно-неважному.

Поисбылись годы, стала Малка встречать одиннадцатую весну, распался круг високосный, безудачливый. И пошел вдруг посреди лета жаркого неостановимый дождь. Шесть дней заливал, а на седьмой утихнул. Не ходила в ненастные дни к Хмаре Малка, а здесь с первыми лучами и заторопилась.

А Хмара при смерти лежит, на остатнем дыхании, Малку дожидается. Целый день лишь чуть говорила с внучкой, будто силы копила, укажет на что-то пальцем кривым своим, мол, подай, принеси, переставь, припрячь, приоткрой, – и отвернется в молчании к стенке. А вечером на самом уже забегающем солнце присела на постель Хмара, шушукнула Малку и говорит:

– Ты, мелкота, слухай теперь внимательно. В дела взрослых не втягивайся, они души сгубленные, не выпутать их, не помочь. Токмо если кто из самых твоих поблизких. А так весь пользуй дар токмо для себя и жди, когда сердце твое натуре отзовется – путь распознает, дело разбередит. Никого не суди, но за обиду умей сквитаться. Иначе за тебя иной дело твое станет решать. Ведь так и положено устройением – кому страсти, тому и жести, – и Хмара приобняла ничего не понимающую внучку, принакрыла голову ее ладонями, забурлив шепотом вязким, неясным.

Свет в доме Хмары закачался, замигал вспышками, в странную глухоту погрузилась враз Малка, а затем зазвенел ветра свист, повышибал

посуду со столов в доме, посваливал горшки, побрякушки, закладки с подоконников, стукнулась дребезжа об пол приставленная к каменке лопата, и опрокинулась на подушки Хмара, а Малка застыла, не понимая случившегося преобразования, прошедшего через нее от самых соков земли до горнего неба.

– Бааа, что это было!.. Что соизошло!..

– Не жастись, мелкота, сила теперь в тебе немерена! Я сей час стану увядать, на глазах. Слухай, не пребивай! Книгу вишь, укрытую тканью на столе! Там все средства про наши родовые гадания, про сорта сыров, творогов, про рецепты на случаи всякие. Я многому тебя в эти годы обучила, сей раз только засилить тебе осталось. Стой за себя в любом сположении, не бойся, но сама першая не вреди – все возвращается, все мы в одном колесе.

В этот момент крыса Боянка забралась, перепуганная, на грудки хозяйки, суетливо стала вращать головой, содрогая себя дыханием.

– Боянку к себе прибири. Опусти на землю рядом с домом, она сама пристанище отыщет, прогрызет к тебе в комнату лаз, и будешь выстукивать ее костяшками, как я учила, в дни обрядные. Иди теперь, упокоеваться стану, – насовсем попрощалась уже Хмара. – Матери станешь про меня сказывать, передай, что я за все ее простила и жалела о нашей размолвке каждый день. Иди обойму тебя, и брысь из дома, мелкота моя ненаглядная...

Хмару схоронили на третий день, Боянка поселилась в запустелом амбаре позади Малкиного дома, а сама девочка с тех пор начала приколдовывать.

Обряд ее складывался так. В устроенном в подполе тайнике хранился укрытый Малкой со стола или купленный в магазине сыр разных сортов и размеров. Каждому куску, отличному один от другого, назначалось имя знакомого человека, и хранились сыры, вызревали в покое до наступления обиды или другого до Малки неуважения. Кто злословил ее, вредительствовал, вмиг получал расплату. Кругом думали, будто сама доля вступает за Малку, а потому нет-нет да и стали относиться к ней с опаскою и приютом. Ведь мало-помалу нашлись, как сопоставить простевия да случайности.

Пес, напугавший Малку однажды, на следующий день охромел, угондив, играясь, в яму. Дразнившие в голос заезжие из города мальчишки напоролись босыми ногами на битое на дне водоема стекло и поразьехали по домам перевязанные. Дед Михей, накричавший как-то раз на ребят, три дня извивался грыжею, а товарка Рина поскользнулась и вывихнула ногу, нагрубив как-то пришедшим за мороженым детям. Много чего еще случалось, но ничего прежде такого непоправимого. Но то и скармливала Малка Боянке всегда от заговоренных кусков по малому отщипу, а не целому, как случилось с Николенькой в этот раз...

Малка в ворожбе, от Хмары доставшейся, и раньше не сомневалась, да только теперь различила ее силу погибельную.

– Како мне дело, зазнобят меня куры али нет, если же я их люблю есть, – говорила Хмара о силе своей и способностях, чтобы внучка не сомневалась и справляла дело без нерешительности.

В угрызеньях и холоде проходила Малка дотемна по окраинам деревни, вспоминала все с ужасом наказы бабки, что если целиком заглотит Боянка кусок замороженный, то ходу обратного уж не будет и свороченного не вернешь. Да все же решилась пролистать сызнова затворную книгу, вдруг сыщется что-то, чего не различила, недовыглядела...

Вернулась Малка домой, проводив закат, встретили ее растревоженные дома родители, стали расспрашивать про Френечку, где сама была, почему долго так сей час гуляла. Думала Малка сознаться в наговоре и в своей беде, посоветоваться, позаручаться. А случилось, что Френечки дома не было до сих пор, как ушла с утра на заброшку, так и не возвратилась. Не до Малки стало перепуганным родителям, собирались на поиски, по деревенским в розыск.

Закутилась Малка в комнату свою, стала поднимать половицы. Николькин сыр был изъеден целиком вчера, лишь позеленевшая валялась в подполе зуботычина теперь с его именем. А до Николеньки стравливала Малка Боянке Френечкин кусок, небольшой, – за обиду, за добро сестре преднаказанное. Нагадала Малка Френечке не встречаться с женихом из соседней деревни, проявила, что неверный он, позабывчивый, акромья того, и сутулый. А Френечка, счастья не зная, заругала Малку, запозорила... Тогда и стравила кусочек тироса Малка Боянке... Но думала, попривычно, не страшное ничего случится – поотравится, простынет, и все. А тут, гляди, и с малого куска в незнание. А кровь своего, право, не шутка. Думай, не думай, а выручай.

Стала ручками своими Малка елозить в подполе и высвободила на свет книгу дремучую, сыпучую, заметами на всех страницах исписанную. Всю ночь читала-выгадывала и распознала, что, коли насытитесь совесть, нажалитесь, дабы обернуть все вспять можно опробовать средство одно: достать сыру того же сорта и размера, истопить целиком на огне до прижарок, до гари, наговорить покаянные слова, дабы с дымом ушло вредительство. А коли и то не поможет, единое станется средство – расплатиться жизнью животины, в ворожбу замешанной... силы уж тогда изойдут насовсем и несвет рассеется.

Испугалась Малка такого разрешения. Нет, не можно, не должно задушегубить Боянку милую, безропотно, беззаветно отдавшуюся служению...

И уверилась девочка с утра разрешить все малыми средствами и позабылась на пару часов до истечения оставшегося предрассветного времени.

* * *

Утром Малка споро влетела в магазин.

– Рина, Рина! Скажите, где у вас тот красный чеддер? Завозили две недели назад...

Но нужного сыра в магазине не оказалось, не было и иных не занятых в ворожбе Малкой сортов, и что оставалось теперь делать, девочка не представляла.

Захлебываясь от досады и неприключения, вышла от товарки Малка и села тут же на окаймляющий магазин, оледеневший бордюор, расклеилась как-то враз, заплакала. Ветер хлестал ее волосы, засыпал лицо колкими, мелкими снежинками, оголенные ладошки, спасающие ясного солнца лучи, вдруг накрыла какая-то тень, загородив от тепла и света.

Перед Малкой стоял долговязый, крепкий, приветливо смотрящий на нее человек в пестрой, создающей ясное настроение одежде. Он был похож на охотника, только странного охотника, будто ненастоящего, а принаряженного. На ногах его были темно-серые высокие уги, в которых прятались хмуро-синие гетры, надетые поверх бежевых шта-

нов, украшенных расписным узорным поясом. Скандинавского фасона куртка в разноцветных причудливых узорах, длинная, до колен, была расстегнута, под ней скрывался буро-зеленый шерстяной жилет на застегках, а на шее был повязан коричневый шарф. На голове его была бордовая, гусеницей, шапка, похожая на рыболовный силкок. Незнакомец дружелюбно улыбался и через мгновение предложил:

– Я слышал, ты ищешь особый янтарный чеддер? Не плачь, у меня как раз есть целый для тебя кусок, – и он протянул, вытащив из-за пазухи, тот самый, нужный Малке, кусок сыра – похожего цвета, должной упругости.

И только Малка коснулась куска, что-то вдруг в голове ее зазвучало, засвиристело, заплакало. Казалось, неразличимо где, но в то же время и повсюду, льются звуки уличной флейты, звуки неясные, но такие завораживающие, зазывающие. И Малка сама не заметила, как вдруг приподнялась и оставила пределы магазина, дошла до границ деревни и отправилась в чащу леса вместе с пестрым незнакомцем, не имея сил противиться, не желая возражать.

Они шли мимо дороги, мимо знакомого поля, вошли в лес, уходя от деревни все глубже и глубже, а деревья, привычно мрачные и нелюдимые, встречали в этот раз Малку приветливо, расступались, расслаивались, давая ножкам ее спокойно идти, убирая всякий неприятный взгляду сор и препятствия. Незнакомец, чужой человек в пестрой одежде, глазами счастился, подмигивал Малке, будто рассказывал занимательную историю. А Малка все шла и не думала, что огни, светящиеся впереди, виделись ей в чаще и прежде...

Когда Малка пробудилась от морока, она обнаружила себя на краю широкой ямы. Перед ней было не стихийно обвалившееся заглобление, а подготовленный умелыми руками глубокий погреб, задуманный для долгого обращения. Погреб имел крепкую глухую, укрытую мхом крышку с отверстиями для воздуха, утепленные стены и пол, подушки и одеяла, светильники, чадающие маслом, а еще игрушки, разбросанные внутри. Прятал погреб и детей, напоенных внутренней какой-то безмятежностью, среди них различила Малка Николеньку и сестру свою Френечку.

– Полежай в землю, душа моя, широкою, просторною, всяк принимающую, – предложил Малке незнакомец спуститься по небольшим ступеням, а дети, глядящие как мальки в неводе, головками послушно в такт голосу пестрого незнакомца закивали. – Легко впустит тебя к себе земля, покроет собой, точно уютной шерстью, не бойся, не задумывай, – тихо продолжал незнакомец, глаза его вмиг стали красны, как угли, и в воздухе вновь зазвучали знакомые переливы.

В этот момент сильно-сильно Малка зажмурилась, сознавая приступы охватывавшего ее непротивления, представила себя дома, в комнате, – вот они, заветные половицы, а здесь тяжелая кровать, там позади нее пробирается по лазу Боянка, пробирается в любой час и в любой день, и, примостившись на колени, стала Малка стучать по доскам лестницы, нашептывая под нос привычные заклинания, призывая подругу к себе на помощь.

– Как? Противится? Когда музыкант собрал поотсталых, не дабы плодить зло, а во имя пагубы в душах взрослых искоренения, – с интересом произнес пестрый незнакомец и, развернув к себе Малку, только невесомо коснулся ее живота раскрытой ладонью, но от этого легкого прикосновения скрутило с такой жуткой силой живот девочке,

что ноги ее подкосились, и рухнула она в яму, испытывая несносимую боль.

Последнее, что видела до потери сознания Малка, – замельтешившую над ямой тень, а еще будто силуэт отца, напомнившего вновь о доме своим движением.

* * *

Малка очнулась на следующий день. Оглядела знакомые стены, набинималась с сестрой, нажалелась с матерью, приворошила Боянку...

Зло поотстало. Хотя не случись этой негаданной папиной приметливости, преследования незнакомца в лесу, уведшего Малку, сшибки на краю ямы, порезанного до глубины живота, из-за чего папа теперь в больнице, а еще внезапно пробудившихся от морока детских криков, – не сбежал бы тогда, пожалуй, пестрый незнакомец и не знамо где бы теснились теперь деревенские дети.

Нагулявшись в тот самый пробуждения день, Малка сидела дома в закатном угасающего дня солнце и все шептала Боянке, нашептывала:

– Ты прости меня, милая, я же и впрямь было уже задумала тебя извести... от безысхода, отчаяния. А ты всегда была заступницей, моей жалейкой. И в лесу меня услышала, и отца навела. Ведь тоже ты?.. Не скажешь, а я-то ведаю... Но осталось у нас с тобою дело незарешенное. Составим его и оборвем со стихией связь, пушай натура сама разрешает... – и достала Малка предмет с кулачок, укутанный в бумагу, развернула сыра кусок, нашептала в него, наговорила и целиком Боянке бросила. – Никаких теперя поотсталых, никаких боле утерянных...

Александра МАКАРОВА

Родилась в 1988 году в Киеве. Окончила Нижегородский госуниверситет им. Лобачевского. Работала корреспондентом и редактором на телевидении, учителем русского языка и литературы в школе, служила в пресс-службе ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

Выпускница мастерской Захара Прилепина (2022). Автор романов «Мой личный драмтеатр» (2019), «Нас рано хоронить» (2021), публикаций в журнале «Нижний Новгород», сборниках и альманахах. Награждена медалью имени Льва Толстого «За воспитание, просвещение и наставничество».

Живет в Москве.

ГОРЬКОВСКИЕ СНЕГИРИ

Она огляделась. Люди в вагоне метро расселись четко по схеме. Как шашки на игровой доске. Между фигурами – кожаные пробелы, заклеенные красными крестами из скотча. Социальная дистанция. Телефонные трели. Пустые разговоры на нищенском языке. Дефицит словарного запаса. Справа – горделивая улыбочка, слева – страдальческая складка на лбу. Руки на поручнях заслуживают отдельного внимания. Чем моложе девушка, тем яростнее ее маникюр. Длина ногтей прямо пропорциональна узости взгляда из-под широких, тщательно причесанных бровей. Мужские крепкие пальцы обхватывают холодные перила с показной уверенностью. Так принято. Как и широко расставленные коленки в сидячем положении. Демонстрация тестостерона.

– Станция «Московская». Переход к поездам Сормово-Мещерской линии, выход к железнодорожному вокзалу, – донеслась из динамиков привычная всем фраза.

Аня вздрогнула, моргнула, прогнав оцепенение, подтянула почти до самого носа воротник водолазки, поежившись от холода. Через открытые рты поезда вливался в вагон свежий поток пассажиров. Среди них пожилая женщина с маленькой девочкой, похожей на медвежонка в своей коричневой искусственной шубе. Работая локтями, студенты резво позанимали оставшиеся места, игнорируя предписания Роспотребнадзора и старого доброго этикета. На эту парочку никто и внимания как будто не обратил. Морщинистая кисть робко зацепилась за железную опору. Взгляд виноватый, потерянный. Брошенная российская старость, неудобная, как сапоги не по размеру, с неловкими ужимками, болезненными гримасами, струящейся из глаз обреченностью. В левой руке – детская ладошка, молочная, душистая, распространяющая вокруг себя нежный свет, доступный не каждому взору.

Девушка встала, уступив место, остальные пассажиры смотрели теперь уже снизу вверх с плохо скрываемым раздражением.

Белесые ресницы девочки, уютно устроившейся у бабушки на коленях, то и дело вздрагивали, когда она украдкой смотрела на женщину, стоявшую перед ней. Вдруг малышка, протянув руку, одернула ее за рукав куртки, привлекая внимание.

– Тетя, хочешь конфету? – улыбнулась, играя ямочками на щеках.

– Хочу, – неожиданно для самой себя ответила Аня, взяв протянутую «Белочку». – Спасибо, я такие очень любила, когда была маленькая. Как тебя зовут?

– Катюша, – взгляд с хитринкой, шапка набекрень.

– Извините, – старушка смутилась и тут же начала шептать внучке наставления, завязывая потуже шарф.

– За доброту не извиняются. У вас прекрасная девочка, – вздохнула Аня и стала продвигаться к раздвижным дверям, в очередной раз сожалея, что так и не вышла замуж, не родила ребенка.

– Станция «Горьковская». Поезд дальше не идет. Уважаемые пассажиры, при выходе из вагона, не забывайте свои вещи.

Большая часть людей ринулась к эскалаторам, расталкивая друг друга, многолетняя привычка, выработанная до автоматизма. Какой-то мужчина задел плечом, зло оглянулся и пошел дальше, бормоча под нос проклятья.

– Ну что вы, не стоит так себя корить, – иронично бросила вдогонку девушка.

Морозная пыль, брызнувшая в лицо на выходе из подземки, вернула в реальность. Толпа двинулась через дорогу, набирая скорость. Седой памятник писателю, покрытый инеем, укоризненно смотрел на прохожих. Нахмуренные брови Алексея Максимовича будто призывали к ответу. За все, чего ты не сделал, не смог, побоялся. Как строгий отец, отчитывающий за малодушие. Немое утро наступало на город, обнимая площадь меланхолией.

У Главпочтамта сидела на деревянном ящике измученная женщина, кутаясь в изрядно поношенную шаль. Перед ней на импровизированном прилавке лежали пуховые варежки и носки с удивительно изящными рисунками. Люди безразлично пробежали мимо, даже не взглянув. Аня остановилась. В верхнем ряду пестрели ярко-красными шариками снежирами симпатичные детские рукавицы.

– Здравствуйте, сколько стоят?

– Триста рублей, милая, очень теплые, натуральный пух, сама вязала! – продавец оживилась, лихорадочно смахивая снежинки с товара. – Птички эти счастье приносят в дом, божьи твари, знаешь, откуда у них такой окрас?

– Никогда об этом не задумывалась, расскажите, – стало и вправду интересно.

– Есть легенда, что, когда Христа распяли, маленькое пернатое создание попыталось своим клювиком гвозди из его ладоней вытащить, избавиться от страдания, ничего не вышло, но капелька крови Спасителя, попавшая на грудку, сделала перья алыми, с тех пор снежиры – это символ великодушия, стойкости, жизненной силы и взаимовыручки. Поговаривают, что даже кошки их не едят.

– Верю, – улыбнулась девушка, протягивая тысячную купюру. – Я возьму, и еще носочки, вот эти, с зайцами, сдачи не надо.

– Дай бог здоровья тебе, моя хорошая, и деткам твоим, пусть носят с удовольствием!

– Спасибо, – Аня положила покупки в сумку и пошла на работу, решив не огорчать женщину подробностями своего одиночества, тем более та усердно крестила ее вслед.

До обеда все шло своим чередом. Редкие посетители уныло бродили среди стеллажей, лениво перелистывая книжные новинки.

В полдень Аня отправилась на перерыв. Купив кофе в бумажном стаканчике и пирожок с вишней, пошла на ежедневное свидание с Горьким. Миновав пешеходный переход, приглядела ближайшую лавочку и уже хотела сесть, подстелив пакет на хрустящий снег, покрывший деревянные дощечки, но неожиданно заметила напротив знакомую коричневую шубку.

Девочка сидела рядом с бабушкой, которая, казалось, крепко спала, завалившись на бок. Аня решила подойти.

– Тетя! – слезы брызнули из прозрачных серых глаз, поплыли по багровым щекам, заканчивая свой путь в складках вязаного шарфа, покрытого катышками.

– Что случилось? Ты замерзла? Давай разбудим твою бабушку, – Аня выбросила кофе, посадила девочку к себе на колени и крепко обняла. – Женщина, извините, – аккуратно потрепала старушку по плечу.

Вместо ответа тишина.

Крепкий запах беды ударил в ноздри, сковывая губы железными скобами.

– Присядь пока здесь, – с трудом проговорила, переместила девочку на лавочку и, отодвинув цветастый шерстяной платок, попыталась нащупать пульс на морщинистой шее спящей. Его не было.

Оглянулась. Мужчина быстрым шагом шел к остановке, разговаривая по телефону, Аня было бросилась к нему, но он лишь отмахнулся. Студенты целовались у ног памятника, не обращая ни на кого внимания. На их помощь рассчитывать не стоило.

Аня лихорадочно попыталась вспомнить, как звонить в скорую с мобильного, и набрала 112.

– Я сейчас вернусь, обещаю, – отошла на несколько метров, чтобы девочка не слышала разговора и назвала диспетчеру адрес. – Женщина около семидесяти лет без сознания, пульса нет. Не знаю, я просто мимо проходила. Поняла, жду.

Вернулась, снова обняла ребенка, растирая дрожащие маленькие кисти.

– Ты совсем замерзла, – достала из сумки купленные с утра варежки и надела ей на ручки. – Где твои родители, Катюша?

Девочка показала пальчиком вверх:

– На облачках катаются.

Глаза наполнились слезами, готовыми мгновенно выплеснуться наружу, как вода из опрокинутой вазы.

– Если бабушка тоже на облачка к ним уедет, пойдешь ко мне жить?

– А может, она меня с собой возьмет? Я к маме хочу, – покрасневшие от рыданий брови упрямо изогнулись.

– Это только Боженька решает, кого забирать к себе, не мы.

– Бабушка тоже так говорила. – Вздохнула по-взрослому, опустив взгляд в землю. – А ты мою «Белочку» уже съела?

Аня улыбнулась, доставая из кармана подаренную в метро конфету:

– Давай напололам?

У обочины в это время затормозила машина скорой помощи, из нее выскочили медики, девушка помахала им рукой. Рядом парковались полицейские. Сирены автомобилей мигали синими и красными вспышками в сером воздухе, а на варежках, как живые, алели снегири.

Василий КИЛЯКОВ

Родился в 1960 году в Кирове. После окончания Московского политехникума работал мастером на заводе, служил в армии. Окончил Литературный институт им А. М. Горького.

Публиковался в журналах «Наш современник», «Октябрь», «Нижний Новгород», «Литературная учеба», «Новый мир», «Огни Кузбасса», «Подъём», «Юность», в газете «Литературная Россия» и других изданиях. Лауреат всероссийских литературных премий «Традиция» (1996), им Б. Н. Полевого (1996), премии «Умное сердце» (2010), премии «Дойче Велле» (Берлин, 1992) и других. Обладатель «Бронзового Витязя» (2019).

Лауреат Открытого конкурса изданий «Просвещение через книгу» Издательского совета РПЦ (2019). Лауреат Всероссийского поэтического конкурса имени С. Есенина Союза писателей России (2022).

Член Союза писателей России. Живет в городе Электросталь Московской области.

ЗНАК

Кузьма Лукич заходил в дом и, не замечая меня, семилетнего мальчика, здоровался с бабкой и дедом. Ставил в угол суковатый батожок и устремлялся в горницу...

Высокий, сутулый. Он зарос густой и широкой рыже-русой бородой. Круглые, со слезой, глаза, стриженная овечьими ножницами голова имела форму улья. Я не спуская глаз смотрел на Кузьму Комкова, на его нечесаную, с проседью, бороду, широкое лицо, горбатый нос и глубоко посаженные острые глаза. Пронзительная улыбка.

Садился он на лавку широко, основательно, как будто навсегда. Уставившись на деда своими колючими прозрачно-коричневыми глазами, как у филина, Лукич улыбался, спрашивал деда о колхозных делах, но разговор не налаживался. И тогда Кузьма вынимал из бокового кармана допотопную склянку с самогоном, замысловатую и граненую, ставил на стол. Дед мой оживлялся, приносил стаканы, и бабка начинала заводиться – ворчать так, чтобы слышал Кузьма.

– И чего ходит? – ныла бабка. – От делов отводит... Вот и ходит, и ходит...

– Мать, а мать, – по возможности ласково и сердечно просил мой дед бабку – он называл ее «мать», – дай-ка нам чего-нибудь зажевать, занюхать чего-нибудь...

– Вот как сойдутся пара – лапоть да сапог, не разлей вода... И все «дай» им! А чего я вам дам? Так вот пили бы и пили, да вот болтовня и курятина...

Бабка лукавила. «Болтовня и курятина» бывала не часто, только на праздники: престольные или советские, и тогда бабка, покончив со все-

ми делами, сама уходила к соседке, не могла она терпеть подвыпившего деда, не в меру разговорчивого и храброго. Но и в простые зимние вечера временами горницу наполнял табачный дым, зависал под потолком облаком, на полу валялись оплеванные окурки, взрывы хохота приводили бабку в трепет, терпение ее раскалывалось, истощалось.

– Мужики, – растворяя дверь из кухни в горницу, совестила бабка, – мужики, ай не стыдно в чужих людях сидеть до глубокой ночи? Дайте хоть поужинать спокойно. Поди-ка, и в уборную захотели?

И тут же накидывалась на главного виновника сборищ, на деда:

– А с тобой, доходяга, я после поговорю! Я тебя сковородником приласкаю!

И когда страсти накалялись, ссора набирала силу драки, мужики нехотя уходили...

Но самым главным и желанным слушателем был дед Кузьма. Тут открывались самые сокровенные дела и думы. Даже и в брежневские времена, когда, по слухам, снова начали хватать за болтовню, открывались подкладки совсем не героической стороны прошлой войны. Один из таких дней особенно запомнился мне.

– ...Слыхал, что наговорили тут эти вояки? – спрашивал дед Терентий никогда не воевавшего Кузьму, случаем ли, хитростью увернувшегося от призыва. – Слыхал? – спрашивал дед после очередного сборища. – Прямо жуть берет, герои. Когда войны и в помине нет. Языков они брали, штабы громили, кровь мешками проливали! А им было-то тогда кому двадцать, а кому и поменьше. Моему старшему и средненькому ровесники. Как же, и я понимаю, худо им было. У самого двое сыновей погибли, два брата и племяш. Да эти-то все на фронт попали когда?

– Когда? – переспрашивал Кузьма без интереса.

– Когда уже поперли немцев: сорок третий, сорок четвертый, вот когда. А вот когда от них драпали, худо им было, необстрелянным-то.

...Все это, и приход Кузьмы Лукича в тот день в наш деревенский дом, и двух стариков-инвалидов: один – с культей, другой – без ноги, не любивший искусственных «непослушных» протезов, а носивший самодельный, как в дупло втыкавший туда культю левой ноги, – живо вспомнилось мне теперь, когда я прочитал в газете «Неделя» статью. Как по сердцу ударила: «Порядок клеймения». В 1942 году, 20 июля, вышел приказ Верховного командования сухопутных сил. Берлин – Шенеберг: «Советские военнопленные должны быть клеймены особым устойчивым знаком. Знак состоит из снизу открытого острого угла, около 45 градусов и 1 см длины, на левой половине ягодицы, на расстоянии пяти пальцев от заднего прохода. Знаки делать ланцетами, какие находятся в каждой воинской части. В качестве краски употреблять китайскую тушь...»

Это был праздник, верно, День Победы, и бабка не ворчала на то, что все четверо – и Кузьма, и дед, и двое инвалидов – все были под хмельком. Она все что-то подавала на стол, то и дело меняла щи, картошку, жесткую желтую солонину с аппетитным мясцом и лубяной шкуркой резала ломтиками, а я делал вид, что учу уроки.

Сергей СМИРНОВ

Родился в 1958 году в Москве. Окончил Московский железнодорожный техникум. Сценарист документального кино.

Публиковался в журналах «Кольцо А», «Нева», «Юность», «Север», «Крещатик», «Формаслов», «Причал», «Метро», «Дальний Восток», «Дрон», сборниках «Земляки», «День и ночь», «Урал», «Москва». Трижды лауреат литературного конкурса маринистики имени Константина Бадигина.

Живет в Москве.

Из цикла «ХОРОШИЕ ПРОФЕССИИ»

Последняя точка

До чего же здорово в лесу нестись на велосипеде по узким, запорошенным хвоей тропинкам! Вокруг тишина, ни единого современного техногенного звука. Словно вернулся в то время, когда писали письма и открытки... Теплый майский день. Серые дождевые тучи ушли далеко на восток, и солнце прочно укрепилось на самой вершине небесного купола. И кажется, ничего плохого больше не будет. В таком месте и в такую погоду яснее представляешь чистую безлюдную планету без железобетонных башен, аэродромов, ракетных шахт с крылатыми снарядами... Кажется, что природа с помощью землетрясений и наводнений вот-вот стряхнет и смоеет с себя все лишнее. Все рубцы и швы на ее теле затянутся. И через миллионы лет начнется все заново...

Но вот лес кончился, и я спешился, потому что дальше железнодорожный переезд со знаком «Без шлагбаума», на котором нарисован несущийся паровоз с черным дымом. Я даже представил, как он выныривает из-за поворота и хрипло басит... Эта узкоколейка проложена еще в Первую мировую, когда от военного завода на окованных железом деревянных колесах со спицами подвозили к основным путям зачехленные орудия.

Теперь здесь ходит тепловоз с грузовой платформой. Все к той же станции подвозит масляные трансформаторы. Впереди за путями стоянка районной больницы. Три «пазика» с черными полосами, как змеями обвивающими автобусы по бортам. За высоким решетчатым забором тянутся лечебные корпуса. Лицо любого стационара – приемное отделение. А за последним корпусом между деревьями прячутся морт и анатомичка. Как правило, всегда и везде это самые крайние здания. Они будто стесняются своей принадлежности к медицине, стараются не попадаться на глаза, не напоминать о неизбежном. Когда-то служил в госпитале имени Бурденко и тоже имел отношение к патолого-анато-

мическому отделению. Но после армии предпочел стереть все из памяти. Затухевались трудные бессонные дежурства, когда встречали груз 200 из Афгана. Давно не вскидываю правую руку к козырьку фуражки, приветствуя старшего по званию...

Быстро проезжаю мимо главных ворот с проходной. Недалеко от больницы полупустой парк. Там ларьки с мороженым, широкие ливенницы, а под ними скамейки. Под такими деревьями и на таких скамейках хорошо читаются книги. Я взял с собой «Записки юного врача». Тяжело пришлось главному герою – молодому специалисту, который не боялся брать на себя ответственность за жизнь пациента. У него не было другого выхода. Земские доктора, такие как Чехов и Булгаков, обязаны были лечить и знать все. Последний, кажется, возил с собой целую телегу медицинских книг, перебираясь на новое место работы. У наших классиков ответы на все вопросы. Все давно прожито и пережито. Но мы не заглядываем туда и продолжаем задавать все те же вопросы, ищем новые ответы...

Дождь застал меня врасплох. Зачитавшись, я не сразу его заметил. Он тихонько подкрался через пушистые иголки раскидистой ливенницы, а потом как хлынул, будто кран наверху открыли до отказа! А по метеосводкам обещали ясную погоду...

Дождь не унимался, но иногда чуть затихал. В минуты очередного затишья я, напрочь отсыревший, с велосипедом выбрался из укрытия и, со всей силой нажимая на педали, с брызгами пересекая огромные лужи, быстро домчался до распахнутой больничной калитки. Под широким козырьком синими рельефными буквами на фронте значилась вывеска «Морг», а ниже на серой стене – «Патолого-анатомическое отделение»...

– Вот это да! Ну и шурует! – восхищался ливнем человек в белом халате и прозрачном полиэтиленовом переднике.

Я спросил у него разрешения переждать непогоду под козырьком. Он кивнул. Так мы и стояли молча на крыльце, наблюдая, как бурлят и закручиваются в воронки потоки воды. Я – без особого удовольствия, он – с превеликим.

Но потом ему, видимо, тоже надоело.

– Ладно, чего толку стоять, – человек фартуке распахнул передо мной дверь в длинный темный коридор. Сразу в нос ударил давно забытый запах. – Если жмуrows не боитесь, пошли переждем в отделение.

А чего мне их бояться? Велик с его разрешения притулил в коридоре к стенке, отодвинув пустую каталку. Мы познакомились. Человек в фартуке представился Артемом. Я тоже назвал свое имя. Заодно признался, что в армии тоже трудился в таком месте. Артем тут же расположился ко мне:

– А я до этого здесь же работал. Только чистой хирургией занимался. Главврач предложил перейти. Анатома нет, кадровый дефицит, народ не особо идет. А мне нравится, не жалею. Спокойно, нет прямого контакта.

И предложил чаю попить. Их санитар из дому варенье принес. «Комната приема пищи для персонала» (как будто здесь может быть другая) большая и даже уютная. Старый диван, квадратный стол и несколько стульев в центре. В правом углу тихо урчит холодильник. На окне чуть колышутся голубые шторы с веселыми цветочками. На стенах портреты известных анатомов. Например, Владимир Иванович Даль в военной форме девятнадцатого века... Закипел чайник, Артем сполоснул

пузатые чашки, достал хлеб, масло, колбасу, шпроты и соорудил на скорую бутерброды.

– У нас выдача должна была быть, а тут такое... Теперь и не знаю, когда автобус приедет. Как всегда, аврал, с такой смертностью работы много, сам знаешь, – жаловался он, – не надо было санитаров отпустить. Одному – огород копать. Другому – дочку на балет вести... Заведующий в отпуск ушел... Руководство нажимает. Требует максимальной открытости и объективности. Чуть ли не в каждый протокол нос сует. И в то же время по голове может настучать, если больничные показатели падают и аутопсия не совпадает с прижизненным диагнозом палатных врачей. Зарплату же все вместе получаем. Можно и премии лишиться. Вот и приходится подгонять... Ладно, пойду поработаю, что ли, – закончил с перекусом Артем, – а ты, если хочешь, телевизор посмотри.

– А можно с вами? Молодость вспомню, – неожиданно для себя напросился. Скучно здесь сидеть одному, пусть и с телевизором. А дождь за окном и не думал проходить.

Он, как ни странно, согласился. Мне выдали чистый халат с таким же фартуком из толстого, шуршащего при каждом движении полиэтилена, и не спеша направились в секционную комнату. Здесь хорошее оборудование: секционные столы, малые секционные столики, шкафы из нержавеющей стали, емкости для хранения органов и препаратов. Возле стены на сверкающем длинном столе аккуратно разложены анатомические инструменты.

– Это шеф расстарался, – хвастал Артем, – давно еще в зарубежной командировке целый чемодан ему подарили от фирмы-производителя в рекламных целях. Ты на пилу глянь, – взял в руки предмет, похожий на машинку для стрижки, только на конце вместо насадки под длину волоса была круглая фреза с мелким зубом, – пневматическая! Скорость вращения бешеная! Работает без шума, почти не дымит, когда нагревает кость.

– Да, это не дуговая или цепная, чем раньше пилили череп, – поддержал его восторг.

– А ты попробуй, – предложил для убедительности Артем и подошел к среднему столу, где лежал труп мужчины.

Наверно, решил проверить: правду ли я говорил про свою службу в военном госпитале. Я взял средний секционный нож, подержал немного, чтобы привыкнуть к рукоятке, потом освободил от волос затылочную часть головы, сделал лезвием надрез по дуге «от уха до уха», отсепарировал кожу, то есть завернул на лицо трупа, надрезал хорошо открывшиеся височные мышцы...

Артем одобрил мои действия:

– А теперь смотри, как работает современная техника, – и своей тихо гудящей «машинкой для стрижки», погрузив пластину в кость черепа, легко и ровно провел по верхней теменной дуге слева направо и после – по нижней, ближе к затылку. – Готово! Отделяй крючком.

Я проник в теменную область через образовавшуюся щель от распила и, чуть качнув на себя молоток-крючок, отделил от черепной коробки фрагмент кости. Он с глухим стуком упал на сталь стола. Я вдруг все вспомнил, и мне стало проще. Лапчатым пинцетом снял пленочную оболочку, защищающую мозг, и, как бы отжимая на себя обнажившийся мозг с бороздами и извилинами, черепным ножом с торцевой заточкой отсекал зрительные нервы, сосуды, удерживающие мозг в черепной

коробке, и аккуратно вынул мозговое вещество Артему для рассекания и взвешивания. С непривычки пот с меня катился градом и затекал под маску.

– Ага, давай осевую проведем, – не унимался Артем.

Большим анатомическим ножом я ровно и с некоторым нажимом повел лезвие, чуть наклонив его под углом от приподнятого на колодке подбородка, и дальше, не отрываясь, вниз чуть левее пупка до области чуть ниже живота – лонного сочленения.

– А ты, брат, настоящий прозектор, – похвалил Артем, когда мы, сбросив перчатки, намыливали руки, – давай на полставки устрою. А то наши санитары решили свалить в бальзамировщики. Смотрел «Клиент всегда мертв»? Прибыльное дело. Но там и оборудование дорогое. И хорошая косметика, а не просто тональник вроде нашего «Балета». Они вроде и кредит собрались брать.

– Но ничего, заказы пойдут, быстро отобьют, – а от предложения Артема отказался, – у меня спина больная. Сорвешь один раз, так и будешь потом всю жизнь работать на одну аптеку. Я в свое время потаскал эти носилочки. Теперь пускай молодые ворочают.

Дождь наконец закончился. Мы на всякий случай обменялись телефонами, все же доброе знакомство, и Артем проводил меня до калитки. Теперь весенний воздух особенно чувствуется!

– Ну все, до встречи! Как раз вовремя, – кивнул он на подъехавший ритуальный «пазик» за больничными воротами, – теперь у меня выдача. Поставлю кому-то последнюю точку и отправлю в последний путь.

На узкоколейке предупредительно раздался сиплый гудок тепловоза. Из-за поворота показался локомотив и, не сбавляя скорости, пролетел мимо, а за ним схваченный стальными стропами силовой трансформатор на платформе.

Кубанские казаки

– Вадим, родной, чего стоим? Я тебя когда на ячмень отправлял? – выкрикнул из окна машины Пивоваров, остановившись возле комбайна Вадима Деркача. – Утром же докладывал, что все в порядке, зажигание выставил. Что опять не так?

– Да вот, Сергей Николаевич, лопнул, – худой черноволосый Вадим вертел в длинных жилистых руках резинокордовый ремень с ускорителя.

– Опять перетянул, наверно, – поморщился Пивоваров.

– Да китайцы так делают. Даже на страду не хватает.

– Короче, китаец, ставь давай и вперед! Чтоб через полчаса комбайн работал без всякой китайской философии.

– Будет сделано, шеф.

Сергей Николаевич Пивоваров – бывший председатель колхоза. Теперь успешный фермер. Вовремя сориентировался и принял на себя бесхозные поля, на которых за годы разрухи успели вырасти березняки. У него не забалуешь. В советское время хотел, да не мог уволить нерадивого работника. Теперь же запросто. А еще не любил пьяниц и лентяев. «Власть какой бы ни была, а обязана кормить свой народ. И мы, хлеборобы, тоже в ответе. Мы одни знаем, что хлеб на деревьях не растет. Его надо вырастить, собрать, обмолотить, сохранить на элеваторах и вывезти на мукомольные комбинаты».

Вот и решил Вадим засветло выехать на ячмень. Прежде сжатым воздухом тщательно продул движок и кабину от мелкого сора. Поднял жатку, осмотрел подкорытье, нет ли задиров, не трет ли где... Выставил все допуски. Еще раз со шприцем облазил все масленки. И на тебе, ремень подвел! Получил фитиль от Николаича. Надо наверстывать.

Вадим хлопнул слегка ладонью по кожуху комбайна, будто перед дальней дорогой потрепал за холку доброго скакуна. До полей километров десять.

Приехал и оглядел поля. Ближнее поле еще не совсем оправилось от недавнего ненастья. Почва у основания стеблей уже теплая, но ком земли еще не спешил рассыпаться в руках. Вадим рычагом опустил жатку. И к ровному звуку дизеля прибавился стрекот шестиметрового барабана. Опустил до нужной высоты барабан. Комбайн начал свою работу. После первого прохода Вадим спустился по трапу, присел и раздвинул руками только что остриженные и торчащие ежиком стебельки. Вроде берет. Размял в пальцах колос, сдул шелуху, пару зерен бросил в рот. Зерно захрустело на крепких зубах. Доброе зерно, спелое, можно убирать...

Работа кажется монотонной: ходи себе по полю да срезай колосья. Кабина «Нивы» нагрелась вкрай. В ней всегда шумно и жарко. Но сегодня особенно припекает. Вадим приложил ладонь к небольшому вентилятору, установленному сверху. Толку никакого, жар гоняет по кругу. Вроде мелочь, но с кондиционером насколько легче работать! На зарубежных машинах электроника. Только руку протяни, и уже нужные датчики под тебя срабатывают. Заснешь на ходу – сигнал подаст, и комбайн остановится, до аварии не доведет. Но если хоть один датчик выйдет из строя, то и сам комбайн работать не будет. Встанет в поле бараном, и все тут. Иностранную технику в отличие от нашей не обманешь. Ремонтировать приходится по инструкции, как положено. И все равно хороший наш комбайн «Нива». Сколько лет, а работает. Еще долго будет пользу приносить. Кто придумал «моральный износ техники»? Всегда можно машину починить, если котелок варит и запчасти имеются. К следующей уборочной надо деку ставить, чтоб производительность повысить, и качество обмолачивания, и сам комбайн быстрее побежит... В советское время завод выпускал до десяти тысяч комбайнов в год. Получить сельхозтехнику было проще простого. Сейчас еще легче, только гроши давай. Новый комбайн «Акрос» стоит до двадцати лямов...

Под зерновой выброс подъехал новый бортовой ГАЗ. Вадим открыл дверь кабины. Снова ворвался звук работающего дизеля, сильнее запахло дизельным топливом, перегретым маслом. Вадим зачерпнул ладонью из бункера горсть теплового зерна и засыпал во влагомер, придавив крышкой. До этого несколько недель шли дожди. Подпортили уборочную. На табло отобразилось: влажность ячменя 11,5%. Значит, хорошее, готовое для уборки зерно. За три дня смолотим. Правда, в этом году урожая меньше. Весной еще заморозки слегка придавили ячменек. С гербицидами припозднились. В поле вперемешку с ячменем целые заросли польни и лебеды. Николаич, наверное, под фураж ее пустит. Потом продискуют, дадут отдохнуть и на будущий год, может, овсом засеют. Но это пусть агрономы думают, у них для этого образование. А у нас опыт хлеборобов. Что Боженька ни даст, за все спасибо.

К самому краю поля подъехал колесный «Беларусь» с запряженной пожарной бочкой, полной речной воды. Это Гриня причапал. Значит, время к обеду. Гриня по ночам с девками гуляет, по утрам вокруг своего

трактора телепается. На сон времени нету. А сейчас уборочная, день год кормит... Ну ничего, пусть пока гуляет, осенью в армию пойдет. В военкомате уже предупредили, что отправят в танковые войска. В танке под приказы командира не поспишь. Странно, ведь половина станицы на флоте служила. Там тоже здоровье нужно. И в технике желательно разбираться. А океанские волны напоминают волны пшеницы на полях...

– Гриня, давай отвинчивай задрайки. Я в твоей цистерне купаюсь, – Вадим сбросил с себя поношенные джинсы, выгоревшую футболку в масляных пятнах и окунулся пару раз с головой. В такую жару за милую душу...

Потом вдвоем уселись в тенечке развесистого орешника. Тетка Лукерья сготовила им важный супец с пампушками, на подварке, куриного мяса добавила... Обедали молча, время от времени отламывая ломти от ноздрястого свежего душистого каравая. Потом Гриня снова сбежал к трактору. На второе в алюминиевом бидоне тушеная картошка с говядиной, морковью и зеленью...

– Дядя Вадим, я там за леском в балочке трактор нашел. ДТ-54 вроде, – вдруг вспомнил Гриня между делом, – видать, давно бросили, весь в лопухах и крапиве. Наверно, с поля съехал. Вот бы поднять и восстановить? Жалко машину, пропадет совсем.

– Молодец, что жалеешь технику, – помрачнел Вадим, – знаю я про тот аппарат. Он там уже лет десять отдыхает по вине одного пьяницы. Вечно хвалился, что был испытателем на танковом полигоне. Мастер широкого профиля и первого класса во всех категориях. Вот и загнал технику в овраг. Только мы твоей «Беларусью» не вытащим. Здесь только «Кировец» из соседней станицы сможет. Попробуем одолжить...

Под рукав зернового шнека транспортировки встал КамАЗ. Генка из кабины самосвала помахал им рукой.

Справа от рулевой колонки «Нивы» рычаг. Одно его движение, и непрерывный поток ячменя с легким шелестом хлынул в кузов... До большой росы успели высыпать последний бункер. За полный рабочий день прошли одиннадцать гектаров.

Вадим отогнал «Ниву». В голове одна мысль: помыться и спать. Гриня продолжал копаться в своем тракторе, что-то подкручивал гаечным ключом.

– Ну что, будущий танкист, возишься? – подошел к нему Вадим, обтирая руки ветошью.

– Вентилятор цепляло, крепление подтягиваю.

– Как к выходным закончим уборку, приходи в воскресенье, отметим окончание. Парочку арбузов прикупим, шашлык приготовим. Поучу тебя фланкировке. Лозу порубаем шашками. У меня дома на ковре красуется настоящая терская шашечка. С Первой мировой прадед привез. Еще старинный кинжал кама имеется...

Гриня кивнул. Он знал, что Вадим – хорунжий Кубанского войска. Фланкировкой занимался не просто так, чтобы перед молодыми казачками покрасоваться. Вадим Деркач соблюдал старинные обычаи Кубанского казачьего войска.

Вернисаж

Молодой весенний дождь разогнал тучи, нависшие над старинными прудами родовой вотчины бояр Романовых. Еще не стаявшие грязные

льдины вместе с прошлогодним мусором плавали у заросших камышом и осокой берегов. Над высокими столетними деревьями высилась приметная башня Въездных ворот древнего Измайловского кремля. По воскресеньям здесь проходят исторические реконструкции, костюмированные праздники для туристов. Из Въездных ворот выкатывается карета с юным царевичем Петром Алексеевичем. Он в теплом расшитом кафтане и мягких высоких сафьяновых сапожках весело подбадривает стрельцов царской охраны. Сегодня произведут первый спуск на воду его ботика, построенного по английским чертежам здесь же, в сараях. Будущий адмирал российского флота мечтает, как поплывет на этой лодке по Яузе. И когда-нибудь его большие корабли, построенные на настоящих верфях, отправятся в дальние плавания по морям и океанам... А когда это случится, здесь многое исчезнет, изменится... За стенами Измайловского кремля на другом берегу пруда появится Вернисаж, или, как его называют старожилы, Верник.

Рабочий день на Вернике начинается на рассвете. На выходных из разных районов Москвы и Московской области, других регионов стекаются антиквары, перекупщики, художники, коллекционеры и просто любопытствующие... Частыми гостями здесь были Илья Глазунов, режиссер Сергей Соловьев, Валдис Пельш... Бывают здесь и те, кто мечтает столкнуться с уцелевшими осколками своего детства, например с фарфоровыми фигурками слоника или юного пограничника с собачкой... Доносится Вертинский: «Я не знаю, зачем и кому это нужно...» Народ приходит, чтобы вспомнить, поглазеть, прицениться, встретить знакомых, похвастать, выпить возле палатки горячий кофе или махнуть сто грамм коньяка на разлив. Между лавками с русскими сувенирами натянута широкая полоса старого полиэтилена для защиты от проливных дождей. И кажется, что здесь всегда прохладнее. Надо одеваться теплее. В целом обстановка непринужденная, доброжелательная, но это для своих. Антиквары – народ закрытый и профессиональными секретами с чужаками не делится.

Среди художников пейзажисты, портретисты, графики и просто хорошие копиисты. На заказ они повторяют любую картину, умело ее состарят путем нанесения трещинок и морщинок, очень схожих с настоящей старинной патиной на холстах. Попутно бесплатно прочитают лекцию обо всех направлениях западноевропейской живописи.

Вот один пожилой художник, тоже выставив картины и опираясь на массивную, затейливо инкрустированную латунным орнаментом трость, с высоты своего немалого роста равнодушно взирает на проходящую толпу. В силу возраста или каких-то других причин он не выставляется на других, более значимых площадках и вынужден приезжать сюда из другого конца города на старой «копейке».

– Видишь, – показывает концом трости на свои работы, – решил перейти на акрил. Раньше акварелью и маслом работал. Даже гравюры делал... Акрил – интересная техника, дает прозрачность и в то же время яркость, сочность, какую-то значимость...

На одном из его холстов влюбленная пара в сумерках укрывается от капель под большим разноцветным куполом зонта. Они не замечают дрожащую кошку возле уличного фонаря... Слегка небрежные и будто неразбавленные мазки: красный, желтый, густо-синий, черный цвета... Как же здорово автору удалось передать состояние счастливых людей и несчастной кошки, вечернего города и мокрую погоду. От картины веет запахом и сыростью дождя... Вроде простенький сюжет, но удивляет!

В самом конце длинного извивающегося коридора «художников» возле старой беседки под голой березой сиротливо приютился на каком-то ящике еще один примечательный художник. Свою единственную работу без рамы он прислонил к той же березе. На ее черных ветках капли ночного дождя, как бусинки из самого чистого стекла, переливаются, играют на свету. Солнце выглянуло, но сам воздух еще не успел нагреться. Зеваки проходят мимо и не понимают, что изображено на картине: какие-то беспорядочные цветные пятна. Где верх и где низ? Может, перевернуть?

— Это «Композиция № 7», Кандинский. Авангард понимать надо, — устало объясняет он обывателям, — не нравится — не смотрите. А хотите — берите. У меня больше нет.

«Усталый» художник живет в деревне под Тверью. Давно перестал писать. Летом он и вовсе перестал появляться. Никто у него не брал эту «Композицию». Непонятная какая-то, так еще и дорого за нее просил.

А поздней осенью задули настоящие ветры, и с царского острова, закручиваясь в воздухе, неслись и падали в почерневшую воду сухие листья, и рыжие утки-огари совсем погрузнели, почти не плавали, а отсиживались на берегу. В эту пору поехать на Вернисаж — как закрыть сезон или перевернуть страницу. Старая береза перед воротами все так же скрипит своим закрученным телом, словно преодолагает хронические хвори. Все как-то притихло и насторожилось. Меньше любителей побеседовать под чаек или коньячок возле палатки. Однако в конце коридора «художников» появился тот самый «авангардный» копиист. И опять с тем же самым Кандинским. А что он все же означает?

— Не надо искать сюжета. Меня эта картина, можно сказать, спасла. Однажды спину прихватило, когда решил для печки полешек наколоть. Так прострелило, что от боли повернуться не мог. Долго не отпускало. Из нашей амбулатории уколы делали. Ну все, думаю, кингстоны пора открывать и на грунт. И амба! А картина на стене возле кровати висела. Лежал и от нечего делать ее разглядывал. И вдруг ее понял! Это вечное перемещение предметов в разных направлениях и плоскостях. Наша жизнь, как Вселенная, как Космос, как Океан, тоже вечное движение, энергия. И стоит остановиться, перестать двигаться, отвечать на вопросы этого мироздания, как все закончится. И мне захотелось скорее встать и жить дальше, иначе все... Картина для меня много стоит, но теперь сбавил до цены кондитерского торта...

Мы сговорились и пожали друг другу руки. Я теперь заметил: у него на правой руке между большим и указательным пальцами вытатуирован темно-синий якорь.

— Да, я моряк, — в подтверждение еще отвернул полу куртки. На свитере морской знак на закрутке: — За дальний поход на надводном корабле. Я не всегда в художниках ходил. Первое Балтийское высшее военно-морское училище окончил. Это в Ленинграде в Морском переулке. Я на два курса по выпуску младше капитан-лейтенанта Ивана Ивановича Краско. Это известный артист. По военной специальности я гидрограф. Военный гидрографы создают навигационные карты, в интересах ВМФ проводят гидрографические, океанологические исследования. В запас вышел капитаном третьего ранга... Потом не знал, куда себя деть, и от скуки поступил в Строгановку. Вот теперь бросил швартовы на мертвые якоря и морковку с репкой дергаю в деревне. Больше уже, наверно, не приеду сюда...

Музейная тайна

Вера Никитина долгое время была завучем в школе. Но в последнее время перестала любить свою работу. Все как-то нервно и бессмысленно. Когда окончательно надоело, написала заявление об уходе. Друзья и родственники отговаривали: с работой сейчас туго, другую не найдешь. Так и вышло, долго искала, не могла подобрать ничего подходящего. Требовались маркетологи, аналитики, программисты... Рабочие профессии тоже в чести... Вера же из интеллигентной творческой семьи. Папа всю жизнь нес культуру в массы, трудился заведующим клубами в разных городах от Тихого океана до комариной Карелии. Даже пьесы ставил. Мама, художник по костюмам, обшивала капризных театральных актрис. И Вера выросла гуманитарием, к точным наукам интереса не проявляла.

Старая соседка Анна Сергеевна подсказала выход. Она до пенсии работала на заводе «Красный треугольник», но тоже тянулась к искусству, любила посещать различные выставки. А в музеях часто требуются зрители.

На собеседовании соискательницу долго пытали, почему ушла из школы. Вера честно отвечала, что на предыдущей работе скучно, зато музей – ее призвание. Образованная и спокойная Вера успешно прошла собеседование. На следующее утро ее новая начальница Мария Ивановна, полноватая, в строгих очках, со смешной фамилией Кашеева, провела ежедневный инструктаж. После приемки и осмотра Вера отвечает за сохранность всех экспонатов в вверенном ей зале.

Вместо учительского стола Вера в униформе скромно сидит в углу большого зала и наблюдает за нескончаемым потоком посетителей. На лацкане пиджака бейдж с фотографией. По-прежнему собирает светлые волосы в пучок на затылке. Приобрела такие же очки, как у ее начальницы, но в модной оправе, слегка тонированные. Одной рукой элегантно поправляет их, другой – мягко отстраняет наиболее любопытных посетителей от экспонатов. Однажды даже спасла гостя, когда со стены сорвалась большая картина в тяжелой золоченой раме. Посетители такие же бестолковые, как и ее ученики, только взрослые, на простые замечания обижаются: не заходите за веревочные ограждения, не фотографируйте со вспышкой, не дышите на экспонаты и уж тем более не трогайте их... Кстати, за спасение человека от сорвавшейся картины ей выдали небольшую премию. Но зарплата, конечно, не та, что обещали на собеседовании...

Осенью в городе тускло и сыро, деревья голые и усталые, все пустеет... В музее же светло и торжественно. Начищенный до блеска напольный паркет. Сверкающий хрусталь люстр и жирандолей. Позолота диванов и кресел с атласной обивкой невероятной сложности... В музее случилась плановая перестановка зрителей. Вера наконец угодила в галерейную оранжерею с редкими тропическими растениями. Поначалу ее как новенькую не решались туда ставить. Боялись, что тут же уволится.

Утром сонный вахтер, звеня тяжелой связкой ключей, открыл ей дверь в оранжерею, и на Веру навалился упругий, мокрый, пахнущий джунглями воздух. Она даже закашлялась, прежде чем шагнуть в этот душный тропический лес. Толстые лианы, словно старые корабельные канаты, переплетаясь, свисали до самого пола. Резные листья гигантского папоротника, финиковые пальмы, огромные кувшинки

амазонских викторий с загнутыми краями в небольшом водоеме... Перед лицом бестолково пролетела яркая птица и уселась на какие-то игольчатые листья, медленно раскрывая и захлопывая нарядные крылья. Это оказалась вовсе не птичка, а огромная бабочка... Наверно, здесь и бабуины обитают. И змеи водятся, – передернула плечами Вера. Она терпеть не могла гадов. Но никаких обезьян и змей здесь, слава богу, не водилось...

Вера смиренно заняла свое место в небольшом тамбуре, отделенном от теплицы стеклянной стеной. В десять часов в оранжерею ввалилась группа шумных школьников. Их восторгу не было предела, когда под стеклянным потолком пролетали бабочки. Девочки визжали, мальчики махали руками... У Веры разболелась голова. Она шутливо пригрозила, что ребята криками разбудят австралийских попугаев...

После обеда пришли пенсионерки с пластиковыми пакетами. Они демонстративно доставали оттуда воду, жадно пили, бесконечно жаловаться на жару тропиков. На то она и оранжерея. Пожилые женщины мало обращали внимания на бабочек. Они окружали цветники с крупными фиолетовыми, словно майская ночь, цветами... Налюбоваться на них не могли. И счастливые уходили домой. Вера их понимала. Эта красота завораживала.

Вечером оранжерея опустела. Вера устало подошла к цветнику. На месте некоторых растений зияли пустые лунки! Тетки незаметно выкопали редкие цветы... Вера побежала к начальству. Кашеева даже не удивилась. Не первый раз такое случается. А за руку не поймаешь. Охрану не поставишь. Даже камеры не могут отследить. Очень хитрые эти старушки. Ладно если для себя, чтобы дома любоваться, хвастать перед подружками. А некоторые несут на продажу в цветочные магазины. Варварство, одним словом!

И тут Вера вспомнила, как однажды в универсаме возле дома посетила небольшой цветочный магазин за стеклянной стеной. Там в пластиковых горшках продавалась всякая тропическая и субтропическая невидаль. Вера еще тогда удивилась, откуда у хозяев магазина такие возможности доставать редкие растения. В свой выходной она пришла туда и опознала украденные цветы.

Потом было заявление от музея в полицию, допрос хозяина магазина... Оказалось, что воровка оранжерейной ценности работала у него уборщицей. Какое понесли они наказание, Вера уже не выясняла. Работала себе спокойно. Подобных краж больше не наблюдалось. Так, иногда кто-нибудь отщипнет листочек на добрую память.

Александр КРАМЕР

Родился в 1953 году в Харькове. Окончил Харьковский политехнический институт. По профессии инженер, участвовал в ликвидации последствий аварий в Чернобыле.

Поэт, прозаик. Публиковался в журналах «Нижний Новгород», «Сибирские огни», «Дети Ра», «Союз писателей», «Веси», «Дарьял» и других.

Живет в Любеке, Германия.

ЧАШКА

1

Кто, почему и когда назвал ее Чашкой, наверно, теперь уже не узнает никто. Ну Чашка и Чашка, и бог с ним. Чашка была обычной дворнягой, но невероятного рыжего цвета. Казалось, жаркое пламя примчалось к вашим ногам и улеглось беспокойным веселым живым костром. А еще была Чашка доброй, ласковой и... деликатной, если так можно, конечно, сказать о собаке. Деликатность эта особенно проявлялась в еде. Во-первых, Чашка, в отличие от своих сородичей, в жизни не выпрашивала подачку; и, во-вторых, никогда не набрасывалась на еду тут же, как бы ни была голодна; возьмет аккуратно косточку, отнесет в укромное место, потом обязательно прибежит весело тявкнуть «спасибо» и повилить жарким хвостиком в знак благодарности, а только потом уже окончательно отправляется есть.

Может, за огненный цвет, а может, за добрый нрав, прижилась она в гараже пожарной команды – на радость суровым мужчинам и всей детворе в округе.

2

Снег перестал идти утром. Тучи рассеялись, и вышло бледное солнце. Чашка лежала возле ворот гаража на снежном искристом снегу, как огромный пушистый солнечный зайчик, и нежилась тихо на холодном утреннем солнышке. Добрая ее морда и гибкий огненный хвост выражали полное и всеобъемлющее довольство. Симпатичные улыбки, вспыхивающие при виде ее на лицах редких прохожих, говорили о том, что лежит она здесь не напрасно и утро проходит не зря. А еще вот-вот должны были выйти на улицу дети – и тогда жизнь окончательно наполнится счастьем...

3

Уже второй день старую нищенку душил изнуряющий кашель. Он налетал приступами, сгибая ее пополам и потом отпускал внезапно; и

так целый день. Вчера из-за этого она не пошла к церкви Святого Павла, где всегда попрошайничала, а сегодня с утра не могла никак встать и теперь опоздала; ее постоянное место, почти возле самой паперти, где лучше всего подавали, уже оказалось занятым. Она попыталась было орать и скандалить в надежде место вернуть, и тогда темноглазый высокий и крепкий старик молча взял ее за плечо и вывел вон, за ограду.

Было холодно. Снег и солнце назойливо лезли в глаза. Нищенка шла, вся сгорбившись, тяжело опираясь на суковатую палку и чуть не по земле волоча грязную дерматиновую кошелку, в которой таскала все, что удавалось добыть. Временами ее снова и снова гнул в три погибели кашель, тогда она ставила палку перед собой, наваливалась на нее всей грудью и так перемогала приступ, а потом громко отхаркивалась и, сплевывая, шла дальше.

Когда рыжая веселая псина подбежала к нищенке, старуху разбил новый приступ. Она прочно оперлась на палку и зашлась вся в лающем хриплом кашле, глубоко нагнув голову и сотрясаясь всем телом. Пока нищенка кашляла, Чашка сидела и внимательно смотрела старухе в лицо, задрав морду и поджав виновато хвост. Чашка была доброй собакой, и, наверное, ей стало жалко грязную и больную старуху. Может быть, она хотела как-то выразить старухе свое участие; а может быть, даже хотела с ней поделиться своим сегодняшним чистым собачьим счастьем... Поэтому, когда старухин кашель утих, Чашка принялась весело прыгать вокруг нее и заливисто лаять, замечательно виляя хвостиком. Потом она стала носиться и дергать старухину сумку. Потом... Нищенка вдруг подняла свою палку и что было сил саданула ею Чашку по морде. Чашка взвизгнула и, не помня себя от боли, кинулась прочь, на дорогу. Казалось, на весь огромный квартал слышен был визг тормозов и жуткий, несмолкаемый вой изувеченного животного.

Нищенка в последний раз харкнула, утерлась ладонью и, ссутулясь, поплелась восвояси, равнодушная ко всему и ко всем, даже к себе самой.

4

Фаустов был мужиком настырным и принципиальным; жестким, но не жестоким, не злым, зла в нем не было вовсе, одни только жесткие принципы; но за это его не любили; и сам себя Фаустов временами тоже не очень-то жаловал, но поделаться с собой ничего так за сорок лет и не смог. Да и кто и за что станет жаловать зануду и трезвенника, чуть не святошу? Женщины, что понапористей, быстро его спроваживали куда подальше. Женщины попокладистей – сами соскакивали с подножки, почитая за лучшее поискать себе новых попутчиков. А мужчины – те просто старались загодя убраться куда-нибудь в сторону, чтоб не попасть ненароком в какую-нибудь передрыгу: больной, он и есть больной, какой с него спрос, да ну его, от греха! Оттого он, как видно, все время и шел по дороге один.

Но Фаустов не обижался. Стерпелся, привык, приспособился... Иногда, правда, сильно болела душа, но стерпелся и с этим. Малыми радостями, словно большими, перемогался.

Уже несколько дней, как ныло что-то внутри, болело, нудило... В общем, было хреново. Больничный при этой болезни врачи не дают и рецепт не выписывают. И тогда вдруг пришла ему в голову мысль побывать в тех краях, где жила огнешерстная псина.

Однажды, год с лишком назад, когда его так же, как и сейчас, терзала тоска и он целыми днями шатался по городу, не находя себе места, тогда в первый раз и набрел он на дворнягу по имени Чашка, и в тот раз отпустило. Сразу почти что!

Он и подумал, что, может быть, снова сможет подлечиться с помощью Чашки. Доброта, пускай и собачья, – ну чем не лекарство? Он был почти что уверен, что нашел-таки правильный путь к излечению, что недолго совсем, и снова будет все путем. А о том, что случилось зимой, он, конечно, не знал. Да откуда б мог знать!

И сегодня с утра, в воскресенье, Фаустов встал с единственной мыслью: наведаться к Чашке. На скорую руку позавтракал и стал собираться. Он, когда колбасу еще резал, начал вдруг внутренне улыбаться, скупое еще, неуверенно, но улыбаться, представляя, как увидит он Чашку и как будет потом кормить огнецветную добрую псину. А когда закрывал ключом дверь, был убежден совершенно, что все будет отлично, на пять, а может быть, и на пять с плюсом.

5

Весна была поздней и робкой. Снег сходил медленно и неохотно. Весь апрель было сыро и холодно, и лишь к концу мая стало жарко и сухо.

И Фаустов тоже согрелся под утренним солнцем и, предвкушая скорую встречу, теперь улыбался по-настоящему. Пусть несмело пока еще, но уже по-настоящему!

Он увидел ее еще издали. Этот цвет ни с чем в мире нельзя было спутать! Ну конечно же, Чашка! Но она как-то странно, как-то не так лежала у ручейка, вытекавшего из ворот пожарки, положив грустно голову на передние лапы, и, казалось, спала. Фаустов подошел совсем близко, присел на корточки и тихо позвал: «Чашка, Чашка». Собака неспешно подняла к нему равнодушную грустную морду, как будто ждала, когда он отстанет и пойдет себе дальше. Но Фаустов слишком сильно хотел этой встречи, слишком многого ждал от нее и не был намерен сдаваться. Он порылся в кармане куртки, достал колбасу, выложил ее всю на асфальт, взял кусок и стал настойчиво тыкать им Чашке под нос, приговаривая при этом: «Ешь, Чашка, ешь, ну чего ты морду воротишь. Сммотри, колбаса какая. Свежая, то, что надо». Продолжалось это недолго. Одним гибким движением Чашка вдруг поднялась на передние лапы и, как циркачка, неспеша пошла к гаражу, и задние лапы ее бессильно болтались вдоль тела. А куски колбасы так и остались нетронутыми лежать на асфальте.

Кровь вдруг бешено ударила Фаустову в голову, он стал жарко-пунцовым; казалось, его сейчас хватит удар. Но он сумел быстро взять себя в руки, чуть не бегом догнал уходящую Чашку, поднял ее на руки, прижал крепко-крепко к груди, и от жуткой внезапной взвинченности напрочь забыв про транспорт, понесся домой. Чтоб разжечь в доме жаркий огонь. Чтобы в доме было тепло.

Юрий НЕЧИПОРЕНКО

Родился в 1956 году в Ровеньках, Луганская область. Окончил физический факультет МГУ. Биофизик, доктор физико-математических наук. Известный прозаик, арт-критик, учёный, культуролог. Исследователь творчества Николая Гоголя, Александра Пушкина, Михаила Ломоносова и Гайто Газданова.

Лауреат премий «Ясная Поляна», имени Сергея Михалкова, имени Антона Дельвига и других. Инициатор и директор Всероссийского фестиваля детской книги, председатель Общества друзей Газданова. Книги переведены на греческий, китайский, сербский, румынский и другие языки.

Живет в Москве.

КОШКИН ДЕНЬ 1 МАРТА

Приключения начались накануне: я опоздал на лекцию про Миклухо-Маклая, так как перепутал время начала: думал, что в четыре часа она начинается, – а она в три! Лекция Марины Сидоровой из МГУ была посвящена сочинениям известного друга и защитника папуасов. Интересно было узнать, как этот заядлый путешественник и учёный человек мог с ними подружиться.

Пришлось брать такси и мчаться с работы с двумя котовозками под мышкой – как раз успел к концу доклада, узнал, что Миклухо не считал папуасов низшей расой, за то они его и ценили. А может, даже и любили – по крайней мере не съели, как Кука. В своих дневниках он вёл себя, как бы сказали сейчас, нетолерантно, называл женщин бабами и даже рисовал значки самцов и самок для краткости, рассуждая про людей.

Дальше мой путь пролегал к станции, откуда электричка уже к ночи везла меня в сторону деревни. В нашей деревне всего полтора десятка домов и столько же кошек и котов, но почти все они прибились на зиму к нашему дому. Домой, в избу, я их старался не пускать, за исключением самых нежных – вот как Лапыча, который даже порой спал со мной, мило мурча.

Однако же Лапыч пропал, как и пропала за зиму половина котов и кошек – куда они делись, бог весть... Можно надеяться на лучшее – может, Лапыча за его мурчание подобрали какие-то доброхоты из соседей?

Итак, я несусь на перекладных в деревню, здесь меня ждут шесть кошек и два кота – как их слуга, я езжу всю зиму и кормлю эту ораву. Что не сделаешь для дочки, которая любит всех этих котиков и даёт им имена, это она Лапыча прозвала Лапычем. Он из тех котят, что принесла

нам Бабушка (тоже кошка) прошлой весной. Лапыч серый, как и Бабушка, как и три его брата и сестры – Билли Бонс, Лупоглазик и кто-то, кому даже не успели дать прозвища, – так быстро он пропал. Как зовут Билли Бонса я забываю всё время, помню, что там были Б и А, типа Али-баба. Два брата Лапыча погибли при невыясненных обстоятельствах ещё осенью – то ли собаки их настигли, то ли сороки заклевали.

Сороки ведут себя довольно нагло в наших краях – корм, который мы сыпем для кошек, они поедают, стоит только отойти в сторону. При людях они опасаются, а без людей они тут царят! Я как-то насыпал корма в тарелку и покормил котов досыта, они уже есть больше не хотели, оставил им запас – и только отлучился на пять минут – запаса нет! А вокруг тарелки следы сорочьи на снегу...

Так вот, ехал я в последний день зимы в избу, чтобы там заночевать и утром отдать кошек на стерилизацию. Слово страшное, и отдавать не хочется – но что делать? Кошки деревенские плодятся невероятно, и если в прошлую зиму их было четыре, то сейчас уже восемь (три кошки привели 11 котят, одна оказалась бесплодна – и потом половина пропала). Если так дело дальше пойдёт, то с каждой зимой их число будет удваиваться, а то и утраиваться! И они меня съедят, как туземцы съели Кука!

Короток век деревенских кошек – на нашей памяти только Бабушка пережила три зимы и приносила каждый раз приплод... Мои друзья-биологи считают, что плодить кошек, которым мы не сможем обеспечить уход и корм, – значит умножать страдания.

Кошками занимаются волонтеры – и я договорился сдать утром шестерых кошек и одного кота волонтерше Алине. Кота сдавать я не особо хотел, но волонтеры уговорили...

Кормить кошек вечером я не стал, чтобы утром они набросились на пищу – и тут мы их цап-царапыч! Кошку удобно брать за шкирку, тогда она не кочевряжится – так кошки переносят котят, очень удобно.

Я уже потренировался, поднимал кошек – и они вели себя тихо.

Выглянул я ночью в окно – сидят мои кошечки на крыльце – и смотрят на меня с укоризной...

Утром приехала Алина, мы её с котовозками спрятали на веранду – и началось...

Первым делом я решил отловить Бабушку.

И это мне удалось: все кошки бросились лопать корм, и Бабушка расслабилась, не заметила, как я подошёл сзади и схватил её за шкирку.

Вообще с Бабушкой у меня личные счёты – накануне вечером она умудрилась пробраться на веранду так, что я её не заметил, – и провела ночь в тепле, в знак благодарности оставив в ванной лужу на полу.

Ошибка состояла в том, что я схватил Бабушку левой рукой – и когда передавал её на веранду Алине, Бабушка всё же извернулась и в последний момент сиганула мимо ждущей её открытой котовозки – и тут началось представление: Бабушка побежала по шторам, по стенам, по потолку. Алина попросила меня закрыть дверь на веранду и вступила в героическую битву с Бабушкой...

Та сигала из угла в угол, носилась по полкам с книгами, забивалась под диван и под ванную, в общем, минут пятнадцать Бабушка показывала нам все чудеса циркового искусства. Однако и Алина была не слабого десятка. Я хотел помочь, но она отказалась – и увещеваниями, и погонями добилась своего – Бабушка оказалась в котовозке!

С остальными было проще, пару кошек мне удалось ухватить и принести, а прочих по одной мы заманили при помощи сосиски в ванную, и тут Алина их изловила.

Так начался мой кошкин день, 1 марта.

А вот как закончился – привезли кошечек ночью.

Всё это время один котик – Лупоглазик – скучал во дворе.

Ему было не по себе: пропала компания, мамка, тётки и сёстры.

Да и брата увезли – Билли Бонса.

Ему было без компании неуютно...

Жил он в сарае в зимнем домике, который сделали для них соседи Володя и Настя.

Я решил домик этот перенести в ванную, где надо было держать кошек неделю после операции.

Захожу в сарай: васьте-здрате! Там ещё какой-то чёрный кот тусуется!

Или это кошка?

Был у нас кот Черныш, характер у него был боевой, он всех гонял!

А потом оказалось, что это кошка, и мы переименовали Черныша в Чернышку. За его высокомерный нрав сосед окрестил его Герцогом – а оказался он Герцогиней. У нас соседи давали кошкам свои прозвища, так что, перелезая через забор, кошки меняли имена.

Потом Чернышка пропала – и мы горевали.

А тут вижу – мелькнул кто-то чёрный с белой грудкой – неужто наша Чернышка вернулась?

Рассмотреть не успел, как кот (кошка) дал дёру.

Чернышка так бы от меня не бегала, она ласковая была...

Кстати, это она не принесла котят прошлой весной.

И вот привозят наших кошек среди ночи – и говорит Алина, что котик один пропал.

В машине смог освободится из котовозки и сбежал.

Там, куда их привезли, кошачий приют – и уже его искали, объявление дали – в общем, не нашли за день.

Я же не хотел его отдавать!

Это был Билли Бонс, как вы понимаете, и попал он в котовозку под сурдинку: нам сказали, что если оставить двух котов, они всё равно передерутся и один прогонит другого. Так что надо было хотя бы одного кастрировать – и так как Лупоглазика с красивыми глазками было жалко, отдали мы Билли Бонса.

Я расстроился, что он сбежал, но потом подумал: может, там ему будет лучше, попадёт в приют или прокормится рядом?

И так тут с шестью кошками мороки хватает...

Бедные, они все были в попонках, держать их надо было в тепле ещё неделю.

Выпустили мы их в ванную комнату (санузел утеплённый с ванной) – и ещё поставили туда обогреватель. Так что теперь будем следить, чтобы они там хорошо себя вели.

Поставил туда я кошачий туалет с подсыпкой, налил воды и насыпал корма на ночь. Жаль было их, после операции они даже толком ходить не могли – их покачивало.

Однако же наутро кто-то смог залезть на окно, прыгнуть на занавеску, свалить её на пол и пописать на неё. Хорошо, что не покакали...

В целом же они уже утомонились, смирились со своей судьбой и стали вести себя прилично, насколько это возможно в их положении – с хвостами, когтями – и в попонках.

Да, я вспомнил, как звали «Билли Бонса» на самом деле.

Минибаб!

Это же надо такое имя для кота придумать!

Будут ли меня теперь кошечки любить, как туземцы Миклухо-Маклая, или нет? И что значит вообще эта любовь кошачья, можно ли ей верить, существует ли она?

Вот сколько живу с кошками, уже лет двадцать – не знаю.

Была у нас знатная кошечка Киска в городе, я про неё даже повесть написал, – и все равно кошачья душа – потёмки.

Что уж говорить про деревенских кошек, это вообще особая судьба – жить на свободе.

Дмитрий ИГНАТОВ

Родился в 1986 году в Ярославле. Проходил обучение в ЯГТУ по специальности «инженер-педагог машиностроения». В настоящее время – дизайнер и веб-разработчик, пишет сценарии для кино, ТВ и рекламы.

Публиковался в изданиях «Знание – сила», «Знание – сила: Фантастика», «Искатель», «Нева», «Дарьял», «Байкал», «Смена», «Нижний Новгород», «День литературы», в альманахах и сборниках. Автор романа в рассказах «Великий Аттрактор», иронического фэнтези «Кампания Тьмы», хоррор-повести «Первыми сдохнут хипстеры» и сатирического справочника «Это ваше FIDO».

Живет в Воронеже.

ПОСЛЕ НИХ БЫЛ ПОТОП

Марк медленно двигался между заковыристых, но совершенно бесполезных на вид предметов мебели. Его мощное тело, плавно покачиваясь, с лёгкостью преодолевало эти баррикады, а конечности ощупывали каждый встречавшийся на пути предмет с такой нежностью и трепетом, на какие способен только прирождённый историк, археолог и архивист. Да, безусловно, было очевидно, почему он всегда нравился слабому полу. Образцовый самец. Впрочем, злые языки поговаривают, что он намазывал свои присоски чем-то раздражающим, отчего те становились более красными и припухлыми. Поведение не очень-то достойное. Но разве самочки будут разбираться? Чувствуя, что уже чернеет от зависти, Лука отогнал от себя эти мысли и только повыше поднял фонарь, чтобы помочь своему другу, а заодно и самому получше осмотреться.

Пространство вокруг явно не возникло естественным путём, как какая-нибудь пещера или скальный разлом. Не было тут и следов привычной деятельности строительных моллюсков, широко использовавшихся для создания всевозможных стен и укрытий. Ни плавных изгибов, ни округлых форм – лишь прямые поверхности, напоминавшие камень, резко сомкнутые друг с другом по прямым линиям.

Прежде такие места считались запретными, даже гибельными. Что, в общем-то, было объяснимо. Фитопланктон и водоросли не могут обитать в отсутствие солнечного света. Столетиями концентрация углекислого газа здесь только росла, сделав всё внутри безжизненным. Лишь дыхательные губки, закреплённые на лицах Марка и Луки, позволяли им некоторое время работать в таких условиях. Возможные риски не останавливали их, ведь, как хорошо известно, все ноглавы от природы исключительно любопытны.

Тем временем, углубляясь всё дальше внутрь прямоугольного помещения, Марк осторожными движениями смахивал слой осевшего ила и мусора с каждой встречавшейся ему горизонтальной поверхности и пристально осматривал её своим левым глазом. Вдруг он замер, мгновенно выказав волнение, приобретя на секунду иссиня-фиолетовый окрас. Лука сразу же поспешил приблизиться. В тусклом свете банки с люминесцентным крилем на желтоватой плите с разводами поблёскивала стопка тонких пластин с рисунками и надписями. Марк любовно провёл по ним своими щупальцами и аккуратно перевернул несколько.

Раньше уже обнаруживались подобные изображения в разной степени сохранности. И это было огромным везением, ведь они оказались ключом к массе других загадочных находок, упавших сверху, а потому считавшихся подарками богов. Теперь же такие суеверные заблуждения необразованных предков вызывали у Марка и Луки лишь иронический смех, от которого их серо-коричневые тела покрывались зелёными пятнами.

Существа, жившие сверху, разумеется, не были никакими богами, хотя и выглядели очень странно. Современная наука уже смогла дать объяснения некоторым из этих странностей. Например, по понятным причинам лишённые поддержки плотной окружающей среды, эти существа сформировали внутри себя прочные кальциевые каркасы, сродни тому, как моллюски окружают себя раковиной снаружи. Это точно. Такие каркасы в более или менее полном виде ещё можно найти кое-где. Глядя на них, становится очевидно, что эти существа не были приспособлены для жизни в воде. Их тяжелая жизнь проходила где-то высоко – на обезвоженных возвышенностях. Естественно, что иметь даже шесть, восемь, а тем более десять ног было для них непозволительной роскошью. Попробуйте-ка нарастить кальциевый каркас на каждую из них! На такое способны относительно небольшие крабы, но никак не массивные наземные существа. Кроме того, на суше невозможно находиться в подвешенном состоянии, ведь приходится опираться минимум на одну ногу. Наземным существам пришлось дифференцировать свои и без того немногочисленные конечности на те, что используются исключительно для перемещения, и те, что предназначены для более сложных действий. Так им удалось оснастить каждую десятком сочленённых отростков, при помощи которых явно получалось не только передвигаться, но и манипулировать объектами, обрабатывая и комбинируя их для разных целей.

И, судя по всему, получалось это довольно ловко, потому что, помимо всех прочих технологических достижений, надводные существа сумели развить разнообразную письменность. Даже по тем сохранившимся текстам, которые попали в щупальца учёных, можно было сделать вывод, что письменность изобреталась несколько десятков раз.

Исходя из текстов, которые смог расшифровать Марк, письменности эти были настолько обособленными, что даже слово, обозначающее самих надводных существ, записывалось по-разному да ещё и различными наборами символов. Из этого смелый на гипотезы друг Луки сделал вывод, что обезвоженные высокогорные районы населялись сразу несколькими видами двуногих существ. На основании лексикологического анализа он выделил две основные группы – «маны» и «человеки» с рядом нескольких промежуточных смешанных категорий. Если первые были весьма преуспевающими в промышленном производстве – надписи на языке манов в изобилии были представлены на предметах

различного вида и назначения, то вторые, по всей видимости, делали акцент на нематериальном производстве – большая часть объёмных и развёрнутых текстов художественного содержания оказалась записана языком человек.

Сам же Лука как специалист по материальной культуре придерживался куда более радикальной точки зрения. И в своих извечных спорах с самодовольным Марком отстаивал её до тех пор, пока оба не покрывались красными пятнами. Лично перелопатив тонны ила и изучив сотни находок, Лука пришёл к твёрдому убеждению, что различия между людьми носили исключительно вневидовую природу. Существование в скудных условиях обезвоженного мира вынудило их постоянно расселяться в поисках пропитания. Отдельные популяции не просто теряли взаимосвязи и развивались изолированно, но впоследствии и конкурировали друг с другом за ресурсы и территорию. Такая практика неизбежно закреплялась в культуре. И в итоге привела к нерационально сложной общественной организации, когда вид уже не воспринимал себя как единое целое при сохранении способности скрещиваться.

К своему удивлению, по такой позиции Лука получил неожиданную поддержку от Хава. Эта экстравагантная самка, нелюдимая даже по меркам ноглаво, большую часть времени проводила в ярко освещённых районах возвышенностей. Отказавшись от собственной репродукции, она занималась там генетическими изысканиями. Не будучи обременёнными вечной борьбой с силой тяжести и поисками пропитания, предки Луки и Марка освоили секвенирование ДНК и горизонтальный перенос генов раньше, чем изобрели колесо. Хава достигла в этом особого мастерства. И строительные кораллы, и яркий люминесцентный криль, и длинные высокопрочные водоросли – вот кто были её настоящими детьми.

Натолкнувшись однажды на странные вытянутые скелеты с двумя парами неодинаковых конечностей, Хава, естественно, не могла остановиться, пока не докопалась до истины. При большом внешнем разнообразии размеров и пропорций генетически все они почти не отличались и, бесспорно, принадлежали к одному виду.

Теперь, когда Лука вдруг выбирался к ней на мелководье, Хава подолгу держала его за щупальце и увлечённо рассказывала о своих открытиях и умозаключениях. Рассматривая проблему исчезнувших манов-человек каждый со своей точки зрения, оба тем не менее приходили к выводу, что основной проблемой этих загадочных существ была недостаточная сенсорная чувствительность.

– Всё у них ограничивалось довольно развитым зрением и, вероятно, слухом. Совсем другое дело наша способность передавать сотни символов в минуту через простое прикосновение, через многочисленные тактильные бугорки и рецепторы на щупальцах. Конечно, никакие жесты костистых конечностей не могли сравниться с этим. А уж невозможность выразить простейшие эмоции изменением цвета кожи и вовсе выглядит ущербной. Страшно представить, к каким конфликтам может привести банальное незнание эмоций твоего визави. Дикость! Посредственная дикость! – так рассуждала Хава, видя, как Лука медленно синее, выражая своё полнейшее согласие, но постепенно теряя интерес.

Да, очевидно, визуальная составляющая была основой человеческой культуры, практически не использовавшей тактильного письма. Большая часть найденных текстов и изображений совершенно плоские

и не дают возможности получить информацию без использования глаз. Словно в очередной раз мысленно соглашаясь с Хавой, Лука покачал большой округлой головой.

Впрочем маны-человеки постепенно расширяли границы своей убогой анатомии посредством различных технических решений и приспособлений. Например, они научились сохранять то, что видят, чтобы потом показывать это своим соплеменникам. Такой способ передачи информации, разумеется, превосходил многие из доступных в живой природе. Секреты этой технологии ещё придётся разгадывать. Но именно с её помощью появились все эти картинки, которые сейчас в квадратной тёмной пещере рассматривали Марк и Лука. И именно из человеческой банки с закручивающейся крышкой, куда Хава спрятала своих рачков-светлячков, был сделан фонарь в щупальце Луки. Кто знает, какие ещё изобретения ноглавы смогут поставить на службу своему обществу? Не исключено, что они снова свалятся буквально сверху.

– Просто поставь сюда, – коротко велел Марк, чуть пихнув Луку, и тот молча поставил банку рядом с приятелем.

И пока Марк продолжал изучать свои цветные таблички, рассеянный взгляд Луки блуждал по помещению. Вскоре его внимание привлекла конструкция, закреплённая на потолке. Четыре плоские и длинные пластины, лучами, словно щупальца актинии, расходившиеся в разные стороны от центра. Лука задумался, протянул к одной из пластин свой щупалец и, толкнув её, сразу же проверил свою гипотезу. Да, конструкция вращалась. Слетевший ил, мелкими хлопьями стал падать вниз. На секунду оторвавшись от картинок, Марк недовольно посмотрел на своего напарника, который, по его мнению, снова занимался какой-то ерундой.

Однажды открыв вращение, маны-человеки регулярно использовали этот принцип в своих механизмах, где одни части крутились вокруг других. И это было явным признаком их технической культуры. Ведь по понятным причинам создать свободно вращающийся сустав на биологической основе довольно затруднительно. На такое способны лишь примитивные жгутиковые, крутящие своими маленькими хвостиками как заведённые. Более же крупным существам всегда нужно соединять свои члены связками, сосудами и нервами.

Для чего использовалась эта искусственная крутилка под потолком, Луке оставалось только гадать. Возможно, для перемешивания окружающей среды или чего-то подобного. Но однажды он уже видел такую штуку, хотя тогда и не сразу поверил, что имеет дело с созданием человеческих рук. Сооружение это было поистине огромным. Может, поэтому, а может, потому что со всех сторон покрывалось коричневатыми нитками глубоководных водорослей и раковинами моллюсков, оно уже не выглядело как сконструированный кем-то механизм. Только на расстоянии удавалось распознать большой, как гора, и вытянутый, как туловище гигантского кита, продолговатый силуэт. Сверху он ощепинивался широкой башней, напоминавшей акулий плавник. А сзади красовалась пара массивных лучистых крутилок, наподобие той, что Лука неосмотрительно тронул своим щупальцем. Впечатляющее зрелище. Впрочем, внутри этого левиафана обитало чудище, возможно, более страшное.

Каждое утро на башне-плавнике поворачивалась круглая ручка, открывалась плотная крышка и наружу из тёмных внутренностей вылезал семиногий Максимилиан. Это был очень старый и очень крупный

ноглав, хорошо известный своим плохим характером. Послужил этому то ли его почтенный возраст, то ли трагическая потеря щупальца, но соплеменники избегали общения с Максимилианом. А в случае если таковое и случалось, старались называть его просто Мак, дабы избежать опасного созвучия.

Лука был одним из немногих, кто навевывался к семиноному Маку. Сначала наблюдал, как тот обходил свою крепость, бережно очищая стены и отколупывая надоедливые раковины. А уж потом осмеливался подойти, хотя и не говорил ничего, а только смотрел за действиями старшего сородича. Мак явно замечал присутствие Луки, но не подавал виду, продолжая заниматься своим странным утренним моционом, а после так же безмолвно удалялся внутрь.

Вскоре методичность действий старого ноглава всё-таки дала себя знать. Большая часть вытанутой громадины оказалась освобождена от мусора и отложений и показала свой тёмный с небольшими коричневыми пятнами бок. В очередной раз наведавшись к Маку, Лука обнаружил того, зачарованно смотрящим на символы, проступившие на стене его убежища. Луке они были хорошо известны, поэтому, поборов страх, он подполз к старику и, схватив его за щупальце, прочитал вслух:

– Язь Арский.

Мак нисколько не вздрогнул. Казалось, что он и сам ожидал от Луки этого не очень-то тактичного жеста. Он даже не изменил своей окраски, а только отчётливо спросил:

– Ты умеешь читать?

– Да! – воодушевлённо подтвердил Лука. – Тут надпись на языке человека. Я изучаю их культуру.

– И что же она значит? – в вопросе семиноного Мака слышалась издёвка.

– Не знаю, – сразу поник юный собеседник.

– Это имя, – многозначительно произнёс Мак, выдержав паузу, как делают все старики, желая продемонстрировать свою мудрость и важность.

– Какое имя?

– Имя этого корабля.

– Корабля? – удивился Лука.

– Какой ты глупый, – без лишнего сантиментов заключил Мак. – Ты изучаешь человека, но даже не знаешь, что у них были корабли. Да будет тебе известно, что человеки строили разные машины.

– Это мне известно, – перебил старика Лука, но сразу же замолчал.

– Они двигались под водой, по воде и даже выше – над водой. Крутились внутри и снаружи, отгалкиваясь от окружающей среды за счёт... – Мак задумался, подбирая слово, чтобы выразить свою мысль, – внутреннего тепла. И если бы вы, исследователи, были чуточку посмелее и спускались в холодные низины, то тогда увидели... Там лежит очень много человеческих машин. Настоящие кладбища.

Слово «исследователи» старик произнёс с особым пренебрежением, поэтому Лука снова решился возразить.

– Мы не такие большие, как ты, Мак... Среда в низинах может раздавить.

– Это верно, – он самодовольно усмехнулся. – Моя мамаша отметала меня и братьев прямо внутри этой штуки. Тогда ей казалось, что это хорошее место. Внутри было так тихо, безопасно и в воду словно сочилось какое-то уютное тепло. Думаю, дело в нём. В этом внутреннем тепле.

– А другие твои братья? Они такие же большие? – поинтересовался Лука.

– В живых остался только я.

Лука предполагал, что после его неловкого вопроса разговор уже не продолжится, но Мак вдруг сам предложил то, о чём его юный собеседник не осмелился бы попросить.

– Хочешь посмотреть, как эта машина выглядит изнутри? Там тоже есть слова из букв.

Безусловно Лука сразу же согласился. В тот день он узнал очень много. Конечно, никакого загадочного внутреннего тепла в корабле не обнаружилось. По словам Мака, оно иссякло уже очень давно. Растворилось в пространстве. Но зато всё внутри было набито различными предметами, картинками и надписями. Новые сведения лавиной обрушились на круглую голову Луки. Маны-человеки, оказывается, не просто строили машины, наполняли их обезвоженными пузырями и могли перемещаться в водной стихии. Они ещё и изучили весь окружающий мир, сделав его подробные изображения. И хотя часто случалось так, что машины падали вниз, их вид долгое время безраздельно господствовал, подчиняя себе все виды сред.

Широко раскрыв глаза и рот, Лука с восторгом смотрел всё, что сохранилось внутри удивительного корабля, слушал увлекательные объяснения Мака. Но сам старик не разделял этих восторгов. Похоже, он был уже слишком уставшим и злым, чтобы по достоинству оценить те богатства, которыми обладал. По мере разговора он всё больше ворчал, а в его словах всё отчётливее звучала язвительная желчность и горькая никому невысказанная обида. Мак, по его же словам, давно избавился от восхищения перед человеками. В его глазах из благодетелей они превратились в расточительных и недалёковидных существ, развивших фантастические возможности, но не способных оценить последствия своих действий. Лука не был согласен, но не спорил со стариком, только завороченно слушал его истории, боясь лишь того, что тот замолчит. Под конец Мак и сам раскрыл тайну своего недовольства. В очередной раз немного помолчав, он вдруг спросил:

– А знаешь, как я стал семиногим?

– Нет, – ответил Лука, хотя имел на этот счёт несколько слухов и собственных версий: от нападения дикого хищника до неожиданного обрушения скалы.

– Я таким родился, – ответил Мак и, не прощаясь, бесцеремонно выпихнул маленького исследователя из своего убежища.

Лука не сразу понял смысл этой последней фразы. Уже значительно позже, обсудив всё с Хавой, он пришёл к выводу, что, возможно, семиногость семиного Максимилиана, как и его большой размер, была вызвана тем внутренним теплом, когда-то разлитым внутри подводного человеческого корабля. Похоже, эта особенность сделала старика изгоем. Или он сам так думал. Но даже потеря щупальца не казалась Луке слишком уж высокой ценой за возможность спускаться в тёмные глубины, черпая оттуда тайны и знания. Ещё несколько ночей после разговора с Маком ему снились величественные кладбища машин, колоссальные механизмы, бороздящие просторы, и сидящие внутри них маны-человеки, которых он никогда не видел.

Однажды, пробудившись от одного из таких ярких снов, Лука вдруг осознал идею, которой непременно должен был с кем-нибудь поделиться. Рассказав всё Марку и не получив в ответ ничего, кроме раз-

дражённного фиолетового скепсиса, он вынужден был вновь поползти к отшельничающей Хава. Впрочем, идея по своей дерзости и правда граничила с безумием. Пока Лука поднимался по залитому солнцем склону, он и сам почти что отказался от своей задумки. Поэтому, когда дело дошло до разговора, решил начать с вопроса:

– А что если они ещё живы? Там, наверху?

– Почти исключено, – после недолгих раздумий ответила Хава. – Все кости, с которыми мне доводилось работать, были такими древними. Да и этих ваших плавающих машин никто не видел. Думаю, все малы-человеки вымерли много веков назад, когда пришла большая вода.

– Но я смотрел карты... Изображения безводного мира. Очертания отличаются, но не похоже, чтобы средой было поглощено всё. Там, за границами мелководья, должно что-то находиться. Какие-то следы. Предметы... – увлечённо возразил Лука.

– Должно, – согласилась Хава. – Но как туда попасть? Безводная среда мгновенно убьёт тебя.

– А если взять с собой дыхательный аппарат вроде кислородных губок? Крабы выползают на сушу, им там вечно что-то нужно.

– Для этого у них есть дыхательные мешки, – Хава стала говорить медленнее, явно задумавшись. – Допустим... Можно попробовать вырастить для тебя из них нечто... Антилёгкое, заполненное водой... Нет. Всё равно это сушая ерунда. Твоё тело поддерживает водная среда. Обычно мы по привычке не учитываем её плотность, но, как ты знаешь, в низинах она может тебя раздавить. А там, в обезвоженном мире, ты останешься без поддержки и сможешь только валяться под весом собственного тела, как бестолковая морская звезда.

Неожиданно Лука так крепко сжал щупальце своей подруги, что та даже на мгновение пожелтела от боли.

– Слушай! – затараторил он. – На корабле человек семиногий Мак показывал мне одну штуку, а рядом небольшую книжку с картинками и текстом. Почти ислевшую, но я понял суть... Это что-то вроде герметичной гибкой раковины. Человеки надевали её, чтобы свободно ходить в нашей среде. Что если бы я залез в такую?

– Ты сохранишь воду, но у тебя всё равно нет костей, чтобы противостоять тяготению. Тебе понадобится экзоскелет, как у членистоногих. С мышцами и оголёнными нервами, чтобы управлять им... – Хава внимательно взглянула на своего собеседника, пытаясь угадать его идею. – Хочешь, чтобы я вырастила для тебя гигантского четырёхногого краба без внутренностей? На это уйдёт целый год...

Несмотря на то что этот разговор случился почти год назад, Лука помнил его почти дословно. И теперь, когда весь план уже близился к завершению, как же хотелось ему всё рассказать своему другу. Пока тот копается в своих архивах, рядом готовится настоящая высадка в чужой неизведанный мир! Интересно, куда денется весь этот его скепсис? Какой цвет примет его постная физиономия? А что скажет старый зануда Максимилиан, когда узнает, зачем на самом деле Луке понадобился водолазный костюм? Выход на сушу. Новые находки. Технологии. А может даже... Контакт! С ума сойти! Это вам не ползать в глубине среди гор металлолома!

Лука взял Марка за щупальце, чтобы наконец поделиться своими грандиозными замыслами, но вдруг ощутил передающийся по коже страх. На его друге и правда не было лица, а сам он стал весь каким-то светло-серым. Марк всё так же стоял в сгорбленной позе над цветными

пластинками и пристально смотрел на изображение. В ярких цветных квадратиках, перемежавшихся фрагментами текста, были запечатлены различные сосуды – широкие, высокие и плоские, – наполненные всяческим содержимым. Разноцветные жидкости и кусочки. Зелёные, явно растительные фрагменты, целые листья и небольшие стебли. Коричневые, красные, розовые и белые ломтики чьей-то плоти. По всей видимости, набор диковинных кулинарных блюд. Подобное Марк и Лука уже находили и знали о взыскательности человеков, постоянно придумывающих новые гастрономические сочетания. Но то, что Лука увидел рядом, заставило его содрогнуться. В широкой миске среди листьев салата, политые соусом, торчали щупальца. Такие же, как и у него самого.

– Ты вроде говорил, что мечтал бы с ними встретиться? – преодолев свою дрожь, прошептал Марк.

Лука молчал. Все его возвышенные романтические фантазии о загадочном человеческом мире, приносящем невиданные достижения, сейчас рушились одна за другой перед бездной незнания. Как же в действительности мало ему было известно об этих существах. Они населяли весь мир. Они меняли его. После них был потоп. И ещё один единственный жестокий и неумолимый факт. Для своих прежних богов ноглавы были всего лишь едой.

– Запомни всё, – так же шёпотом ответил Лука. – А лучше запиши. Но никому не говори! И я запишу. И не скажу. Никому не скажу! Пусть это прочитают... Но потом! Слышишь? Ещё слишком рано.

Сергей ЗЕЛЬДИН

Родился в 1962 году в станице Ярославской Краснодарского края. Работал стеклодувом, инкассатором, бизнесменом. Публиковался в журналах «Нижний Новгород», «Волга», «Новый берег», «Крещатик», «Дружба народов» и других.

Живет в Житомире, Украина.

СМЕРТЬ МУЗЫКАНТА

Полнокровная драма, будем так говорить, разыгралась в нашем трактире «Стоп-сигнал» у Преображенской заставы. В виде бандитской резни, жертвою которой пал музыкант, игравший на публику. Он приходил по вечерам и, пользуясь одобрением хозяина Скорина, удовлетворял культурные запросы пьющих. Он, будем так говорить, пал на боевом культурном посту, что, конечно, в мирное время, после окончания победоносной Гражданской войны, довольно обидно.

Смерть музыканта и вообще вещь несуразная. Даже на Диком Западе Североамериканских Штатов в ихних салунах висят специальные таблички: «Не стреляйте в тапёра, он играет как может!» Про это написал В. Гиляровский в «Муравье», ещё при царском режиме. И ведь не стреляют! Даже грубые ковбои или грабители почтовых поездов – и те понимают всю справедливость этого требования и никогда не разряжают своего кольта в маэстро, как бы неважно он ни брэнчал на пианине, не тренькал на банджо и не пиликал на скрипке. Потому как – искусство! Это они понимать могут. Ну, конечно, не без греха все, и время от времени кто-нибудь да пристрелит пианиста по пьяной лавочке, но это редко.

Что же теперь говорить о нашей драме, имевшей место не в каких-то Скалистых горах, а у нас в Москве, в приличном заведении по Альмову переулку? Да, к слову, ежели завеетесь, граждане, в наши палестины и возжелаете освежиться – милости просим! Уютный уголок, прямо тут, за водокачкой, в полуподвале, вход со двора. Сразу и увидите: «Стоп-сигнал». Номера над ним ещё, «Ливадия». И пивка свежего попьёте с раками, и цены довоенные – заходите, товарищи, не промахнётесь, верно говорю!

Нда-с. И вот в таком месте нашей красной Москвы, в самом, будем так говорить, центре – такой случай! Позапрошлой ночью! Это со вторника на четверг! То есть на среду, аккурат под тринадцатое декабря, День, так сказать, Андрея Первозванного, хотя это и поповский опиум. Эх-эх! На осьмом году нашей родной советской власти! Эх! – говорим мы и повторяем: эх! – это что же такое, граждане, происходит?

Да обидно-то то, что музыкант, убиенный грешным делом, был не каким-то там тапёром из Америки, а, будем так говорить, музыкантом от бога, мастером брэнчания и перебора, виртуозом балалаечной техники!

Какой артист в ём погиб, товарищи, ой, какой артист! И не передать! Да ведь и время, время-то какое, ах, какие времена у нас несозвучные, граждане! Одно слово: «НЭП»! Тут и партийному впору заскучать: за что боролись, за что страдали? Кровью истекали, некоторым образом, на колчаковских фронтах? Ась?

И, главное, быстро всё так! Ну, понятно, специалисты. Это у них облаву мильтоны сделали в «Трёх ступеньках», так они разбежались во все стороны, перекантоваться. Ну, двоих-то я сразу срисовал: один по кличке Бык, он у Папаши по «медведям» работник, сейфам по-нашему, а другой, Щиглик, так, шпанка, несурьёзный человек. Один раз предлагаю ему, честно-благородно, так и так, Петруша, передай кому след, жирный бобёр кассу держит у полюбовницы в Варсонофьевском... То есть что это я... Ерунду порю... Обмишулился, граждане! Я человек честный, благородный, старшой над услужающими, раньше в «Крыме» на Хитровом, а теперь здесь, в «Стоп-сигнале», руковожу, будем так говорить, коллективом, о душе молюсь да о милиции не забываю. Так-то-с!

А вот третий за ихним столом мне неизвестный был. Такой, из бывших, на юнкерка похож. Как его только жернова нашей родной революции не перемололи? Прямо удивительно. И этот третий буквально мне сразу не понравился. Антипатичный интеллигент. Явно по мокрому делу.

А дело было, значитца, так: тут вот я за стойкою стою, кассу подбиваю, тут артель ломовиков гуляет, там барышня ликёр из рюмочки пьёт – жёлтый билет у ей в полном порядке, можете даже не переживать; в дальнем углу, как водится, писатель волосатый сидит, быт революционного народа изучает, чтобы потом в повесть вставить, ну и так, мужички деревенские, к культуре приобщаются, да зимогор старый бродит, допивает, головы от селёдок со столов докушивает – мне не жалко, чего мне, не зверь, чай, не гидра.

Да-с. А тут, под стеночкой, под портретами Карла и Маркса, Климушка сидит, музыкант наш трактирный и наяривает, с разрешения хозяйина Скорина. Да так чисто играет, хоть в оркестру его сажай, в театр Мейерхольда – и «Эх, яблочко!», и «Белую армию, чёрный барон», и «Коробейников», и «Вдоль да по речке», и «Чу-чу-чу, стучат, стучат копыта», и особенно, конечно, свою любимую – «Светит месяц, светит ясный».

Только смотрю я, башкой крутит энтот жиган. Рожу дворянскую корсотит да чего-то своим говорит, а они его придерживают, отговаривают как бы. Я, конечно, бутылки тотчас попрятал, ром там, коньяк, марсалу, рюмки начал под стойку прибирать в ожиданьи мордобоя. Ну а такого, конечно, не ожидал, намного худшего.

А энтот, корниловец недобитый, руки их скидает, встаёт и идёт к Климушке. И вырывает у него балалаечку, трескает ею по шапке-ушанке и говорит змеиным голосом такое: «Если ты, – говорит, – хамская морда, ещё раз заиграешь свой гнусный “Светит месяц, светит ясный” – я с тобой, – говорит, – как Дартанян с гвардейцем кардинала!» Какой Дартанян? Армянин, наверное, залётный. Я их не знаю, знать не хочу и вам, товарищи, не советую.

И поворачивается уходить. А Климушку дёрнула нелёгкая в диспут вступить и аргумент выдвинуть. Ну, будем так говорить, намоканный он бывает, ближе к ночи, буквально до зелёных соплей, после двадцати-то рюмочек. От благодарных слушателей, ге-ге. А я что? Играет и играет. Ещё лучше после играет. Артисту многое прощается, жрецу Аполлона, опять же, вспомним тапёров из пампасов.

Да-с. И вот Климушка, кидает, стало быть, в спину этому деникинцу треушок свой пролетарский да и кричит, под одобрительный гул ломовых извозчиков: «Отлезь, гнида! В настоящее время все в своём праве! Я играл чего хотю и играть буду! Отпрыгнул моментально, контра недорезанная!»

Тут, смотрю, валеты бубновые, Бык с Щигликом, кинули червонца да на выход потянулись, не интересуясь допивать. А энтот, баринок, вернулся к Климушке, да улыбочивый такой, обходительный – такой, что я мальчику мигнул: за постовым, мол, Андрюшка, птицей лети. Да-с. А Дартанян приобнял эдак Климушку, шепнул ему на ушко да и пошёл из залы. А Климушка постоял в изумлении да и присел. Посидел да и на пол скovyрнулся. А грудя под полушубком вся в кровящи.

Ну! Все за шапки, ноги в руки – помогай бог! – и на двор, толкаясь в молчании.

А тут уже, конечно, и легавые набежали. Мать моя, милиция-трое-ручица. Тут я стою, понятой свидетель, тут хозяин Скорин потеет, а тут судебный врач говорит следователю, Багрову Егор Африканычу, кой ещё в сыскной части служил, самые очевидные вещи: так и так, мол, убитый молодой мужчина, лет двадцати шести – двадцати семи, смерть же причинилась посредством удара ножа в сердце. «Макар Онуфрич, – говорит Егор Африканыч, – как звали Орфея-то вашего?» Я, говорю, будем так говорить, насчёт никакого Орфея не знаю, а звали покойника Клим Чугункин, ни в чём таком не замечен, а просто играл на бала-лайке по трактирам. Они собрали улики да пошли, а Климушку в морг повезли, в последнее пристанище музыкантов. Ещё два хмыря бело-халатных его шмонали, на свет разглядывали: «Подходящий трупец, – слышу, говорят, – как раз Борменталю сгодится, Иван Арнольдичу, он уже двадцать раз спрашивал».

Да, вот она, тёмная изнанка медицины. Ну, чего меня не касается, того меня не касается. Пожил, знаю.

Вот какая драма из жизни разыгралась у нас в трактире «Стоп-сигнал» у Преображенской заставы и вот какая разница между нашими, будем так говорить, любителями музыки и ковбоями Дикого Запада.

Стихи по кругу

Валерий СУХОВ

Пенза

Из цикла «Красная рубаша. Стихи о Лермонтове»

* * *

И снова дождь в Тарханах,
И в дымке степь кругом.
И с колокольни храма
Плывёт волною звон.

Поэта отпевают
Молитвенно уста.
И в храме вспоминают
Распятого Христа...

Июльский дождь в Тарханах.
К теплу его прильнёшь –
Залечивает раны,
Шумит, как в поле рожь.

И вспомнится вдруг ливень
Тот – у горы Машук.
Что может быть «счастливей»,
Чем смерть его – без мук.

Да! Умерев на взлёте,
Так хорошо летать.
Душа без грешной плоти
В раю обнимет мать.

Парящую над бездной –
Архангел Михаил
Всем воинством небесным
От демона хранил...

Шумит с тоски осока.
И дремлет старый пруд.
А надо так немного –
Остановиться тут.

Под благовест рассвета
Сирень вся расцвела.

Душа под сводом sklepa
Покой не обрела.

Рубахи багряница
Горит во мгле зарёй.
И в вечность всадник мчится
Под тучей грозовой!

Петр РОДИН

Воскресенское, Нижегородская область

Радуга

Время – туча мгlistая,
Лето мне верни;
С помыслами чистыми
Троицыны дни.

Зелень. Пахнет ладаном.
Сладко, как в саду.
Свечи ставить надо нам,
С мамой в храм иду.

Избы деревенские,
Милые края!
Это Воскресенское –
Родина моя.

Благовест угором
Березняк носил.
За рекой над бором
Дождик потрусил.

Из Ветлуги радуга
Пригубила синь,
Перезвоны радостные:
«Дили-дон да динь!»

На всю жизнь я это
Сохранить хочу:
Троицыно лето,
Мамину свечу...

Валерий РУМЯНЦЕВ

Сочи

Хокку

Старые книги.
Время течёт со страниц.
Неторопливо.

* * *

Берег пустынный.
Запах реки и травы.
Станция «Детство».

* * *

Солнце пригрело.
Снег за окном потемнел,
Словно от горя.

* * *

Книга раскрыта.
Ветер листы тербит.
Некому больше.

* * *

Родник прорвался.
Вихрем вздымают песок
Тонкие струи.

* * *

Ветер стирает
Зайца следы на снегу.
Как милосердно.

* * *

На руку присев,
Стрекоза отдыхает.
Взгляд друг на друга.

* * *

В плащ завернувшись,
Ветру навстречу иду.
Жизни картина.

Елена КОЛЕСНИКОВА

Воронеж

* * *

Туча распускается лилово,
Источая запах дождевой,
За старухой шествует корова
По дорожке косенькой домой.

Писаны бело и крупно – словно
Мелом на раздавшихся боках –
То ли льдины в речке половодной,
То ли снеговые облака.

Пряслищем отколотым – над бором
Месяц то исчезнет, то блеснёт.
Молоко домой несёт корова,
Лето белопенное несет.

Часто мелет звезды крупорушка,
Смётаны – стожки грустят во тьме,
Взять бы – да и влезть корове в ушко
И в другое выбраться бы мне.

Оглянусь – повысинены дали,
Облаков побелены холсты,
И про горе – слыхом не слыхали,
И в глаза не видели беды.

Не мытьём, так катаньем – и снова,
Солнце с луга захвата с собой,
За старухой шествует корова
По дорожке косенькой домой...

Елена ЛЕБЕДЕВА

Выкса, Нижегородская область

СНЫ

Не бессонница неуютная
В полный диск голубой луны –
Извели меня мои мутные,
Беспощадно-дурные сны.

То мне снится, что мчится конница,
На пути всё сметая в дым.
Не укроешься, не схоронишься,
И заходишься криком немым.

То другое вдруг сновидение:
Чёрный дом, скрип гнилых половиц.
И глядит на меня наваждение
Из окошек пустых глазниц.

То приснятся палаты больничные,
Едким кварцем залит коридор.
Чьим-то голосом безразличным
Мне читается приговор.

Кровь из сердца ушла до доньшка
И колотит в тугие виски.

А душа моя – красно солнышко,
Разрывается на куски.

Или вот ещё сон с повторением:
Сыплет снег – ледяной порошок –
И следы на снегу сиреневом –
Это ты от меня ушёл...

Время не лечит

Слякоть сезонных простуд и депрессий,
Аптек и больниц бесконечных мытарства,
Таблетки, уколы – стало полегче.
Лечат лекарства,
А время не лечит...

В Божии храмы – без веры сердечной,
Мерим деньгами прощенье грехов
И на кануне горящие свечи.
Лечит любовь,
А время не лечит...

Меняем маршруты, задачи и встречи,
Думаем – выходы, нет, – тупики.
За болью боль, знак бесконечность.
Лечат стихи,
А время не лечит...

Сергей КУЛАКОВ

Ялта

Имя

Притихшая Таврида спит устало.
Журчат цикад недремлющих свирели...
На склонах, налепившись как попало,
Селенья спят, как дети в колыбелях.

Одни лишь мы не спим и так неспешно,
К безмолвным прикасаньям привыкая,
Летим во тьме бездонной и кромешной,
По-птичьи именами окликаясь.

К нам, точно кожа, имя прикипело,
И тесно с ним душа переплелась,
А помнишь время, как оно несмело,
Издалека едва касалось нас?

И, как пугаясь маленького тела,
Порой оно пыталось улизнуть,

Но вслед летели звуки неумело,
Чтоб имя дикое к себе вернуть;

Как вместе мы росли, как привыкали,
Как друг на друга злились, и опять
Мы с именем единым сплавом стали,
Который не разрушить, не разъять...

Пусть смертна плоть, но имена – живучи,
И образ наш хранят лишь имена.
Мы, именем обернуты певучим,
В грядущие уходим времена,

А здесь, среди диких скал и древних пиний,
Рождения подходит жданный час,
И человека пленают в имя,
Как пленали именами нас.

Сергей КОРЫТИН

Санкт-Петербург

* * *

Неописуемо богат
Закат в последних числах мая,
Как будто из незримых врат
Рассыпали цветы из рая...

Оливковый и золотой...
Чуть выше: красный, белый, синий...
О!.. Это флаг страны родной
Украсил склон Небесных Скиний!..

Россия – Родина – жива!..
Русь Горняя ей шлёт поклоны!..
И небо кажется иконой!..
И крепче нет того родства!..

Возвращенные имена

Евгений ЧИРИКОВ

Исполнилось 160 лет со дня рождения одного из самых известных писателей своего времени.

Евгений Николаевич Чириков родился в 1864 году в Казани в небогатой дворянской семье. Учился в Казанском университете на юридическом факультете, затем перешёл на математический факультет. За участие в беспорядках в 1887 году был исключен и выслан в Нижний Новгород. Испытывал влияние народнических и социал-демократических воззрений. Дважды арестовывался, жил под надзором полиции в Царицыне, Астрахани, Казани, Самаре, Минске. Студентом начал писать в провинциальных газетах. После первых литературных успехов переехал в Москву, затем с 1907 года жил в Санкт-Петербурге.

Октябрьский переворот не принял. В 1918 году отбыл в Ростов-на-Дону, где возглавил литературный отдел ОСВАГа (пропагандистский орган Добровольческой армии, а в дальнейшем – Вооруженных сил Юга России во время Гражданской войны), затем в Крым. В 1920 году выехал из Севастополя в Константинополь. В начале 1921 года перебрался в Софию, затем обосновался в Праге, где вместе с В. И. Немировичем-Данченко возглавил русскую колонию. Умер в 1932 году в Праге.

ТОВАРИЩ

Люди, как ночные бабочки – на огонь, летели со всех сторон на грубо сделанное чучело свободы и попадали в тюрьмы...

В это удивительное время тюремные замки были похожи на зверинцы, куда собирают все породы зверей со всех частей света, и потому в глухих стенах этих каменных мешков в эту пору великое и прекрасное человеческой жизни перемешивалось с ничтожным и пошлым, трагическое с комическим...

Вместе с вдохновенными борцами и апостолами новой жизни в тюрьмы попадали маленькие человечки, вместе с орлами – домашние гуси и курицы, вздумавшие полетать по-орлиному... Тюрьмы напоминали миниатюрные города: сидели в них люди всех сословий, званий и профессий, мужчины, женщины и дети...

В этом отношении N-ской тюрьме особенно посчастливилось: там, кроме обычных жителей – «завсегдатаев»: рабочих, учащихся и нелегальных, сидели: адвокат, две акушерки, солдат, священник, четыре зубных врача, гимназист, две телефонные барышни, парикмахер, инженер, несколько почтовых чиновников, редактор газеты, доктор медицины и доктор философии... Из редких экземпляров имелись: отставной генерал и грудной младенец...

Чтобы не портить репутации двух последних и не потерять, читатель, твоего доверия, я спешу пояснить: отставной действительный статский советник был проездом в городе, где его застигла железнодорожная забастовка, и очень скучал: однажды, прохаживаясь от нечего делать по улицам, он наткнулся на уличную процессию с красным флагом и пошел за ней, совершенно машинально подпевая на французском языке русской марсельезе; в ту же ночь в меблированных комнатах «Пальмира», где поместился, пережидая забастовку, действительный статский советник, был сделан обыск, и несколько человек были арестованы и увезены в тюремный замок; в числе арестованных оказался и действительный статский советник... Что касается грудного младенца, то он пока еще только сосал грудь у политической преступницы и потому разделял участь матери...

Орлы сидели в четырех круглых башнях, возвышавшихся по четырем углам тюремного здания, а преступники среднего и малого калибра – в одиночных камерах верхнего яруса... Тюрьма была большая, и в обыкновенное время там всегда имелось достаточное количество вакансий, но теперь было тесновато, потому что каждую ночь гулко стучала кованая дверь, и топот многочисленных ног, сопровождаемый лязгом ключей и засовов, давал знать о новой партии политических преступников.

Смотритель тюрьмы, добродушный старик с свирепым выражением военного лица, жалобно говорил кому-то по телефону:

– Положительно некуда!..

Но потом почтительно сгибался перед телефонным аппаратом, покорно говорил «слушаюсь» и шел готовить места, которые требуются в ближайшую ночь.

– С одной стороны, требуют изолировать, а с другой... одиночные камеры все заняты... Куда хочешь, туда и сажай... хоть к себе в спальню!.. – ворчал смотритель.

Как любезный и заботливый хозяин гостиницы для приезжающих, смотритель хлопотал, суетился, размещал и устраивал своих квартирантов... А квартиранты, большинству которых приходилось впервые знакомиться с тюремной жизнью, были нервны, прихотливы и наивны, – засыпали жалобами и претензиями: один не мог спать при свете, другой просил загородить парашку ширмами, третий требовал разрешения играть на скрипке.

– Что же у меня, Пале-Рояль, что ли? Вы в тюрьме, господа, не забывайте этого!..

Тюрьма переполнилась, а прилив новых преступников не прекращался.

– Я вынужден сажать по двое! – говорил смотритель в телефон.

– Сажайте по двое! Черт с ними! – отвечал сердитый голос.

Смотритель входил в камеру одинокого узника и говорил очень ласково:

– Вы – одни?

– Вы еще спросите: дома ли я... Станный вопрос!..

– Вы, если не ошибаюсь, доктор?

– Врач.

– Вот и отлично! – радостно восклицал смотритель и окончательно сердил этим одинокого узника.

– Что же тут отличного? Чему вы так обрадовались?

– Позвольте, не сердитесь!.. Посадил ведь вас не я... – ласково успокаивал смотритель. – У меня есть вам товарищ, тоже врач, хотя я должен сказать, что он врач зубной... Вдвоем вам будет повеселее...

Вот именно ввиду этого я и сказал – «отлично», а не то чтобы с намерением каким-нибудь... Против зубного врача вы ничего не имеете?.. А то другие есть, желающие... Многие тяготятся одиночеством...

Необычайный состав политических преступников выбил из колеи старого служаку. Только учащихся, рабочих и нелегальных он считал настоящими преступниками, и с ними он отлично умел держаться: сухо, корректно и начальственно.

– У меня такой порядок, – внушительно объявлял он таким арестантам, водворяя их в камеры, и ясно и категорично перечислял все правила жизни, что можно и чего нельзя. А теперь сидели почтенные люди, известные в городе, люди семейные и немолодые, с положением, со связями... С ними – как?.. Священник, например, с нагрудным крестом?.. Или генерал? Присяжный поверенный, женатый на дочери бывшего вице-губернатора... Уж теперь этот вице-губернатор-то не губернатором ли где-нибудь?..

И старик потерял тон в обращении с политическими преступниками: одного называл «господином», другого – «милостивым государем», третьего – по имени и отчеству. С некоторыми приходил здороваться за руку.

– Уж как мне сегодня было неловко, – жаловался смотритель жене.

– А что же?

– Да как же!.. Ночью привезли политического... «Примите арестанта!» Смотрю, – Иван Васильич! Расписываюсь, а руки трясутся... Мне неловко, и Ивану Васильичу, должно быть, совестно... Так бы сквозь землю провалился!..

В особенно затруднительное положение ставили смотрителя генерал и батюшка...

– В пятом номере – у меня действительный статский советник! – с гордостью говорил он жене.

– Может, не настоящий?..

– Видно ведь: и походка, и разговор... Хотя и в отставке, а все-таки... как бы там ни было, а генерал!..

– Что уж это! И генералов начали сажать!..

Генерала смотритель старался избегать: конфузился он перед генералом и чувствовал себя в чем-то виноватым. Но вместе с тем камера № 5 тянула его к себе, и трудно было пройти мимо этой камеры и не заглянуть в дверную форточку на генерала... И когда он смотрел таким образом на генерала, то на душе у него делалось грустно и думалось: «Все суета сует...» Однажды генерал потребовал к себе смотрителя. Смотритель попросил сходить помощника.

– Никаких помощников! Мне нужен сам смотритель! – настаивал генерал.

Пришлось идти самому. Старик поправил темляк шашки, покрутил усы и пошел.

– Мне необходимо получить пенсию... за три месяца... – строго заявил генерал.

– Придется выдать доверенность...

– Кому это? Не вам ли?.. Хм!.. Вы бы лучше смотрели за этим... домом: сырость, вонь, клопы, безобразие!..

Смотритель опустил глаза и виновато пожал плечами:

– Я несколько раз докладывал тюремному комитету... Не угодно ли вашему превосходительству перейти в другой... номер? Но тогда придется сидеть... т. е. жить вдвоем...

– С кем?

Смотритель начал вполголоса совещаться с надзирателем:

– Кто у нас в шестом номере?

– Там?.. Там этот... парикмахер там, ваше благородие...

– Не желаю! – громко заявил генерал. – Недоставало еще, чтобы вы меня посадили, с кухаркой!

– Я никого не сажаю, ваше превосходительство... Я исполняю...

– Прекрасно! Я вас не задерживаю!..

Смотритель пожал плечами, поклонился и вышел с таким ощущением, словно побывал не у политического арестанта, а у своего начальства, от которого получил неприятный выговор...

– Все на меня!.. Я несколько раз докладывал... Я исполняю свою обязанность, а кто сидит, – это не мое дело, – успокаивал себя смотритель, обходя арестованных и выслушивая их неудовольствия. Посетив преступного батюшку, он растерялся не меньше, чем перед генералом: сделал руки горсточкой, батюшка благословил его, и пришлось поцеловать руку политического преступника.

– И вы не имеете ли, ваше благословение, каких-нибудь претензий? – кротко спросил смотритель, глядя в землю.

– Не к властям предержажим, во грехе, во сраме и в беззакониях утопающих, а токмо ко Господу Богу все мои хвалы, моления и жалобы! – твердо ответил батюшка

– Я никого не сажаю, ваше благословение, я только...

– Так сказано в Св. Евангелии: блажени алчущие и жаждущие правды, яко тии насытятся!

Смотритель вздохнул и на цыпочках вышел от батюшки...

Некоторое время можно еще было комбинировать арестованных по положению в обществе, но скоро пришлось отказаться и от этого: одних куда-то увозили, других привозили, и скоро в большинстве камер одиночество сменилось товариществом в самых причудливых комбинациях: солдат очутился с батюшкой, парикмахер с редактором газеты...

– Положительно некуда! – с отчаянием говорил кому-то смотритель в телефон.

– Неужели еще привезут? – спрашивал помощник, желая выказать сочувствие своему начальнику.

– Пять политическим мужиков!.. Куда я их дену?! Еще пять... мужиков!

Долго совещались, как быть с политическими мужиками:

– Что же я, с генералами, что ли, буду их сводить? – сердился смотритель.

Решили рассортировать политических мужиков со студентами, рабочими и почтовыми чиновниками.

* * *

Генерал считал свое пребывание в тюрьме случайным недоразумением и ждал, что если не сегодня, то завтра перед ним извинятся.

– На каком основании я помещен в этот дом? – угрожающе спрашивал он смотрителя в первый день заключения.

– По параграфу двадцать первому... больше ничего не могу сказать...

– Закон, а не параграф? Я спрашиваю, по какой статье и какого именно закона?

– На основании параграфа двадцать первого охраны... больше ничего не могу сказать...

– А что там, в этом... вашем параграфе?

Оказалось, что по этому параграфу сажают в тюрьму таких людей, пребывание которых на свободе считают угрожающим государственному или общественному порядку... Недоразумение было очевидным; однако прошел день и другой, а никто не извинялся. Генерал потребовал лист бумаги и написал громадную жалобу прокурору. Горечь и бессильная досада мешали писать в почтительных тонах, и дерзость возмущенной души вылилась на бумагу в сильном пафосе при всей тактичности действительного статского советника. На четвертый день генералу принесли подписать бумагу: в этой бумаге ему объявлялось, что жалоба оставлена без последствий, а против действительного статского советника Анатолия Иванова Котикова возбуждено дело по обвинению его в оскорблении должностных лиц в деловой бумаге...

Пожилой, привыкший к услугам, удобствам, к чистому белью, к утреннему кофе со сливками и к тихой послеобеденной прогулке по бульварам, Анатолий Иванович невыносимо страдал от лишений. Полутемная, сыроватая камера с решеткой в окне, из которого был унылый вид на глухую стену, скверный запах из угла, где стояла парашка, жестяная лампочка, всегда мокрая от керосина, постель с жидким, пролежанным тюфяком и следами раздавленных клопов – приводили брезгливого и чуткого в смысле обоняния Анатолия Ивановича в отчаяние. Анатолий Иванович и так имел капризный аппетит, а тут совершенно потерял его... Не ел, не спал и всю ночь напролет ходил из угла в угол, бормотал что-то, пожимал плечами, останавливался посреди камеры и, заложив руки за спину, подолгу смотрел то на окно с железной решеткой, то на парашку.

– Хм! – произносил он и пожимал плечами.

Вызвав к дверной форточке дежурного надзирателя, Анатолий Иванович начинал разговор:

– Послушай, братец! Что же, долго еще меня будут держать?

– Не могу знать.

– Я требую мой собственный саквояж: там у меня одеколон и бритва...

– У нас нельзя этого. Хорошо еще, что вам ножик с вилкой дозволили... А бритву разве можно?

– Что же я, разбойник, что ли? Зарежу кого-нибудь?

– Зачем!.. Себя можете... А отвечать нам придется.

– Что же я, мальчишка какой-нибудь?..

– Не дозволено...

– В таком случае у вас тут парикмахер какой-то... Мне необходимо побриться: я вовсе не желаю делаться Навуходоносором...

– Ведь они, этот парикмахер – политический, а не то чтобы для бритья и стрижки... Для этого у нас есть уголовный... Только ведь вам, пожалуй, не подойдет: он, ежели – наголо кого, или под польку... Это которые – в каторгу, те наголо, а, например, почтовые чиновники, те под польку...

– Убирайся к черту! Наголо!.. Дурак...

На беду Анатолия Ивановича власти усумнились в его личности: казалось совершенно невероятным, чтобы действительный статский советник, хотя и в отставке, участвовал в уличных демонстрациях с красным флагом и пел революционные песни. Устанавливали личность по месту постоянного жительства Анатолия Ивановича, а жил он очень далеко, да и сношения были затруднены: железные дороги

не ходили, и почта с телеграфом не действовали... Кроме этого, в номерах «Пальмира», из которых был взят Анатолий Иванович, в одну с ним ночь был арестован какой-то молодой человек с предметом, который мог служить предполагаемой оболочкою для бомбы... Из расспросов номерной прислуги было установлено, что Анатолий Иванович и молодой человек одновременно, хотя и на разных извозчиках, приехали в «Пальмиру» и, проживая здесь, тщательно избегали друг друга, но иногда одновременно удалялись в мужскую уборную, где вероятно, и входили в общение между собою...

Шли дни, прошла уже неделя, а Анатолий Иванович сидел, и никто перед ним не извинялся. Анатолий Иванович писал жалобы разным высокопоставленным лицам, но толку никакого не получалось. Анатолий Иванович ослаб и похудел, и у него возобновились перебои в сердце... Каждый день его водили на прогулку, и походив полчаса в безмолвном дворике, со всех сторон окруженном высокими стенами, Анатолий Иванович возвращался с дрожащими ногами и с одышкой... Днем клопы спали, и этим спешил воспользоваться Анатолий Иванович: после прогулки он ложился подремать. Но со всех сторон постукивали в стены, словно где-то работали телеграфные аппараты, и это мешало отдаться глубокому сну: едва погрузившись в сладкую дрему, Анатолий Иванович вскакивал с постели, потому что ему чудилось, будто он лежит в своем кабинете и кто-то постукивает к нему в дверь.

– Войдите! – разрешал Анатолий Иванович, но никто не входил. Анатолий Иванович недоумевающим взглядом обводил свою камеру и, наталкиваясь на окно с решеткой и на парашку в углу, приходил в ясное сознание... И сон отлетал. Раздосадованный, он вставал с постели и, схватив медную солоницу, сердито стучал в стену, приказывая таким образом не беспокоить его. Но стуки продолжались. Среди арестованных ходили смутные слухи, что в пятой камере сидит генерал... Юные политические преступники в номерах четвертом и шестом догадывались, что сосед их, конечно, не настоящий генерал, а просто – нелегальный, с партийной кличкой «генерала». Соседи усиленно выстукивали: «Кто сидит?» Но таинственный арестант отмалчивался, и это еще более убеждало их, что рядом сидит человек серьезный, осторожный и значительный. «По какому делу?» – настойчиво выстукивали с обеих сторон, но ответа не было. Сосед слева прекратил стук: «Черт его знает, – думал он, – возможно, что посадили шпиона...» Но сосед справа, более пылкий и доверчивый, продолжал стучать даже после того, как получил наказание: лишился прогулки. После тщетных попыток вызвать на разговор, настойчивый гимназист попробовал завязать с соседом переписку. Однажды, убирая камеру Анатолия Ивановича, уголовный арестант-«парашник» бросил на постель свернутую в трубочку бумажку и подмигнул Анатолию Ивановичу. Долго Анатолий Иванович ломал голову, что бы могло значить это подмигивание, и догадался только тогда, когда случайно нашел на своей постели записку. Развернув бумажку из-под чая, Анатолий Иванович прочитал: «Товарищ! Завтра, когда меня поведут на прогулку, кашляйте: если вы “с.-р.” – один раз, если “с.-д.” – два раза».

– Хм! Ничего не понимаю, – прошептал Анатолий Иванович и сделал предположение, что, вероятно, они посадили шпиона и желают выпытать что-то... Это весьма возможно: посадили в тюрьму по ошибке, видят, что их положение весьма неудобное, ну вот и стараются выпытать что-нибудь противоправительственное... Напрасно! Он не мальчишка...

Ночью поминутно щелкала дверная форточка, и в отверстия за стеклом шевелился чей-то глаз. Это действовало на нервы Анатолия Ивановича и вызывало сердцебиение.

– Ну что ты, братец, смотришь? Это, наконец, не деликатно!..

– Приказано наблюдать.

– Что же тут интересного? И что я могу тут делать... предосудительного?

– В третьем году из этой самой камеры убежал один...

– Что же я, братец мой, фокусник какой-нибудь, факир? – говорил Анатолий Иванович, озирая свою клетку, и пожимал плечами.

* * *

Каждый день во время вечерней проверки, когда смотритель со стражей обходил тюрьму и самолично заглядывал в дверные дырочки, чтобы убедиться в целостности арестованных, Анатолий Иванович останавливал обход:

– Ну, разъясняется ли мое положение?

– Извините: ничего не могу сказать.

– У меня сердцебиение и опять катар желудка!..

– Можно пригласить доктора...

– К черту ваших докторов! У меня есть свой доктор... Тут издохнешь, и никому дела нет... Мне необходим чистый воздух, а тут черт знает что...

Анатолий Иванович терял самообладание и начинал топтать ногами. Тогда форточка в двери защелкивалась, и некому было слушать угрозы и требования Анатолия Ивановича. Он тяжело дышал, хватался за сердце, валился в постель и начинал потихоньку плакать. Соседи прислушивалась к крику, топанию ногами, а потом к слезам в камере № 5. Сосед слева думал: «Очевидно, это – не шпион: шпион не будет кричать на смотрителя и плакать... С другой стороны, серьезный партийный человек не заплачет... Вероятно, кадет какой-нибудь попал и распустил слюни». Юный преступник, сосед справа, делал самые мрачные предположения: «Несомненно одно из двух: либо здесь пытаются, либо объявили смертный приговор...» И сосед в шестом номере начинал кричать: «Товарищ! Что с вами?» – ботал в свою дверь и пел: «Мы жертвою пали...» И в тюрьме поднимался шум: крик, стук и пение. Анатолий Иванович пугался этого шума: «Уж не пожар ли?» – думал он и тоже начинал стучать в дверь, требуя немедленно открыть камеру...

– Палачи! – кричал сосед в шестом номере.

– Господа! Все благополучно! Все хорошо! Ничего не случилось! Все в добром здравии... Убедительно прошу успокоиться! – умолял смотритель, и с громадным усилием ему удавалось успокоить вышедшую из молчаливого равновесия тюрьму.

Однажды утром надзиратель отпер дверь камеры и пригласил Анатолия Ивановича следовать за ним в контору тюрьмы. «Вероятно, разъяснилось», – подумал он и глубоко и облегченно вздохнул. В сопровождении двух надзирателей, он шагал по коридору гордой походкой, и со стороны можно было подумать, что идет не арестант под конвоем, а начальник с двумя непосредственно ему подчиненными... Воспрянул дух, и вспыхнул прилив бодрости, только одышка сделалась еще сильнее от радости и ожидания. В груди Анатолия Ивановича трепетала, впрочем, не одна радость: там копошилась жажда мщения: как только

он выйдет на волю, так сейчас же махнет в Петербург... Он не оставит этого дела... Пусть знают, что не всякие ошибки прощаются...

– Сюда? – строго спрашивал Анатолий Иванович, когда по пути перекрещивались два коридора, и сопровождал свой вопрос небрежным жестом руки.

– Так точно!..

– Катакомбы какие-то...

Анатолия Ивановича привели в соседнюю с конторой комнату и предложили обождать. Он подошел к окну, но приблизился надзиратель и заискивающим шепотом попросил обойти и сесть к столу. Надзиратель сделал это из предосторожности, потому что «все-таки – окно, кто за них поручится»... а Анатолий Иванович принял это за придирку и рассердился.

– Прошу без замечаний!..

Стол был покрыт толстой промокательной бумагой, на которой оттиснулись шиворот-навыворот разные чернильные слова. Анатолий Иванович сел на один из трех стульев и начал от нечего делать разбирать эти чернильные иероглифы. Тикали где-то часы, доносились голоса разговаривающих вполголоса людей и звон шпор. Время тянулось томительно, и все хотелось потягиваться и позевывать, но Анатолий Иванович сдерживался, потому что как-то не шло это к положению действительного статского советника, перед которым сейчас будут извиняться. В полуоткрытую дверь из конторы заглядывали и пристально смотрели на Анатолия Ивановича два каких-то господина: один высокий, рыжеватый, а другой – низенький, блондин в дымчатых очках. Анатолий Иванович вспомнил, что он в ночной рубашке и в домашней курточке... Теперь следовало бы быть в сюртуке и держаться с ними похолоднее, а он – по-домашнему... Это досадно. Он поправлял воротник смятой рубашки, застегивал курточку, и опять его преследовали скверные запахи: ему казалось, что от одежды пахнет и керосином, и парашкой...

Звякнули шпоры, и в комнату вошли: жандармский офицер, высокий рыжеватый господин и два усатых унтер-офицера с нашивками на рукавах. Анатолий Иванович сделал официальное лицо, привстал и сухо поклонился... Офицер ответил на поклон и предложил садиться к столу...

– Благодарю вас, – сухо сказал Анатолий Иванович и зашумел стулом.

Офицер вынул из портфеля бумагу, исписанную и чистую, взял в руки карандаш и сказал:

– Вы называете себя Котиковым?

– То есть как это «называю»?

– Ну... а... одним словом, кто вы такой?

– Я ношу присвоенное мне при рождении имя и фамилию: Анатолий Иванович Котиков... действительный статский советник...

– Действительный статский советник... – медленно повторял, глядя в бумагу, офицер и, вскинув на Анатолия Ивановича странный взгляд, с чуть-чуть скользнувшей по лицу улыбкой, спросил, не помнит ли Анатолий Иванович, когда именно он сделался действительным статским советником... Вопрос был сделан таким тоном, в котором слышалось недоверие.

– Что же вы, кажется, изволите сомневаться, что я действительно действительный статский советник?

– Нисколько... Отчего же?... Конечно, очень редки случаи, когда действительные статские советники ходят с красными флагами, но... возможно... Не смею оспаривать.

Наступило тяжелое молчание. Офицер читал и пересматривал бумаги; рыжеватый господин скользил равнодушным взором по потолку, по стенам, по шкафам, мимолетом взглянул на Анатолия Ивановича и вздохнул. Анатолий Иванович поймал этот взгляд и вздох и принял их за сочувствие со стороны рыжеватого господина.

– Только в России возможны подобные безобразия! – вполголоса ответил он на сочувственный взгляд, а жандармский офицер улыбнулся и, не отрываясь от бумаг, заметил:

– Это вы относительно поведения действительных статских советников?.. Верно-с... Даже и при конституции это как-то странно... Не идет как-то... Скажите, генерал!.. Вы остановились в меблированных комнатах «Пальмира»?.. Один вы приехали туда или с кем-нибудь, хотя бы и на двух разных извозчиках?

И опять тон, которым было произнесено слово «генерал», оскорбил Анатолия Ивановича. Начались сердцебиение и одышка, и пропала способность вести себя тактично:

– Вот что-с, – Анатолий Иванович встал, унтер-офицеры встрепенулись и подвинулись ближе к Анатолию Ивановичу. – Вот что-с! Если вам не нравится, что я – генерал, то сделайте одолжение – зовите меня по имени или по фамилии, но издеваться над...

– Успокойтесь!.. Присядьте!.. Я вовсе не желал и не думал, что оскорблю вас, называя генералом...

– Да я и не позволю! – с хрипотой в голосе перебил Анатолий Иванович.

– Прошу не возвышать голоса...

Анатолий Иванович сел и начал тяжело дышать.

– Стратонов! Подай им стакан воды!..

В конторе притихли: слушали и глядели в щелочку... Анатолий Иванович выпил воды, несколько остыл, но равновесие духа не возвращалось уже к нему более...

– А-а... г. Котиков! В числе бумаг в вашем чемодане найдено письмо, с обращением к... какой-то Софочке... Письмо не окончено и писано вашей рукою...

– Будьте поосторожнее: не «к какой-то», а к человеку, который... вообще, я еще раз прошу...

– Я указываю только на обращение письма: «Неизменная Софочка»... В этом письме вы, между прочим, пишете: «Бог знает, когда мы увидимся. И нет ничего невозможного, что и никогда не увидимся». Не пожелаете ли объяснить, кто эта Софочка и что вы разумели вот в этих подчеркнутых словах: «Нет ничего невозможного, что и никогда не увидимся»?.. Почему не увидите?.. Что же, вы ехали на какую-нибудь опасную, что ли?

– Никаких объяснений не дам... я не желаю... Копаться в моей душе я никому...

– Ваше дело... Напишем, что от всяких объяснений вы отказываетесь...

– Пишите-с!..

– Стратонов!

– Здесь ваше высокоблагородие.

– Введите господина из башни № 4-й!..

Стратонов вышел на цыпочках, мягко позванивая шпорами, и скоро в комнату вошел молодой человек с грустным, немного ироническим лицом, с мягкой шляпою в левой руке. Два жандарма с обнаженными

шашками провели его вокруг стола и, поставив к свету лицом, как раз напротив Анатолия Ивановича, замерли, как собаки на стойке.

– Г. Береснев! Не знаком ли вам вот этот человек? – громко спросил офицер, облакачиваясь на руку.

– Не знаю!.. – глухо ответил молодой человек, играя мягкой шляпой.

– Не встречали?

– Не знаю! – повторил тот уже сердито...

– Ну, а вы, г. Котиков?

К удивлению Анатолия Ивановича, это приятное и грустное лицо молодого человека показалось ему удивительно знакомым. Где-то и когда-то Анатолий Иванович видел это лицо, положительно видел... Но где и когда?..

– Ну-с, г. Котиков!.. Посмотрите внимательнее! Не стесняйтесь, пожалуйста!.. Быть может, вспомните...

– Что-то такое... как будто бы... но сказать положительно не могу...

– Так что возможность знакомства вы не отрицаете?..

– Что-то такое... Но во всяком случае, мы – незнакомы...

– Что-то, как будто знакомы и во всяком случае незнакомы?..

– Я, г. офицер, никогда не лгал!.. Я считаю оскорбительным ваш тон... Я еще раз предупреждаю вас...

– Стратонов! Дай воды!.. Уведите г. Береснева в башню!..

Широко размахивая мягкой шляпой и как-то раскачиваясь, молодой человек с иронической улыбкой на лице прошел мимо Анатолия Ивановича и под звон шпор и лязг оружия сопровождающих жандармов скрылся за дверями. Офицер пристально смотрел в лицо Анатолия Ивановича, и тому сделалось неловко; он перевел свой взгляд в сторону и встретился с устремленным на него же взглядом рыжеватого господина... «Положительно нахальство», – подумал Анатолий Иванович и начал играть часовой цепочкой...

– Г. Котиков! Вы, конечно, не будете отрицать, что вот этот первый лист газеты «Ураган» № 32-й найден в вашем номере, в меблированных комнатах «Пальмира»?

– Не отрицаю... И нет никакой надобности...

– Тогда не сумеете ли вы объяснить, каким образом второй лист той же самой газеты, от того же года и числа оказался у лица, которое только что вам предьявлялось?.. Скажите, вы не знаете, что было завернуто в эту вторую половину 32-го номера газеты «Ураган»?..

– Я ничего не знаю и никаких объяснений давать... не желаю... Это какое-то издевательство... Это...

– Странно, странно... Разорвана газета на две части: одна половина в вашем номере, а в другую завернута оболочка бомбы!..

– Что такое?.. Какая бомба?..

– Обыкновенная!.. Самая обыкновенная... Только плохо их стали делать: большей частью не разрываются... – с равнодушным спокойствием говорил офицер и писал что-то...

Когда Анатолий Иванович понял весь ужас того недоразумения, в котором он тонул все больше и больше, когда дело дошло до бомбы, – в голове у него закружилось, потемнело в глазах, и приятная истома стала расплзаться по всему телу... Хотелось смеяться... Щекотало в сердце... И казалось, что покачиваешься на лодке и плывешь куда-то по чудному озеру, по голубому озеру, с бездонным синим небом... вместе с Софочкой... с молоденькой, задорной Софочкой...

– Дайте воды!.. Живо! Стратонов! Спрысни!..

Когда Анатолий Иванович очнулся, не было ни голубого озера, ни лодки, ни Софочки... Лицо у Анатолия Ивановича было мокрое, и курточка была мокрая... Несколько капель воды дрожали у Анатолия Ивановича в бороде... И он не мог понять, что случилось...

Офицера не было. В комнате с полотенцем на руке стоял смотритель, а у дверей – надзиратель и жандарм...

– Потрудитесь обтереться! – начальственно и строго сказал смотритель.

Теперь уже смотритель не верил, что Анатолий Иванович действительный статский советник, и нашел соответствующий тон в обращении с этим господином.

– Г. Котиков! Оправьтесь и сядьте вот на этот стул. Вот гребенка, – причешитесь!

Машинально Анатолий Иванович принял из рук смотрителя грубое серое полотенце и гребешок, отер лицо, причесался и каким-то кротким, послушным голосом слабо спросил:

– Что вы говорите? Сесть? Куда?

– Сюда, на стул! – холодно и строго ответил смотритель.

– Сяду... Ужасное сердцебиение...

Вошел из конторы какой-то человек с желтым ящиком и стал что-то делать, расположившись у подоконника... Появился треножник, черное покрывало... «Что он там делает? – думал Анатолий Иванович и слабо ухмылялся. – И что это за человек?» А потом ему сделалось опять нехорошо и было все равно...

Человек поставил желтый ящик на высокий треножник, покрылся черным покрывалом и стал топтаться ногами...

– Шевелятся и дрожат... они очень уж дышат... С выдержкой невозможно...

– Потрудитесь, г. Котиков, сидеть смирнее!.. Нельзя ли дышать послабже?!..

– Дышать? Хм... вот еще!.. Кому какое дело... Это странно... очень странно...

Смотритель начал шептаться с фотографом:

– Один амфас, один – в профиль, один – в $\frac{3}{4}$.

– Придется моментально... с магнием...

Появился откуда-то мальчишка и стал суетиться около подоконника.

– Смотрите, господин, в аппарат! Сюда! А вы, господин, не жмурьтесь!..

– Хорошо... извольте...

Фотограф схватился за гуттаперчевый шар, поднял руку, и вдруг раздался шум, похожий на выстрел, и все окружающее исчезло в невыносимо ярком свете, словно солнце вдруг упало с неба и застряло в комнате.

– Теперь потрудитесь повернуть голову вправо! Господин! Господин!

Фотограф подошел к Анатолию Ивановичу и бережно взял его за щеки, чтобы повернуть голову вправо. Но голова опустилась...

Анатолий Иванович умер...

В эту ночь в тюрьме было беспокойно: до самого света пели похоронный марш, а утром туда двинулась рота солдат в полной боевой готовности.

Публицистика

Наталья РУСОВА

Родилась в 1948 году в Горьком. Окончила отделение структурной лингвистики Горьковского университета; ученица известного российского языковеда Б.Н. Головина. Работала в Нижегородском государственном университете, позже – в Нижегородском педагогическом университете им. К. Минина. Кандидат филологических и доктор педагогических наук, профессор. Педагогический стаж – 46 лет.

Автор более двухсот научных работ, среди которых 4 монографии, 20 учебных пособий для школьников и студентов по русскому языку и литературе, а также книг «Тайна лирического стихотворения. От Державина до Ходасевича», «Тайна лирического стихотворения. От Гиппиус до Бродского», «Кванты русской культуры. Культурологический комментарий поэтических текстов», «Тридцать третья буква на школьном уроке, или 33 стихотворения Иосифа Бродского» и других. Лауреат III Всероссийского конкурса произведений для детей и юношества «Алые паруса» в номинации «Познавательная литература», а также конкурсов «Гуманитарная книга» (2009, 2010, 2013, 2016) в номинации «Филология».

Живет в Нижнем Новгороде.

ДАМА СДАВАЛА В БАГАЖ...

Страницы биографического тезауруса (фрагменты)*

Лес

Лес – неотъемлемая принадлежность русского Севера, на границе с которым, в Нижнем Новгороде, я родилась и прожила жизнь. Это лес не среднерусский, не тургеневский и не Льва Толстого (Спасское-Лутовиново и Ясная Поляна), лес, я бы сказала, более хвойный, тёмный и густой. Светлые берёзовые рощи попадаются и у нас, но много реже. Однако бог с ними, с ботаническими подробностями, не так уж они существенны. Важно то, что лес был неизменным спутником всех моих летних каникул и отпусков, а сейчас и вовсе во все времена года ждёт меня в десяти минутах ходьбы от дома.

Мой отец родом из Ветлуги, красивейшего городка Нижегородской области, раскинувшегося по крутому берегу одноименной реки и окружённого кольцом хвойных лесов. Нынче это роскошное пышное кольцо поредело и истончилось, но ещё радует глаз – не знаю, надолго ли. На многочисленных лесопилках работают вахтовым методом хваткие и бойкие приезжие, которых очень мало трогает судьба лесного мира Поветлужья.

* Отдельные главки первоначального варианта рукописи под названием «Тезаурус одной жизни» были опубликованы в № 2, 2022. Здесь – фрагменты из расширенной автором версии книги. – *Прим. ред.*

В общем, ветлужские леса я помню и люблю с детства. Мама же родилась в другом городе Нижегородской области, в Павлове-на-Оке, неподалёку от которого тоже раскинулись обширные лесные массивы, украшенные многочисленными озёрами с мягкой, обогашённой серебром водой. На одном из них – Свято-озере – родители долгое время, чуть ли не двадцать лет, проводили часть своего двухмесячного преподавательского летнего отпуска, располагаясь вместе со мной и младшим братом в просторной армейской палатке. Таких семей каждое лето собиралось 10–15 – целый палаточный городок, населённый детьми и взрослыми всех возрастов. Господи, до чего счастливыми были эти летние дни! У каждого из нас, детей, был свой любимый лесной уголок, свои секретные грибные и ягодные заповеднички, свои прогулочные маршруты. Для всевозможных игр строились навесы и шалашики, девочки наряду с мальчишками ловко взбирались на раскидистые сосны и берёзы.

В хорошую погоду на большой поляне вечером устраивался коллективный костёр, хворост для которого мы кропотливо собирали по лесным окрестностям. Чего только не пели вокруг гудящего пламени, и хором, и соло, каких только стихов не читали, хохотали и задумывались над самыми разными байками. Время гитар и транзисторов ещё не наступило – чистая голосовая музыка. Баян, впрочем, был.

Не могу не сказать о такой немаловажной вещи, как воспитание бережного отношения к природе – лесу, воде, земле. Нечего и говорить, что под мусор выкапывались глубокие продолговатые ямы в определённых местах (их закапывали последние отъезжающие), что рубить свежие деревья на дрова было просто невыносимо – только сушняк, хворост, упавшие стволы. Мало того: в лесу нельзя было выбросить даже конфетный фантик, не то что окурки или, упаси боже, консервную банку. А дорожки между палаток мы каждое утро тщательно подметали.

Нынешнее отношение к лесу, реке, озеру меня просто убивает. Доходит до того, что, отправляясь из нашего коттеджного посёлка на прогулку, иногда беру с собой объёмистый мусорный пакет. Это неуважение к собственному месту жизни, эта неразвитость и тупость души, этот махровый эгоизм и эгоцентризм повседневного разобщённого бытия иногда приводят в отчаяние – ведь рядом подрастают дети.

Но лес – лес вечен. Хочется в это верить. Он не только врачеватель души и тела, не только постоянный собеседник и утешитель, он ещё и стимулятор интеллекта, творчества, спокойной, отстранённой и объективной оценки собственного труда. Лес воспринимаешь и *en masse*, и как сплочённый коллектив разных индивидуальностей – деревьев. Во время лесных прогулок мне часто хотелось переиначить строки Пастернака: «На свете нет тоски такой, / Которой снег бы не вылечивал», поставив «лес» вместо «снега».

Словом, лес давно стал верным, постоянным и надёжным другом, неотъемлемой частью моего внутреннего мира. Неудивительно, что я питаю пристрастный интерес ко всем его изображениям – живописным и словесным. Признанным поэтом леса считается И.И. Шишкин, и по праву – лес на его полотнах активное действующее лицо, двигатель сюжета. Замечательно написал об этом Александр Генис в своих знаменитых «Фантиках», разбирая «Утро в сосновом лесу»:

Людям здесь и в самом деле не место – на картине его для них просто нет. Лес начинается, как поэмы Гомера: *in medias res* (с середины дела. – *Ред.*). Выпадая со стены на зрителя, пейзаж не оставляет ему точки зрения. Таким, обрезанным

сверху рамой, мы бы увидели лес, глядя на него сквозь амбразуру дзота. У нижнего края ситуация хуже. Наткнувшись на границу иллюзии с реальностью земля, не выдержав напора, вздыбливается, опрокидывая старую – царскую – сосну. Обнажённые, выдранные с мясом корни, переломленный в поясе ствол, бурая увядшая крона – мрачная сцена лесной катастрофы. Её свидетели – другие сосны – составляют мизансцену, удивляющую выразительностью позы и жеста. Одни отшатнулись, будто в ужасе, другая, в центре, напротив, остолбенела от случившегося. Те, что сзади, тянутся из тумана, чтобы узнать подробности. Каждая не похожа на других, да и на себя-то – не очень. Индивидуальность дерева схвачена с той почти шаржированной остротой, которая позволяет ему дать имя или хотя бы кличку. Сосны, конечно, того заслуживают...

Шишкинский лес в моём восприятии иногда слишком самодостаточно, слишком заслоняет человека. У Шишкина лес – герой, но не собеседник. Собеседником лес становится... ну, скажем, на полотнах Коро. Из пейзажистов в нашем русском XIX веке мне ближе Фёдор Васильев, с его удивительным «Мокрым лугом», каждая травинка которого адресуется лично к тебе.

Не счесть явлений леса в русской поэзии. Любимейшими стали разящие своей точностью «лесные» строчки Пушкина, где и весна («Ещё прозрачные, леса / Как будто пухом зеленеют...»), и осень («Роняет лес багряный свой убор...»), и зима, которая «пришла, рассыпалась; клоками / повисла на суках дубов...») – и многое, многое ещё. Знаменитое бунинское

Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Весёлой, пёстрою стеной
Стоит над светлою поляной...

настораживало некой конфетностью. Хотя красиво, конечно. Некрасовское

Мне лепетал любимый лес:
Верь, нет милей родных небес!

огорчало небрежной неточностью: «лепетать» лес просто не может. Он может шептать, гудеть, шуметь, ворчать... Но лепетать ему не по чину – с его мощью, объёмом, ростом.

Эпический портрет русского леса в одноименном романе Л.М. Леонова не мог не завораживать. Со временем, однако, почудилась в нём некоторая натужность и слишком узкая, заранее алгоритмизированная аллегоричность. Гораздо естественнее, проще и ближе выписан наш северный лес П.И. Мельниковым-Печерским («В лесах» и «На горах»), у которого он – привычное место жизни, со всеми её горестными и радостными событиями.

А в 2006-м я прочитаю пронзительные строки Сергея Гандлевского, сравнившего лес – ни больше ни меньше – с собственной жизнью и поставившего своего любимца на первое место:

...И сам с собой минут на пять вась-вась
Я медленно разглядываю осень.
Как засран лес, как жизнь не удалась.
Как жалко леса, а её – не очень.

«Мне нравится смотреть, как я бреду...», 2006

Словом, как писала я в одном из первых своих детских стихотворений: Люблю я лес! За что – не знаю...

До конца не знаю этого и до сих пор. Спасибо, мой дорогой!

Культура

Насчитывают больше 600 определений понятия культура...

Из научной статьи

В своё время я посвятила много усилий терминоведческим исследованиям, и в плоть и кровь вошло ощущение, знакомое многим терминологам: самое опасное для термина – это, во-первых, многозначность и, во-вторых, неопределённость значения. Но почти вся гуманитарная и общенаучная терминология отличается именно этими качествами, являясь, тем не менее, той лексикой, которую люди в наше время используют практически повседневно. Вспомним, как часто мы повторяем слова *сознание, бытие, вера, реальность, игра, знак, образ, цивилизация...* Культура в этом ряду стоит едва ли не на первом месте, и, что немаловажно, это концептуальное понятие в нашем бытовом сознании и речи всегда воспринимается с позитивной этической окраской: культура – это хорошо, это плюс, это капитал, помощь и советчик, а культурный человек заведомо лучше некультурного. В сегодняшнее время волны нового варварства вздыбились и не собираются опадать, настроение тревожного ожидания вновь овладевает Россией, Европой, Америкой, и невольно потянуло к очередному осмыслению привычного и известного.

Один из самых любимых мною словарей, Oxford Languages, трактует культуру, по своему обыкновению, кратко, понятно и достаточно точно:

1. Совокупность достижений человечества в производственном, общественном и духовном отношении.

2. То же, что культурность: «человек высокой культуры».

Большая советская энциклопедия вносит отчётливую ноту с юности знакомого моему поколению исторического материализма:

Культура есть уровень развития общества и человека.

Википедия, как ей и положено, пытается объять необъятное; по её мнению, культура – это:

– человеческая деятельность в её самых разных проявлениях, включая процессы самовыражения, самопознания, накопления навыков и умений;

– проявление человеческой субъективности и объективности;

– совокупность форм человеческой деятельности;

– набор правил определённого поведения.

Редкие умницы рожают необычные, но великолепные определения; так, Ю.М. Лотман считал, что культура сводится к «генетически ненаследуемой информации в области поведения человека». Латинское *cultura* напоминает нам, что первоначально речь шла о возделывании, позднее – о воспитании, образовании, развитии... Словом, неудивительно, что культура как таковая является предметом изучения десятков наук.

Что мне бросается в глаза при обзоре вышеприведённой многозначности? Культуру можно воспринимать как объект (нечто накопленное, реально воплощённое, из которого постоянно черпаешь и которое можно обогащать новыми вкладами и прибавлениями), процесс

(овладение соответствующим богатством, обращение с ним и дальнейшее умножение его) – и качество (субъекта, освоившего хотя бы часть помянутого богатства). Кстати, слово «богатство» пришло мне в голову по совершенно определённой причине: вступая в комсомол, мы обычно знакомимся с речью Ленина «Задачи союзов молодёжи», которую он произнёс 2 октября 1920 года на III Всероссийском съезде Российского коммунистического союза молодёжи, призвав эту самую молодёжь «учиться, учиться и учиться». Тогда и прозвучала знаменитая, многожды цитированная сакраментальная фраза: «Коммунистом можно стать лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество».

Высказывание хлёсткое, максималистское, заманчивое, но призывающее явно к нереальному. Однако запоминалось надолго.

Иногда я предлагала друзьям и знакомым ответить на такой шуточный вопрос: какая категория – объект, процесс или качество – прочнее всего ассоциируется у вас с понятием «культура»? И неизменно меня поражало, что реже всего в ответах встречался «объект». Оказалось, что в повседневном восприятии культура – это качество! Реже – процесс. Иногда – источник. Любопытно, правда?

И ещё об интуитивном представлении среднего человека об объёме интересующего нас понятия. Входит ли в культуру наука? – Ответ: пожалуй, нет. Техника? – Нет. Религия? – Сомневаюсь. Литература и искусство? – Да! Симптоматична также вошедшая в нынешний интеллектуальный обиход дифференциация культуры и цивилизации, причём под последней обычно понимается конкретная ступень общественного развития и материального производства. Цивилизация с нравственностью не связана, пожалуй, никак, а вот культура с ней соединена неразрывно.

В сухом остатке для личного пользования у меня откристаллизовалось следующее: культура – это та часть выработанных человечеством богатств, которая имеет непосредственное отношение к формированию, развитию и социализации личности; плюс умение обращаться с этими богатствами; плюс личностные качества, обеспеченные общением с ним.

Подходит ли к культуре эпитет «национальная»? Что ж, наверное, как и всякое проявление человеческого творчества, она несёт на себе соответствующий отпечаток. Но главное в ней другое – общечеловеческое, то, что сближает, а не разъединяет. Сам язык сопротивляется раздёргиванию культуры по национальному признаку. Согласимся, нелепо звучит: *русский культурный человек, он культурен по-английски... Человек французской культуры* – даже такое словосочетание несколько режет ухо. Именно в мире культуры народам легче всего, «распри позабыв, в великую семью соединиться» (А.С. Пушкин. «Он между нами жил...»).

Поскольку вся моя профессиональная жизнь была связана с образованием, оно, его задачи, система и методы продолжают живо меня волновать. И цель современного образования я бы сформулировала так: формирование Человека Культурного. Не грамотного, не умелого, не знающего... Культурного. В этом эпитете содержится не только интеграция трёх предыдущих, но также явственная этическая нота.

«Бескультурье» в русском языке издавна соседствует с «дикостью» и «варварством», и, стало быть, культура служит противоядием от них. Или может послужить...

Вспоминается любимая поговорка моего отца, которую он часто повторял, когда что-либо (или кто-либо) ему особенно нравилось: «Культура! А где культура, там и прогресс...»

Литература

Собственный пожизненный роман с художественной литературой я описала в воспоминаниях «Книги, годы, жизнь», само название которых свидетельствует о первостепенности художественного слова в моём существовании. Там я признавалась:

«Литература была и осталась моей страстью, это главное, что продолжает меня волновать – кроме судьбы сына. И эмоции мои на сегодняшний день идут в основном от природы (которая сейчас, к счастью, мне доступна в своей первозданности), от людей (по-прежнему невероятно мне интересных) – и от книг, книг, книг... Боже мой, сколько счастья пришло ко мне от книжных страниц. Столько не было даже от путешествий, даже от живописи, даже от науки...»

Из необозримого множества высказываний о литературе сейчас вспоминается, во-первых, пылкое и так близкое мне восклицание М.Е. Салтыкова-Щедрина: «Лично я обязан литературе лучшими минутами моей жизни, всеми сладкими волнениями её, всеми утешениями»; во-вторых, великолепное по неожиданной точности и краткости определение Х.Л. Борхеса: «Литература – это управляемое сновидение» и, в-третьих, укор, брошенный В.В. Розановым в лицо расчётливым писакам и неудачливым графоманам: «Души в вас нет, господа: и не выходит литература».

Математические дисциплины, освоенные в университете на отделении структурной лингвистики, спровоцировали меня на построение нескольких формул, фиксирующих соотношение «литература и жизнь» – то самое, которое на протяжении веков волновало филологов и любителей чтения. Если использовать знакомый со школьных лет аппарат неравенств, то получим следующий незамысловатый ряд возможных соотношений Л (литературы) и Ж (жизни):

$$a) Л = Ж;$$

$$б) Л < Ж;$$

$$в) Л > Ж.$$

Полное тождество литературы и жизни (а) часто испытываешь в раннем детстве; вспомним нашу собственную веру и веру наших детей в сказочные чудеса, до интимности близкие и причудливо развивающиеся отношения с полюбившимися героями, а также простодушное отторжение не нравящихся страниц: «Про неправду всё написано!»

По мере взросления подавляющая масса читателей убеждается в справедливости неравенства (б), что вполне естественно и вроде бы очевидно. Сборнички стихов и пухлые эпопеи, домашние и государственные библиотеки, всевозможные клубы и общества книголюбов, дискуссии о сенсационных новинках остаются частью жизненного процесса, и далеко не самой важной.

И только для некоторых, весьма многочисленных представителей человеческого рода – идеалистов, романтиков, поэтов, страстных филологов – истинным становится неравенство (в).

Когда вспоминаешь частое сравнение поэзии (и художественного слова в целом) с пророческим, спасительным, утешающим сном, то становится понятно, как много оскорблённых и униженных действительностью находят прибежище и исцеление, погружаясь в книжные миры. Для них соотношение (в) становится истинным хотя бы временно – и слава богу.

Не в этом ли полунаркотическом уходе от реальности (в которой тебе ничего не удаётся изменить) кроется одна из причин характеристики СССР как «самой читающей страны мира»? Стремительное исчезновение ласкающего наше самолюбие мифа во многом обусловлено вторжением грубой действительности, заставившей брать свою судьбу в собственные руки – и действовать этими руками.

В построенных выше формулах мне стало не хватать третьей величины – высшего, непознаваемого, вечного начала. Бог? Вечность? Всевышний? Космос? Пусть каждый выберет нечто близкое собственному мировоззрению. Недаром Л. Камюэнс утверждал, что «Поэзия есть Бог в святых мечтах земли», и Василий Андреевич Жуковский, переводивший на русский язык поэму о великом португальце, считал эту мысль «математически справедливой».

Поэзия, проза, нон-фикшн

Образование, которое мне довелось получить, не назовёшь филологическим, скорее оно прикладное лингвистическое. Профессиональная судьба, однако, сложилась так, что литературоведению я посвятила довольно много усилий, даже составила терминологический словарь-тезаурус «От аллегории до ямба» и долгие годы занималась методикой преподавания литературы. При всём при том опыт собственного чтения привёл к любопытному убеждению: самое крупное внутреннее деление художественной литературы осуществляется не по литературным родам (эпос, лирика, драма) и тем более не по жанрам (роман, поэма, рассказ, ода...); внутри словесного художественного пространства в нынешнюю эпоху мне видятся три области: поэзия, проза и нон-фикшн, главным же критерием их дифференциации служит способ построения художественного образа. Основной единицей образа в поэзии является слово, в прозе – событие, в нон-фикшн – единица документированной реальности.

Всем очевидная пропасть между поэзией и прозой обусловлена, как известно, ритмом. Именно теснота (по выражению Ю.Н. Тынянова) и регулярная повторяемость ритмических рядов сосредоточивает внимание читателя на отдельном слове и составляющих его звуках. Эти последние могут даже приобретать собственную цветовую окраску и иные причудливые характеристики. Помните «Гласные» Артюра Рембо?

А – чёрный; белый – Е; И – красный; У – зелёный.

О – синий: тайну их скажу я в свой черёд,

А – бархатный корсет на теле насекомых,

Которые жужжат над смрадом нечистот...

Перевод Е.Г. Бекетовой

А Маяковский делился наблюдениями над своими любимыми согласными:

Громоздите за звуком звук вы и вперёд,
 поя и свища.
 Есть ещё хорошие буквы:
 Эр,
 Ша,
 Ща.

«Приказ по армии искусства», 1918

Ритмическое выделение заставляет вглядываться и вслушиваться также в морфемную структуру слов, и «кирпичиками» образа под пером поэта становятся приставки, корни, суффиксы:

Рас-стояние: вёрсты, дали...
 Нас расклеили, распаяли,
 В две руки развели, распяв,
 И не знали, что это – сплав

Вдохновений и сухожилий...
 Не рассóрили – рассорíли,
 Расслоили...

М. Цветаева. «Рас-стояние: вёрсты, мили...». 1925

Изумляет роль обычного суффикса -к- в знаменитом лирическом отступлении о женских ножках в пушкинском «Онегине». «Забалтываюсь» о юношеских любовных приключениях, поэт неизменно употребляет слово «ножки», вспоминая «ножку Терпсихоры» то «под длинной скатертью столов», то «весной на мураве лугов». Но вот прихотливая дорожка воспоминаний о лёгких связях и победах приводит Пушкина к встрече с женщиной, которую он действительно полюбил, долго и мучительно помнил, – и суффикс -к- исчезает:

Я помню море пред грозою:
 Как я завидовал волнам,
 Бегущим бурной чередою
 С любовью лечь к её ногам!
 Как я желал тогда с волнами
 Коснуться милых ног устами!

Что говорить, дело не только в суффиксе. Но свою роль играет и он.

Ожидание рифмы, ожидание и поиск слова с заранее определёнными формальными, внесмысловыми характеристиками (такими, как число слогов, ударение, гласные и согласные, составляющие окончание) обеспечивает неожиданность и нестандартность ассоциаций, которые вызывает удачно найденная рифмовка. Как заметил Иосиф Бродский в своей Нобелевской лекции, «...порой с помощью одного слова, одной рифмы пишущему стихотворение удаётся оказаться там, где до него никто не бывал, – и дальше, может быть, чем он сам бы желал».

Благодаря тому количеству внимания и умственной энергии, которое при добросовестном чтении поэзии уделяется почти каждому отдельному слову, раскрываются и активизируются лингвистические, музыкальные и ассоциативные способности читателя. Нам часто случается машинально напевать любимые строчки, отнюдь не положенные кем-то на музыку. Из живописных жанров с поэзией легко коррелируют

портрет, натюрморт, пейзаж, каждый из которых обдаёт зрителя эмоциональной волной определённого настроения. Словом, поэзия прежде всего учит нас чувствовать и ловить нестандартные ассоциации.

Даже принимая во внимание своеобразную ритмическую организацию, присущую хорошей прозе, никак не скажешь, что единицей построения образа в последней является отдельное слово. Предложение, абзац, эпизод будут ближе к истине, и перечисленные фрагменты текста немыслимы без событийной составляющей. Микро- и макрособытия – основа прозы, причём повышенным художественным потенциалом отличаются те из них, которые так или иначе взламывают повседневный обиход. Именно поэтому от автора «проза требует мыслей и мыслей», по известному замечанию Пушкина, да и у читателя аналитические размышления чаще всего провоцируются событийным рядом и его причинно-следственной структурой.

Иногда мне кажется, что микрособытия должны происходить едва ли не в каждой фразе качественной прозы, даже внутри пейзажа или портрета. Вспомним хотя бы знаменитое описание внешности Печорина в «Герое нашего времени», насыщенное живыми противоречиями:

...О глазах (Печорина. – *Н. Р.*) я должен сказать ещё несколько слов.

Во-первых, они не смеялись, когда он смеялся! – Вам не случалось замечать такой странности у некоторых людей?.. Это признак – или злого нрава, или глубокой постоянной грусти. Из-за полупущенных ресниц они сияли каким-то фосфорическим блеском, если можно так выразиться. То не было отражение жара душевного или играющего воображения: то был блеск, подобный блеску гладкой стали, ослепительный, но холодный; взгляд его – непродолжительный, но пронизательный и тяжёлый, оставлял по себе неприятное впечатление нескромного вопроса и мог бы казаться дерзким, если б не был столь равнодушно спокоен.

Макрособытия складываются в фабулу и сюжет, и событийная канва облекает в художественную плоть так необходимый прозе конфликт – столкновение и противоборство изображённых на её страницах характеров и обстоятельств.

Если поэзия способна изменить наш эмоциональный тонус, поменять окраску настроения, заставить по-другому прочувствовать события собственной жизни, то проза зачастую, как на ковре-самолёте, уносит нас в иной, вымышленный мир, схожий или, наоборот, не схожий с накопленным жизненным опытом. Порой это перемещение оказывается необходимым и целительным, приближаясь по силе воздействия к наркотику. Вдумчивое путешествие по открывающимся на книжных страницах мирам формирует из нас стратегов и тактиков, помогает принимать ответственные решения и прогнозировать их последствия. Кстати, схожим образом «путешествуешь» по жанровой живописи.

Значение термина non-fiction (нон-фикшн) до сей поры не устоялось. Если следовать буквальному переводу с английского, это попросту «невывысел», объединяющий в себе безбрежное количество научно-популярной, справочной, политической, исторической литературы, а также мемуары, дневники и эссеистику. Разумно было бы несколько сузить объём понятия и подразумевать под нон-фикшн, или документальной прозой, особый литературный жанр, для которого характерно построение сюжета исключительно на реальных событиях. Я бы даже

предложила для обозначения так популярного нынче сплава художественного и документального повествования термин «интегративная проза». Соответствующие тексты вовсе не лишены образной структуры, и базовыми элементами её построения служат единицы задокументированной реальности – факты, детали, подробности, речевые реплики, фрагменты документов, цитаты...

Интересно, что границы массовых читательских предпочтений проходят именно по охарактеризованным выше линиям. Чаще слышишь высказывания типа: «Обожаю поэзию!», «Нет, меня всё-таки больше привлекает проза», «Вы тоже предпочитаете мемуары или документалистику?» Гораздо реже раздаются категорические заявления: «Читаю только короткие рассказы», «Замирает сердце от элегий», «Очерки всё-таки моё любимое чтение».

Что до меня, то мне одинаково дороги все трое: поэзия, проза, нон-фикшн.

Живопись

Среди моих пристрастий в искусстве на первом и главном месте всегда стояла литература, пожизненный роман с которой продолжается и, надеюсь, ещё далёк от развязки. И так же устойчиво, с таким же постоянством на втором месте остаётся живопись. Свидетельством этому – огромная коллекция альбомов на прогибающихся под их неподъёмной тяжестью книжных полках, непременно посещение художественных музеев во всех городах, куда забрасывала тяга к путешествиям, и незатухающий интерес к разнообразным выставкам живописи и графики. Одно время я даже пробовала коллекционировать почтовые марки с репродукциями известных мастеров, однако быстро к этому занятию охладела: трудно и как-то бессмысленно всматриваться в крохотные цветные прямоугольники.

Первой жанровой любовью стал портрет. Поначалу очень нравилось разыскивать разные, в том числе и малоизвестные, изображения любимых авторов. Кто только не пытался запечатлеть, скажем, таких моих любимцев, как Пушкин и Ахматова! Знаменитые прижизненные изображения поэта – гравюра Е.И. Гейтмана (1822), представляющая Пушкина-юношу, портреты кисти В.А. Тропинина и О.А. Кипренского (оба 1827 г.), литография Г. Гиппиуса (1828) и менее известный, поздно обнаруженный портрет И.Л. Линёва (1836–1837) составляют ряд весьма поучительный и насыщенный множеством разнообразных ассоциаций. Задумчивое предвосхищение жизни и творчества, написанное на лице кудрявого мальчика, сделало гравюру Е.И. Гейтмана, в свою очередь выполненную с акварели С.Г. Чирикова «Пушкин в юности» (около 1815), самым популярным изображением Пушкина, сопровождающим издания для детей. На портрете Тропинина зрелый, уверенный человек в полном расцвете сил и таланта смотрит глубоко в себя, как бы ведя диалог с самим собою. Романтический Пушкин кисти Кипренского разговаривает уже не с собой, а с музой – недаром она присутствует на полотне. Наконец, горькая ирония, просвечивающая сквозь плотно сжатые пушкинские губы на литографии Г. Гиппиуса, ассоциируется с диалогом, который поэт ведёт с обществом, с чернью, с толпой. Портрет И.Л. Линёва, выполненный

незадолго до гибельной дуэли, пожалуй, самый трагический в прижизненной иконографии Пушкина. Загнанный, усталый, больной – но обступившие несчастья лишь обострили глубину поэтического постижения.

Что касается изображений Пушкина после 1837 года, то трудно назвать имя большого русского художника, который так или иначе не обратился бы к образу великого поэта. Его изображали Айвазовский и Ге, Репин и Серов, Антокольский и Трубецкой, Ульянов и Кончаловский, Фаворский и Кравченко, Шадр и Коненков, Петров-Водкин и Пластов, Лебедева и Матвеев, Аникушин и Белашова, Юон, Кибрик, Горяев, Моисеенко и т. д., и т. п. Каждая эпоха находит в Пушкине что-то созвучное себе, и художники чутко фиксируют это «что-то», не говоря уже о том, что каждый из них в пушкинском портрете вольно или невольно раскрывает тайны собственного мироощущения и творческой индивидуальности. Характерный пример – акварель К.А. Сомова «Пушкин за работой» (1899), на которой перед нами оказывается не столько Пушкин, сколько отношение к Пушкину и его эпохе заядлого «мирискусника». Редкостной мрачностью отличаются многие изображения Пушкина в 1920-х и 1930-х годах (П.Я. Павлинов, Н.П. Дмитриевский, А.А. Суворов, Ф.Д. Константинов и др.), и, конечно, это весьма красноречивое свидетельство об общей атмосфере в стране. Затравленный полуоборот поэта на знаменитом полотне Н.П. Ульянова «Пушкин с женой перед зеркалом на придворном балу» (1936) говорит не только о преддуэльной осени в Петербурге 1836 года, но также о насквозь прошитой лицемерием и предчувствием ужасных испытаний сталинской Москве столетие спустя. Зато глаз просто отдыхает на вдохновенной фигуре с картины П.П. Кончаловского «Пушкин в Михайловском» (1932–1951), где праздник творчества так естественно перекликается с жизнелюбивым и солнечным мироощущением художника.

На замечательной автолитографии В.Н. Горяева (1974) перед нами скорее не Пушкин, а рокер, панк, диссидент – такое начиналось время. А на полотне Е.Е. Моисеенко «Памяти поэта» (1985) дядька Никита Козлов держит на руках как будто не смертельно раненного своего питомца, а искупительную жертву за непрощаемые грехи российской действительности. Впечатление «снятия с креста» поддерживается и ярким пламенем свечи, зажжённой в фонаре, и смертной бледностью пушкинского лица, его бессильно повисшей рукой, и скорбным силуэтом женской фигуры, прижавшей ладони к монашески закутанному и наверняка искажённому рыданием лицу.

Поистине Пушкин – наше всё, и в изображении его сакрального образа читается повесть поколений.

Известны почти 200 прижизненных изображений Анны Ахматовой – и неудивительно: её царственная внешность и в молодости, и в старости была благодарнейшим объектом для живописцев, графиков, скульпторов. Её рисовали Модильяни, Судейкин, Альтман, Делла-Вос-Кардовская, Кругликова, Анненков, Серебрякова, Петров-Водкин, Тырса, Осмёркин, Тышлер, Сарьян, Шервинская, Фаворский, лепили Данько, Сильман и Слоним.

Двадцатипятилетняя героиня Серебряного века, которой восторженно поклонялись современники, смотрит на нас со знаменитого портрета Н. Альтмана (1914). Кстати, Ахматова и Альтман – сверстники

и познакомились в Париже в 1911 году при следующих обстоятельствах: художник шёл с приятелем по улице вслед за стройной француженкой, обсуждая её стихи до тех пор, пока она не обернулась и не сказала на чистом русском языке: «Вы мне надоели!» Так и состоялось знакомство.

Портрет Альтмана стал ярким явлением нового художественного стиля – он выполнен в кубистическом духе. При всей праздничности красок, изяществе силуэта в героине явственно ощущается предчувствие будущих испытаний (кстати, то же самое можно сказать о пастели О.Л. Делла-Вос-Кардовской, нарисовавшей Ахматову в том же 1914 году). А вот на портрете работы Ю.П. Анненкова (который кого только не рисовал: среди его персонажей Горький и А.Н. Толстой, Ф. Сологуб и Эренбург, Пастернак и Шкловский, Блок и М. Кузмин, Ходасевич и Замятин, Маяковский и Ремизов, Есенин и Хлебников... и даже одна из главных героинь ахматовской «Поэмы без героя» – Ольга Глебова-Судейкина) уже скорбная Муза Плача. И хотя дата создания рисунка – июль 1921 года и до трагического августа, когда умрёт Блок и будет расстрелян Николай Гумилёв, муж Анны Андреевны, ещё месяц, кажется, что это уже произошло. Евгений Замятин писал о произведении Анненкова: «Портрет бровей Ахматовой. От них – как от облака – лёгкие, тяжёлые тени по лицу, и в них – столько утрат. Они, как ключ к музыкальной пьесе: поставлен этот ключ – и слышишь, что говорят глаза, траур волос, чёрные чётки на гребнях». Л.К. Чуковская говорила, что «портрет работы Анненкова является знаком всей поэзии Ахматовой».

Нельзя не упомянуть также о суровом, сдержанном, «богородичном» изображении Ахматовой кисти К.С. Петрова-Водкина (1922): портрет помогает понять источники и масштаб её духовной мощи. Изяществом пленительной женщины проникнуты статуэтки работы сестёр Данько – Натальи и Елены (1924); роскошен портрет зрелой Ахматовой кисти А.А. Осмёркина (1939–1940) – там она сидит на подоконнике, гордо откинув скорбную голову, на фоне кипящей от ветра листвы. Послевоенный облик поэтессы запечатлела А.С. Шервинская (портреты 1952 и 1958 гг.); особенно значим последний – тонкие красные линии, оттеняющие воротник, перекликаются с рисунком губ, необычный зернисто-зеленоватый тон изображения и полузакрытые глаза говорят о ко всему привыкшей и притерпевшейся, но не сдавшейся душе: «Ты не знаешь, что тебе простили...»

Захватывающим занятием оказалось сопоставление художественного портрета – и фотографии, сделанной примерно в тот же период. Например, портрет А.А. Фета работы И.Е. Репина (1882) даже ракурсом и позой напоминает фотографию поэта 1860-х гг. Однако репинская кисть вносит в изображение столько поэтического одушевления и психологической неоднозначности, что на полотне возникает подлинный портрет Поэта, песням которого дано властвовать над людьми.

Много сходного у портрета Н.А. Некрасова, выполненного И.И. Крамским в 1877 году, с фотографиями поэта 1860-х гг. Но при сопоставлении опять же заметно, насколько трагичнее некрасовский взгляд, устремлённый с живописного полотна в даль, ведомую ему одному, и как гордо, даже чуть вызывающе, вскинута на портрете голова, а сложенные на груди руки говорят о замкнутой сдержанности и в то же время о попытке самозащиты (вспомним, сколько тяжелейших упрёков и поношений пришлось вынести Некрасову в последние годы его жизни,

после пресловутой оды в честь Муравьёва-вешателя, публично прочитанной поэтом в попытке спасти свой журнал «Современник»).

Вообще руки – весьма выразительная деталь живописного портрета. Так, на фотографии Владимир Соловьёв (фото 1890-х гг.) выглядит даже чуть выразительнее и «демоничнее», чем на портрете Н.А. Ярошенко (1895 г.). Однако тонкая изящная кисть правой руки, слабо сжимающая левую руку, вносит необходимую ноту диссонанса и заставляет зрителя задуматься о той цене, которую платит поэт за свои прозрения.

А. Бенуа, изображая И.Ф. Анненского (1909 г.), взлохмачивает аккуратную причёску инспектора Петербургского учебного округа, растрёпаны даже выхоленные усы, нахмурены взъерошенные брови, смят крахмальный воротничок, далёк от классических очертаний узел галстука. Сравним этот портрет с фотографией того же периода, и станет ясно, какой могучий и страстный поэтический и гражданский темперамент скрывается за безукоризненной воспитанностью и выдержкой петербургского учёного и педагога, сколько неутолимой тоски и страдания в его мироощущении.

Врубелевский портрет В.Я. Брюсова (1906 г.) фиксирует любимую позу поэта – сжатые на груди руки. Вроде бы перед нами недоступный, окружённый легендами «мэтр», «поэт воли» (Цветаева), но смягчённые, чуть размытые очертания фигуры, мечтательное выражение глаз придают изображению необходимую загадочную объёмность, неоднозначность – да, «герой труда», но поэт, поэт, для которого всё в этой жизни – лишь средство «для ярко-певучих стихов».

Часто взгляд и мысль задерживались на автопортретах, особенно тех, которые принадлежали перу, карандашу или кисти авторов любимых строк. Например, я часто сопоставляла автопортреты А.С. Пушкина с прославленными работами В. Тропинина, О. Кипренского и И. Линёва. Два автопортрета 1826 г., запечатлевшие два разных «состояния души» – до и после ссылки, говорят о них зрителю по-другому, живее, непосредственнее и искреннее, нежели «официальные» изображения. На верхнем портрете – Пушкин до ссылки, на нижнем – после возвращения. У старшего менее энергично сложены губы, появилась едва обозначенная горькая складка да глаза глядят резче – это Пушкин, утративший былую отвагу, обретший недоверчивость к людям. Последний пушкинский автопортрет датирован февралём 1836 г., жить поэту осталось менее года. Рядом с рисунком громоздятся денежные подсчёты. Как будто все враждебные поэту силы объединились, чтобы отравить ему жизнь. То же самое ощущение и от работы И. Линёва, но на автопортрете брови поэта всё же вскинуты – «сохраню ль к судьбе презренье...».

Поэт и художник М.А. Волошин – создатель не только тонких и своеобразных пейзажей Северного Крыма, но и замечательного автопортрета (1919) – мужественного, скорбного, пророческого. Пятью годами позднее его портрет напишет Б.М. Кустодиев. Мощная фигура поэта изображена на фоне крымских холмов и неба, клубящегося облаками; ветер растрепал страницы поэтического томика в приподнятой руке. Выражение лица строгое и сосредоточенно-суровое. Портрет очень хорош, но все-таки автоизображение ближе подходит к внутренней сути человека, который в 1918 году написал:

А я стою один меж них (красных и белых. – Н. Р.)
В ревушем пламени и дыме

И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других.

Автопортрет можно сравнить и с фотографией. Возьмём автоизображение В. Хлебникова 1909 г. и его на редкость удачное фото 1913 г. Налицо несомненное сходство, но правый глаз автопортрета вырывается за границы лица – и зритель сразу ощущает «прорыв в неведомое», страсть поэтического познания и преображения мира, столь присущую Хлебникову.

Из автопортретов художников один из самых моих любимых принадлежит К.П. Брюллову (1848). Эта бессильно брошенная натруженная кисть руки с тонкими бледными пальцами... Глаза художника как бы просят прощения у зрителя: «Не всё, что хотел и мог, перенесено на полотно. Но я старался».

Когда вглядываешься в портреты неизвестных персонажей разных времён, то больше всего удивляет постоянство человеческой природы: те же вечные эмоции радости, грусти, тоски, недовольства (или гордости) собой, та же ищущая мысль, наталкивающаяся на непреодолимую загадку вечности и Бога. К слову, из российских портретистов последнего времени самым невероятным по новизне манеры, глубине и экспрессии мне кажется Анатолий Зверев – одинокий, неприкаянный, неустроенный, не признанный при жизни гений «не от мира сего», про которого знаменитый коллекционер Г.Д. Костаки грубовато, но точно заметил: «У него всё идёт от кишок». Не устаю любоваться прихотливо и на первый взгляд бесконтрольно раскиданными пятнами и кривыми, неожиданно складывающимися в пронизательный и пронизанный авторским чувством портрет.

Следующим жанровым пристрастием оказался натюрморт, который вплотную подвёл меня к тайне символики визуального изображения. Эжен Делакруа как-то заметил: «Живопись – неболтливое искусство, и в этом, по-моему, её немалое достоинство». Какое множество интерпретаций может породить талантливое и живое изображение неодушевлённого предмета! Возьмём, например, полотна, в том или ином контексте запечатлевшие хлеб, который, как известно, относится к ключевым концептам русской культуры, являясь не просто пищей, едой, продуктом, но символом пропитания, жизни, существования. Вот как этот символ представлен в работах русских художников XX века.

Хлеб как торжествующий плод жизни, радостно прославляющий её, изображён на полотне М.Ф. Ларионова «Хлеб» (1910). Яркие и чистые краски, торжественная пирамида караваев и булок разной формы, тянущийся вверх «растительный» орнамент на одном из батонов, бутылка с напитком солнечного цвета, тяжёлая зелёная занавесь, как бы символизирующая покровительницу природу, – всё работает на жизнеутверждающую эмоцию. Сходное настроение возникает при восприятии натюрморта П.П. Кончаловского «Хлебы на синем» (1913) – солнечно аппетитные крендели, плетёнки и караваи вальяжно расположились на складках темно-синего полотна. Все потрясения XX века ещё впереди, и можно безоглядно радоваться жизни.

Хлеб – трагическая пайка времён голодной революционной смуты – изображён на «Натюрморте с селёдкой» Д.П. Штеренберга (1917–1918). Полбуханки чёрного хлеба и две селёдки, мрачные серые и коричневые

тона фона – это уже не о радости и торжестве, а о насущном, о том, без чего просто не проживёшь. Правда, селёдки ещё располагаются на тарелке, к которой прислонена вилка... А вот на полотне К.С. Петрова-Водкина «Селёдка» (1918) ржавая рыбина лежит прямо на синей обёрточной бумаге, о вилках и ножах нет и помину, чёрная, грубо и небрежно отрезанная горбушка зачерствела, и сопровождают её две картофелины в кожуре. Мягкая красная скатёрка излучает тревожный свет. Кстати, недаром хлеб на этих натюрмортах рифмуется с селёдкой – вторым неизменным компонентом всяческих нищенских пайков.

Но вот, казалось бы, самое тяжёлое позади, хочется верить в лучшее, наступает недолгое торжество НЭПа, и хлеб – вновь символ благополучия и довольства. Хлебное изобилие на знаменитом натюрморте И.И. Машкова «Снедь московская. Хлебы» (1924) поражает изобретательным богатством ассортимента и на редкость «вкусной» вещественностью изображения. Однако молодой радости начала века здесь не видно.

Вполне логично, что на следующем полотне И. Машкова «Советские хлебы» (1936) хлеб предстаёт основой могущества страны: караваи и булки аранжированы советской символикой. Сходный идеологический пафос пронизывает картину Т.Н. Яблонской «Хлеб» (1949). Однако внимательного зрителя вряд ли введут в заблуждение торжествующие фигуры колхозниц на первом плане; если вдуматься, картина эта не-весёлая: мужиков-то на ней нет, одни бабы! Вдали, едва различимые около коня и грузовика, маячат две-три фигурки подростков. А какой уж хлеб без мужика...

Вечной основой жизни предстаёт хлеб на полотне В.И. Шухаева «Хлебы. Нормандия» (1923), где вертикально выставленные на окне грандиозные буханки белого хлеба на переднем плане превосходят по размеру все остальные детали, в том числе и пейзажные. А С.В. Герасимов своё полотно, которое изображает могучую фигуру крестьянина, режущего громадный каравай, и его сына, терпеливо ждущего своей порции, так и назовёт: «Хлеб наш насущный» (1921).

Во второй половине XX века, после невероятных испытаний всей человеческой сущности, вечные и, казалось бы, непререкаемые истины не то что тускнеют, но приобретают тоскливо-трагический оттенок. Хлеб становится основой не только трудной, но главное – безрадостной и безотрадной жизни; именно такое ощущение оставляет хлебная снедь на полотне Андрея Васнецова «Самовар с баранками» (1961). Буханка чёрного хлеба вообще становится горьким символом нашей непростой истории – именно так она выглядит на картине Андрея Пашкевича «Натюрморт с яйцом» (1995), где на фоне подчёркнуто огромной половинки хлебного кирпича и стакана с заваркой на развёрнутой газете «Правда» с портретом вернувшегося из Фороса М.С. Горбачёва (т. е. время действия – август 1991 года) из маленького белого яичка высовывается крохотный Ельцин с победно поднятым российском триколором. Символ надежды? Или символ обречённости?

Наконец, самое печальное. Беззастенчивая эксплуатация партийно-патриотических лозунгов не могла не привести к девальвации подлинных ценностей, и хлеб становится в один ряд с разоблачёнными символами советской эпохи. Молодая женщина на картине Вадима Кулакова «Большой натюрморт с самогоном на чёрном столе» (1993) грустно отворачивается от нарочито расколотого (не разломанного!) куса чёрного хлеба и других подробностей незатейливого деревенского пиршества.

Вслед за натюрмортом на моей шкале живописных впечатлений расположился пейзаж. Любимцами стали не И.И. Шишкин, не И.К. Айвазовский, не И.И. Левитан, а Фёдор Васильев и Алексей Саврасов. Трудно сказать, почему. Просто мне кажется, что на их полотнах с наибольшей точностью и силой запечатлено русское восприятие русской природы – невзрачной, ненарядной, не вызывающей, но до тоски близкой, таящей под серым тающим снегом и мокрой от дождя травой заветную мысль и робкую надежду. «Оттепель» (1871), «Мокрый луг» (1872), «Грачи прилетели» (1871), «Просёлок» (1873)... Да и надо ли отвечать на пресловутое «почему»? «Живопись требует небольшой тайны, некоторой неопределённости, некоторой фантазии. Когда вы вкладываете совершенно ясное значение, людям становится скучно» (Эдгар Дега).

Жанровая живопись никогда не была мне особенно близка, но во времена юношеских скитаний по музеям неизменно притягивала разная интерпретация вечных евангельских сюжетов: Рождество, Динарий кесаря, Христос в пустыне, Распятие, Снятие с креста... В своё время именно живопись подтолкнула меня к чтению и перечитыванию Библии.

В чём кроется магия живого полотна? Почему, найдя в Интернете великолепное по точности линий и красок воспроизведение известного полотна и всматриваясь в монитор, не испытываешь необъяснимого опьяняющего головокружения, которое обволакивает с ног до головы в музейных залах? Может быть, куски старых холстов таят энергетику красок и линий, порождённую физическими и душевными движениями авторов? Попросту говоря, где-то в глубине холста зарыты материальные следы души художника? Почему бы нет? Именно в музейных галереях ко мне пришли первые смутные ощущения физического существования духовной субстанции. Магия музеев, она ведь не только и не столько в расширении эрудиции, информационного пространства. Выходишь из музейных дверей – и кажется, что тебя сейчас разорвёт концентрация красоты и творческого преображения жизни, великое множество душ, витающих в пройденных залах и прорвавшихся к тебе сквозь толщу времени.

Древнегреческий поэт Симонид называл живопись молчащей поэзией, а поэзию – звучащей живописью. Неудивительно, что, при моём пристрастии к поэзии и живописи, я стремилась разгадать их диалог, корреляцию словесных и визуальных художественных фактов. Даже написала об этом небольшую книжку. Вот несколько примеров выразительных «пар» поэтического текста и его живописного коррелята – портрета, о которых я в ней рассказываю:

– В.А. Жуковский. Светлана (1808–1812) – К.П. Брюллов. Гадающая Светлана (1836).

– Н.А. Некрасов. Калистрат (1863) – И.Е. Репин. Мужичок из робких (1877).

– Ф.К. Сологуб. «В тихий вечер на распутии двух дорог...» (1902) – М.А. Врубель. Гадалка (1895).

– А.А. Блок. Поэты (1908) – В.И. Шухаев, А.Е. Яковлев. Автопортреты (Арлекин и Пьеро) (1914).

– А.А. Ахматова. Муза (1924) – М.А. Врубель. Муза (1900).

– Н.А. Заболоцкий. Прощание с друзьями (1952) – П.Н. Филонов. Лики (1940).

Живописные корреляты к поэтическим текстам можно найти также среди пейзажей, натюрмортов, жанровых полотен; такое сопоставление неизменно доставляет мне радость, расширяет восприятие, заставляет глубже вдумываться в тайны красоты и жизни. Недаром многие поэты посвящали любимым полотнам и их авторам проникновенные строки, а Николай Заболоцкий пылко восклицал:

Любите живопись, поэты!
Лишь ей, единственной, дано
Души изменчивой приметы
Переносить на полотно.

«Портрет», 1953

Иосифу Бродскому принадлежит замечательное по глубине описание несуществующего, выдуманного им женского портрета, все живописные детали которого сопровождаются насыщенным и пёстрым потоком ассоциаций, естественно и ненавязчиво ведущих читателя вглубь прошлого и настоящего изображённой героини, её сознания и характера:

Не первой свежести – как и цветы в её
руках. В цветах – такое же враньё
и та же жажда будущего. Карий
глаз смотрит в будущее, где
ни ваз, ни разговоров о воде.
Один гербарий.

<...>

Накрашенным закрытым ртом
лицо кричит, что для него «потом»
важнее, чем «теперь», тем паче –
«тогда»! Что полотно – стезя
попасть туда, куда нельзя
попасть иначе.

Так боги делали, вселяясь то
в растение, то в камень: до
возникновенья человека. Это
инерция метаморфоз
сиеной и краплагом роз
глядит с портрета,

а не сама она. Она сама
состарится, сойдёт с ума,
умрёт от печени, под колесом, от пули.
Но там, где не нужны тела,
она останется, какой была
тогда в Стамбуле.

Ritratto di donna (женский портрет. – Н. Р.), 1993

«Сиеной и краплагом роз» запечатлена единственная и неповторимая личность, осенённая прикосновением божества. Пусть героиня «состарится, сойдёт с ума, умрёт...», но полотно сохранит её вечный облик, который сможет свидетельствовать за неё «там, где не нужны тела».

Творчество

Всезнающая, но часто, увы, поверхностная Википедия сообщает: «Творчество – процесс деятельности, в результате которого создаются качественно новые объекты и духовные ценности».

Вроде бы верно и справедливо. Но фокус и затруднение в том, кем и как определяется наличие и степень *новизны* объектов и *ценности* духовных постижений. Именно поэтому каждый постигает суть и смысл творчества интуитивно, опираясь не столько на общеизвестные свершения творческого гения человечества, сколько на собственный опыт соответствующих попыток. Последний есть у любого, хотя бы испытанный лишь в детстве и юности.

Для меня творчество было и осталось лучшим украшением и радостью жизни, даже больше – её сокровенным смыслом. Ещё в отрочестве я, по настоянию отца, прочитала поэму М. Горького «Человек» – произведение трогательно-романтическое, по-горьковски высокопарное, но искреннее и на редкость обаятельное для подростка. И утверждение мятежного и прекрасного Человека «Смысл жизни – вижу в творчестве...» показалось не просто совершенно справедливым, но заняло почётное место среди моих пожизненных ценностей и постулатов.

Именно в творчестве реализуется присущее всем нам стремление остаться, задержаться хотя бы на пару-тройку мгновений среди живых, не исчезнуть без следа и памяти.

Самое опасное в этом захватывающем, азартном, кружащем голову процессе – отсутствие цели. Более того, присутствие цели безнравственной, что случается, к сожалению, слишком часто. Все мы помним как бы мимоходом уроненное замечание пушкинского Моцарта: «...гений и злодейство – / Две вещи несовместные. Не правда ль?» Но был ли согласен Пушкин со своим героем? Не уверена. Слишком трезво смотрел он к концу своего пути на сущность человеческую. И чувствовал, кроме того, что творчество сильнее нравственности или, как и поэзия, «совсем другое дело». Иногда эта мысль внятно артикулировалась:

...Бежит он, дикий и суровый,
И звуков и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы.

«Поэт», 1827

Не думаю, что подобное «дикое и суровое» существо полностью подчинялось этическим нормам.

Бродский, судьба которого так напомнила и продолжает напоминать пушкинскую, не раз повторял, что эстетика старше этики. Точнее: «Всякая новая эстетическая реальность уточняет для человека реальность этическую. Ибо эстетика – мать этики; понятия “хорошо” и “плохо” – понятия прежде всего эстетические, предваряющие категории “добра” и “зла”...» («Лица необщим выраженьем». Нобелевская лекция).

Люди, отдавшие жизнь творчеству научному, порой свидетельствуют о чём-то похожем. Помните восклицание некоторых учёных после атомных взрывов над Хиросимой и Нагасаки? «Это просто хорошая физика»...

Общеизвестна также свойственная многим и многим творческим личностям тяга к саморазрушению, к опасным экспериментам над со-

бой (а порой и над близкими). Примеры у всех на слуху и на памяти. Но вместе с тем нет большего соблазна и большей радости, чем творческая самореализация: пропади всё пропадом, но выскажусь! но сделаю это! «Я хотя бы попробовал».

Как человеку пишущему и всю жизнь занимавшемуся Словом – его структурой, назначением, освоением, – ближе всего мне, конечно, творчество словесное. Не могу не вспомнить, как понимали цель своего творчества мои любимцы.

Заветная цель Державина – обрести бессмертие в Боге путём постижения через творчество Его правды – полнее всего высказана не в знаменитом «Памятнике», написанном по следам Горациевой оды и ставшем предшественником «Памятника» пушкинского, а в оде «Бог»:

Твоей то правде нужно было,
Чтоб смертну бездну проходило
Моё бессмертно бытие;
Чтоб дух мой в смертность облачился
И чтоб чрез смерть я возвратился,
Отец! в бессмертие Твоё.

Кто из нас не повторял «с отрадой и надеждой» ликующее пушкинское:

Нет, весь я не умру – душа в заветной лире
Мой прах переживёт и тленья убежит...

Кстати, Пушкин связывает бессмертие своего творчества с бессмертием не Бога, не народа (как у Державина), а поэзии, Книги: он будет славен до тех пор, пока на Земле «жив будет хоть один пиит». В скобках замечу, что долг любого филолога, человека Книги, длить и длить этот срок: слишком многие сегодняшние реалии свидетельствуют о том, что он не вечен.

Кумир моей юности Марина Цветаева видела в творчестве спасение и оправдание собственной жизни и души; обращаясь к символу своего поэтического труда – письменному столу, она восклицала:

Строжайшее из зеркал!
Спасибо за то, что стал
(Соблазнам мирским порог)
Всем радостям поперёк,

Всем низостям – наотрез!
Дубовый противовес
Льву ненависти, слону
Обиды – всему, всему.

«Мой письменный верный стол...», 1933

Перекликаясь с ней, Владимир Высоцкий – совесть поздних советских поколений – в 1980 году, незадолго до смерти, гордо утверждает:

Мне есть что спеть, представ перед Всевышним,
Мне есть чем оправдаться перед Ним.

«И снизу лёд, и сверху – маюсь между...», 1980

Анна Андреевна Ахматова считала, и недаром, что её Муза принадлежит не только ей, это муза всех поэтов, прошлых и будущих:

И вот вошла. Откинув покрывало,
Внимательно взглянула на меня.
Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала
Страницы Ада?» Отвечает: «Я».

«Муза», 1924

Тем самым утверждается, что цель и сверхзадача поэтического творчества – уловить что-то главное, диктуемое Тем, кто наверху, – и не исказить его. Поймать проблески Божественной истины. Ахматовой вторит Бродский, выпущенный в поэзию её руками:

И если за скорость света не ждёшь спасибо,
то общего, может, небытия броня
ценит попытки её превращения в сито
и за отверствие поблагодарит меня.

«Меня упрекали во всём, кроме погоды...», 1994

Видимо, во все времена для подлинных поэтов Муза так или иначе – голос Бога, сигнал к поэтическому творчеству подаётся от Него, во всяком случае – откуда-то с мест Его обитания. А в XX веке появился и окреп ещё один обертон: творчество есть оправдание жизни. Грехов накопилось столько, что существование надо оправдывать...

Чем же закончить это затянувшееся эссе? Закольцевать возвращением к собственной судьбе? Ведь «плетение словес» сопутствует мне в течение всей сознательной жизни.

Что, в сущности, необходимо для успешной писательской карьеры? Три компонента:

1) Эмоциональный драйв текста, умение схватить и удержать читателя. Чтобы тебя прочитали!

2) Фантазия. Стремление и умение создавать «из воздуха» фигуры и события (для прозаика), образы и сочетания слов (для поэта).

3) Особое писательское честолюбие:

...И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

Пушкин

Я новый! Я пришёл!

Булгаков

Я буду мерцать в проводах лейтенантом неба...

Бродский

К сожалению, у меня в наличии оказалась только первая составляющая. Но она есть! И это уже немало. В 55 лет я напишу себе на день рождения следующее стихотворение:

Всё меньше сил и смеха остаётся,
И всё стремительней я отдаю долги.

Темнеет время за окном и ливнем льётся.
Стена воды – и не видать ни зги.

Кто, на каких весах измерит малость
Страниц, заметок, мыслей, дней моих?
Всевышнему ответчу: «Я старалась»,
Беспомощно ладони опустив.

Словом,
Navigare necesse est, vivere non est necesse. (Плывать по морю необходимо, жить не так уж необходимо.)
(См. «Девиз»)*.

Письмо

Нет, я сейчас не о письме в широком смысле слова – не о письменности, не об этом революционном открытии человечества, когда люди додумались графически фиксировать такие элементы языка, как смысловые кирпичики, слоги, отдельные звуки... Я о письмах своего детства и юности – о листках бумаги в конвертах с марками (последние, кстати, долго были предметом моего детского собирательства). Да и конвертов-то иногда не было: первую пачку моих личных, мне адресованных писем-записок я получила в больнице, куда угодила в 11 лет из-за приступа миокардита и где строго-настрого были запрещены всякие свидания с родственниками и близкими. Мне написали почти все одноклассники, несколько учителей, дворовые подруги, и сколько раз перечитывались эти листочки в нескончаемый больничный месяц, с каким радостным и благодарным сердцебиением.

Во времена моего отрочества наша школьная компания каждый год разъезжалась на летние каникулы, и с июня по август шла активная переписка с любимыми подругами, а иногда и с учителями. Именно тогда я оценила главное в письмах: возможность написать то, что не получалось (и не получится впредь) высказать в глаза. Письмо – это способ кристаллизации (по Стендалю), кристаллизации не только и не обязательно любви, но любого чувства, впечатления, эмоции, мысли. И это важнейшее средство взглянуть на себя со стороны.

С тех пор возникла привычка хранить, сортировать и время от времени перечитывать старые письма. Есть среди них такие, что помнятся до конца дней.

Никогда не забуду письмо, полученное от любимого деда Ивана Николаевича, уехавшего зимой отдыхать в санаторий неподалёку от Нижнего. По заведённому в семье обычаю он отправил общее «семейное» послание о первых санаторных впечатлениях и по какой-то причине забыл упомянуть меня среди традиционных приветствий каждому члену семьи. И вот представьте: на следующий день семидесятилетний старик садится писать отдельное письмо двенадцатилетней соплюшке, где кается в своей забывчивости: «...это меня так расстроило и даже

* Отсылка к главке «Девиз», см. «Нижний Новгород» № 2, 2022: «С годами смысл этого изречения открывался всё глубже. Главное – плавать, плыть. Попросту, в жизни всегда должно присутствовать творчество. И творчество, направленное к цели! Если этого нет, жизнь теряет смысл. А значит, и необходимость».

потрясло, что хочу написать тебе: я вовсе тебя не забыл, а помню и люблю, люблю за твой ум, искреннее и чистое сердце, сознательное отношение к жизни, людям...» Эти слова греют меня до сей поры, когда я и сама достигла его тогдашнего возраста.

К моему великому теперешнему (да и тогдашнему) сожалению, мама не любила писать письма. Во время моих летних самостоятельных путешествий о домашних новостях сообщал, как правило, отец в своей неторопливой обстоятельной манере. А сбоку, в конце или даже поперёк исписанного его мелким убористым почерком листка красовалось мамино размашистое: «Привет, привет! Очень люблю тебя». И этого было достаточно.

Редко, очень редко перечитываю письма от любимых. Больно... Кстати, сама я слово «любимый» впервые не произнесла, а написала – на клочке бумаги из родильной палаты. Пачка писем и записок, полученных от друзей и родных в первые дни после рождения сына, одно из самых драгоценных моих достояний: столько там искренней любви, заботы, сочувствия, радости. 1981 год: какие сотовые телефоны, какие посещения близких – что вы...

В двухтысячные наступила эпоха электронной почты. Сократилось время ожидания письма, но исчезла прелесть почтового ящика, знакомого до всех потёртостей вокруг замочной скважины, потонула в забвении индивидуальная неповторимость почерков. Тем не менее многие письма по e-mail ещё хранили прелесть обдуманной повествовательности. Я собрала распечатки всех сообщений от сына за период его годичной стажировки во Франции, и эти странички дышат живым ароматом его тогдашних впечатлений.

Последние годы общаюсь с друзьями преимущественно с помощью Viber и WhatsApp, иногда ныряю в Фейсбук. Увы, это уже телеграф! На глазах сошла к нулю предварительная рефлексия, содержание стало сиюминутно фактологическим, а способность посмотреть на себя со стороны не востребуется совершенно и отмирает за ненадобностью, напрочь исчезая из нашего повседневного обихода. Не отсюда ли неконтролируемое хамство и агрессия многих высказываний-выкриков в социальных сетях?

Возможность мгновенной связи с близкими, родными, коллегами неопределима, она избавляет от изматывающей тревоги неизвестности и ожидания. Но без постоянного упражнения скудеет, слабеет, истончается память – самая, пожалуй, необходимая принадлежность личностного сознания.

Письмо – это всегда перебой темпа, перебой будней, перебой сердца. Счастливы те, кто в своей жизни писал и получал письма. И по-прежнему дороги мне замахившиеся от долгого хранения связки конвертов, пачки пожелтевших линованных листков старых писем, тех писем, которым посвящено моё юношеское стихотворение:

Я жду письма. И на день десять раз
Бегу встречать в прихожей почтальона...

Вехи памяти

Михаил ЧИЖОВ

Родился в 1946 году в Горьком. Окончил политехнический институт. Член Союза писателей России. Автор нескольких сборников прозы и публицистики. Биографическое исследование «Константин Леонтьев» получило «Серебряного Витязя» на VII Международном славянском литературном форуме «Золотой Витязь» 2016 года и вошло в шорт-лист Бунинской премии. Дважды лауреат премии «Болдинская осень», неоднократный обладатель премии Нижнего Новгорода.

Ранее – инженер-электрохимик в крупном химическом объединении, действительный государственный советник Нижегородской области I класса. Живет в Нижнем Новгороде.

УРОКИ ЭРНЕСТА ХЕМИНГУЭЯ

125 лет со дня рождения писателя

О прогрессивном американском писателе созданы десятки книг, анализирующих его жизнь и творчество. Но вот даже первое моё слово в этом предложении возбудит многих критиков и других писателей всех стран, где Хемингуэя читают. В одной из его книг в моей библиотеке я нашёл вырезку из «Литературной газеты» № 29 от 17–23 июля 2019 года. (120 лет со дня рождения), где восемь российских писателей, критиков, чьи имена в то время были на слуху, разбирают творчество Хемингуэя. И, удивительно, добрая половина высказавшихся находит много негатива в его творчестве и личности, даже в подзаголовок взяты такие слова одного из критиков: «Хемингуэй учил не столько побеждать, сколько красиво проигрывать». Хотя сам заголовок противоречит этой логике: «Прошедший испытания на излом!» Странно?! И да и нет.

И мне подумалось: почему Хемингуэй очень нравится простым читателям, но нередко с трудом воспринимается коллегами по перу? Неумение так, как он, писать? Или просто зависть?

Великий художник и человек не может и не должен быть одномерен. И мнения о нём также разнятся, и это естественно. Среди воспоминаний и оценок его современников я выбрал замечательную, на мой взгляд, и обширную статью американской журналистки Лилиан Росс с названием «Портрет Хемингуэя», опубликованную впервые в журнале «Нью-Йоркер» 13 мая 1950 года, в СССР она была издана в библиотеке «Огонёк», № 6 за 1966 год. От этой статьи, в которой Великий Хэм оценивает многие моменты своего творчества и жизни, мы и будем танцевать, как от печки.

1

Лириан Росс познакомилась с Хемингуэем в декабре 1947 года. Он работал в это время в собственном доме в небольшом горном городке Кетчуме, штат Айдахо (Северо-Запад США). Она приехала к нему как специалисту по бою быков, собираясь написать очерки о тореадоре ФранкLINE, с которым Хемингуэй был лично знаком ещё с 20-х годов в Испании. Знаменитый писатель никому не отказывал в помощи. Потом через два года она провела два дня с Хемингуэем и его семьёй в Нью-Йорке, где он останавливался, направляясь с Кубы в Венецию.

В одной из непринуждённых бесед с ней Хемингуэй сказал: чтобы стать заметным писателем, нужно иметь трудное детство. Существует расхожее мнение, что от хорошей жизни писателями не становятся, и, судя по реплике Хемингуэя, он с этим согласен, конкретизируя период жизни, в который бывает несладко. На этот факт биографии писателей он указывает и в очерке «Маэстро задаёт вопросы (письмо с бурного моря)», в котором Хемингуэй рассказывает, как его расспрашивал начинающий писатель о секретах мастерства. На вопрос «А что вы считаете лучшей начальной школой для писателя?» Хемингуэй ответил ещё более прямо – «несчастливое детство».

На первый взгляд, Эрнест родился во вполне благополучной и состоятельной семье, имевшей собственный дом в уважаемом пригороде Чикаго Оук-Парке. «Оук» – значит «дуб», а «парк» – он и в Америке парк. Городок можно считать образцом пуританской Америки. Пресвитерианская церковь – главный общественный центр, где встречались по воскресеньям все жители. Дамы пели в церковном хоре и занимались благотворительностью. Чтобы представить строгость пуританских нравов, достаточно вспомнить, как в 1906 году Максим Горький со своей любовницей Андреевой, приехав в США, не могли прописаться в гостиницу, так как у них не было соответствующего штампа в паспортах.

Дед по отцовской линии доблестно воевал за северян в Гражданской войне (1861–1865) и в 19 лет получил от президента Линкольна чин лейтенанта за храбрость. Именно от него страсть к оружию, охоте и рыбалке передалась к отцу Хемингуэя (врачу по специальности), а потом и внуку Эрнесту, названному в честь деда, но уже по материнской линии.

Рыбалка и охота – как могут они не нравиться мальчишке? Они и нравились юному Эрнесту и составили вторую, если не первую, страсть (первая – писательство) на всю жизнь. Следовательно, «несчастливость» надо искать со стороны матери по имени Грейс, девичья фамилия которой Холл. Отец её был совладельцем фирмы, торговавшей скобяными товарами, главный офис которой находился в Чикаго. Мать воспитывала Грейс белоручкой и постоянно внушала ей, чтобы дочь не пачкала руки на кухне, что у неё есть способности для другого дела. И, действительно, у Грейс оказался хороший голос, и она в Нью-Йорке совершенствовала своё контральто. Через год занятий она дебютировала с концертом в знаменитом Мэдисон Сквер Гарден. Критики благосклонно отзывались о её таланте, но Грейс, ранее давшая согласие на брак с молодым врачом Кларенсом Хемингуэем, отказалась от заключения концертного контракта, о чём потом всю жизнь жалела. Честолюбивая Грейс считала, что принесла себя в жертву, но досаду от упущенных возможностей выливали не на себя, а на окружающих, прежде всего на мужа, «делая несчастье целому дому» (Фонвизин).

Все дела на кухне и заботы о детях взвалил на себя слабохарактерный Кларенс. В рассказе «Отцы и дети» (1933) Хемингуэй вспоминал отца и описывал его так: «Отец... был очень нервен. Сверх того он был сентиментален и, как большинство сентиментальных людей, жесток и беззащитен в одно и то же время. Ему редко что-нибудь удавалось, и не всегда по его вине. <...> Сентиментальных людей так часто обманывают». Несомненно, что с честолубием, перешедшим ему от матери, Эрнест ни в коей мере не желал быть сентиментальным, не желал быть обманутым, не хотел быть «подкаблучником», как его отец в своих отношениях с женщинами. Эти детские пристрастия (охота и рыбалка) и выводы Хемингуэй пронёс через всю жизнь, и, когда жена начинала за что-то упрекать его или пыталась им командовать, он с ней разводился. Хемингуэй был четырежды женат.

Прежде всего Эрни (так звали будущего писателя в детстве) ценил отца за те знания по рыбалке и охоте, которыми тот обогатил его. Когда сыну было всего три года, отец подарил ему удочку. Сохранилась фотография, а на ней пятилетний Эрни ловит форель в речке Хортон-Крик (штат Пенсильвания), находящейся довольно-таки далеко от Оук-Парка. Это говорит о заботе со стороны отца, о высоком качестве его уроков, тщательных и полных знаний о рыбалке разных видов рыб. Отец для разнообразия летнего отдыха детей построил коттедж на озере Валлун на северо-востоке штата Мичиган.

Отец, молча и покорно сносивший все издевательства со стороны жены, в конце концов, не выдержал и в 1928 году завершил счёты с жизнью выстрелом в голову. Хемингуэя очень волновала судьба отца, и он много и охотно писал о нём, о своём детстве и юности от лица Ника Адамса – своего alter ego. Он как-то записал: «В течение многих лет я мучился вопросами, вызванными самоубийством моего отца, и гадал, как сложилась бы его жизнь, если бы он решился восстать против матери или женился бы на другой женщине. Я знаю, что не должен судить, я должен принять и стараться понять. Понять – значит простить».

Каждый из родителей стремился подчинить Эрни своему влиянию, привить свои вкусы. Мать хотела научить его игре на виолончели, в доме была выделена специальная комната для этой цели, но Эрни хотел играть в футбол (имеется в виду американский), или убежать на рыбалку, или боксировать. Бокс – это тоже один из вариантов борьбы с сентиментальностью, которую Хемингуэй считал причиной гибели отца. Юношей Эрнест был весьма и весьма уверенным в себе человеком, с детства решивший, что непременно станет писателем. Рыбалка и охота, знакомства и общение с друзьями отца (у рыбаков и охотников всегда много друзей) расширяли кругозор Эрни, развивали наблюдательность, укрепляли память и способность быстро ориентироваться в трудной и незнакомой обстановке. Случались, конечно, неприятности. Как-то он упал и проколол себе горло палочкой. Хорошо, что рядом был отец-медик, сделавший операцию. Или вот ещё пример: в чикагской школе бокса ударом в голову ему так сильно повредили левый глаз, что он практически перестал видеть. На его счастье, это был левый глаз, не мешавший при стрельбе.

2

Одним из любимых афоризмов Хемингуэя был его собственный: «Запомни. Уклоняйся от свинга. Блокируй хук. И что есть силы отбивай прямые». Конечно, это не только боксёрский завет, это жизненное

кредо. Хемингуэй в разговоре с Лилиан Росс говорил о своей жажде нового: «Я бы хотел видеть всех новых боксёров, скаковых лошадей, балеты, велосипедные гонки, тореадоров, художников, видеть самолёты, всяких сукиных сынов – завсегдатаев кафе, международных проституток, бывать в ресторанах, пробовать старые вина, читать газетные сообщения и никогда не писать обо всём этом ни строчки. Я хотел бы писать множества писем друзьям и получать от них ответы».

В этих словах виден весь Хемингуэй, чётко видна его жажда жизни и труда. Лилиан Росс итожит, что «его письма и то, как он говорил, сами по себе доставляли радость, так это было свежо и чудесно. Он был щедрым собеседником. Он не навязывал свои идеи, или взгляды, или свой юмор, или своё мнение. Он был настолько изобретателен, что не боялся исчерпать себя. Каково бы ни было его мнение, он всё равно высказывал его с большой душевной щедростью. <...> Он любил писать письма».

По словам самого Хемингуэя: «В своей жизни я любил три континента, несколько самолётов и кораблей, океаны, своих сестёр, своих жён, жизнь и смерть, утро, полдень, вечер и ночь, честь, постель, бокс, плавание, бейсбол, стрельбу, рыбную ловлю, любил читать и писать и все хорошие картины». Удивительным жизнелюбием и страстью видеть весь мир обладал этот сильный физически и интеллектуально человек! Но за всё приходилось платить.

Так случилось, что Хемингуэй всю жизнь «коллекционировал» болезни и травмы с упорством, достойным лучшего применения. Не надо забывать, что с 19 лет после жесточайшего ранения в Первую мировую войну вместо коленных чашечек у него были вживлены металлические пластины. О ранении, о взаимоотношениях с медиками, о своей любви на мрачном фоне войны, об осознании смерти как высшем состоянии жизни – обо всём этом Хемингуэй замечательно рассказал в романе «Прощай, оружие!» (1933).

О двух сложных травмах упомянуто выше. Кроме того, он переболел сибирской язвой и амёбной дизентерией, повредил голову, поскользнувшись на мокром полу ванной в отеле, едва не потерял способность писать после автокатастрофы. В конце жизни он страдал от диабета, пневмонии, гипертонии, головных болей, атеросклероза и печеночной недостаточности. После смерти у него подтвердился наследственный гемохроматоз – чрезмерное накопление железа в организме, от него в США страдают около одного миллиона человек. На рождественской охоте в Конго в 1954 году с ним случилось вообще нечто неординарное. В течение двух дней он попал в две авиакатастрофы, после которых у него диагностировали «две трещины в позвоночных дисках, разрыв почки и печени, вывих плеча и травма черепа». Месяц спустя там же он стал жертвой лесного пожара, получив многочисленные ожоги второй степени. Недаром говорят, есть некое жизненное равновесие: талантлив и удачлив в одном (творчестве), но несчастлив в другом (быту). У Хемингуэя это выразилось наиболее отчётливо.

Но это лишь простое перечисление травм и болезней. Но за каждой из них стоит боль, которую надо достойно, по-мужски преодолевать. Когда-то в детстве отец научил его преодолению боли: в самый острый наплыв её надо насвистывать любую мелодию. Этому правилу Хемингуэй следовал всю свою нелёгкую жизнь. С особой силой он выразил свои бытовые невзгоды в рассказе «Снега Килиманджаро». На мой взгляд – это лучший рассказ в мировой литературе. В нём Хемингуэй передаёт некоторые впечатления своего детства и отрочества, в скрытой форме передаёт характер отношений с отцом и близкими женщинами.

3

«Когда я пишу, я горд, как лев, чёрт побери!» – любил повторять Эрнест Хемингуэй.

В родном городке Оук-Парке он учился в частной школе, где английский язык преподавали на высоком уровне. Уже на склоне лет Хэм упомянул в одном из интервью учительниц Фанни Биггс и мисс Диксон. Они, по его словам, поощряли творческое мышление и были суровыми критиками, рекомендуя записывать свои интересные и оригинальные мысли. «Обе они были очень внимательны, особенно внимательны ко мне», – подытожил Хемингуэй. В школе издавалась газета, и не какая-нибудь стенная, а самая настоящая, в ней юный писатель Эрнест опубликовал свои первые рассказы об индейцах, с которыми дружил, и о спорте. Хемингуэй с детства обожал словечки, которые мать считала «неприличными» и «грязными». Найдя их в тексте у сына, мать с нотками «железа» в голосе командовала: «Иди в ванную и вымой рот мылом!» Эрнест же считал, что они помогают лучшим и верным способом выразить эмоции.

Хемингуэй говорил Лилиан Росс: «Люди думают, что я дурак и неуч, который не знает более ходовых слов. Я их знаю, но есть слова старее и лучше, они остаются надолго, если их правильно расставить. Запомни: тот, кто щеголяет эрудицией или учёностью, не имеет ни того, ни другого. А ещё запомни, дочка, что я перестал укладывать с собой в кровать плюшевого мишку, когда мне исполнилось четыре года». Да, он рано повзрослел и поставил себе цель стать «стопроцентным американцем», добивающимся цели несмотря ни на что.

Критики и читатели отмечали, что с начала литературной деятельности произведения Хемингуэя отличались краткостью, отсутствием художественной пышности, точным подбором слов для выражения переживаний. Литературоведы объясняют этот стиль, имеющий глубокий подтекст, «законом айсберга». В нем краткость изложения позволяет читателю делать собственные выводы о глубоком значении содержания. Специально этому невозможно научиться, потому что нужно всегда помнить, чем определяется стиль того или иного художника слова. Это прежде всего объективные реалии исторического времени и субъективные особенности личности автора (биография, психология, вкус и склонности, частный опыт, мировоззрение). Стиль Хемингуэя обусловлен трагичностью времени – Первая мировая война, Вторая и другие – и собственным опытом участия в них и нравственным потрясением (тяжёлое ранение и чувство собственной ненужности). Несмотря на богатый жизненный опыт, Хемингуэй отказывается от личного комментария в отличие от Бальзака и Льва Толстого и не показывает читателю процесс анализа, как Стендаль. Тем не менее анализ у Хемингуэя есть, но он скрыт в диалогах, обыгрывании пауз, смене ритмов, повторях.

4

Лилиан Росс замечает:

Пишет Хемингуэй трудно. И только диалоги даются ему легче. То, что диалоги – это его конёк, кому же лучше знать, как не самому автору. Например, роман «За рекой в тени деревьев» практически весь состоит из диалогов.

Сам Хемингуэй объясняет эту особенность своего стиля, отчасти шутливо, так:

– Когда люди у меня разговаривают, я не могу быстро записывать их слова, не поспеваю за ними, но всегда делаю это с огромным удовольствием. Я вкладываю в фразу больше, чем она может вместить, потом отпускаю её в свободный полёт, в смелый, даже безумный полёт, как летают иногда подлинно хорошие пилоты: большую часть времени они летают спокойно, по прямой, получая удовольствие лишь от огромной скорости. Так продлеваешь жизнь. То есть, я хочу сказать, так дольше живут произведения.

Но и у Хемингуэя были учителя, сформировавшие стиль. Весной 1917 года он окончил школу. Куда идти, куда податься? В это время США вступили в Первую мировую войну на стороне Антанты. О каком университете (куда рекомендовали ему поступить родные) можно говорить, когда открывается такая блестящая перспектива, как война. Энергия, клокочущая в нём, требовала выхода, он жаждал подвига, риска, опасностей. В армию его не взяли из-за плохого зрения, но Эрнест твёрдо решил уйти из дома, из-под назойливого ока матери. Какие-то мысли и знакомства напомнили ему о газете «Стар» из Канзаса, где он мечтал работать. На счастье, в Канзасе жил и работал младший брат отца, преуспевающий бизнесмен, занимающий видное место в тамошнем обществе. Он-то и устроил племянника репортёром в эту газету, считавшуюся одной из лучших в США. Тут Эрнест попал в подчинении Пита Веллингтона, классика и «короля» репортажа. Без везения, видимо, и талантам не обойтись. Недаром существует поговорка: «Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами».

Пит при первой же встрече положил перед безусым юношей «Правила» газеты из 110 параграфов. Юный Хемингуэй прочитал первый пункт: «Пиши короткими предложениями. Первый абзац должен быть кратким. Язык должен быть сильным. Утверждай, а не отрицай». Пункт 3-й гласил: «Избегай обветшалых жаргонных словечек, особенно когда они становятся общеупотребительными». Пункт 21-й: «Избегай прилагательных, особенно таких пышных, как “потрясающий”, “великолепный”, “грандиозный”, “величественный” и тому подобное».

Честолюбивый Хемингуэй готов был день и ночь работать, лишь бы после испытательного срока его оставили в газете, ведь он мечтал написать великий роман. Он наблюдал, запоминал, старался понять мотивы человеческих поступков, улавливал манеру разговора и его особенности, жесты и даже запахи. Репортёрство – это суровая школа. О Пите Веллингтоне Хемингуэй после вспоминал: «Пит Веллингтон был твёрдым сторонником дисциплины, и я никогда не смогу достаточно точно выразить, как я благодарен, что мне пришлось работать под его руководством». Пит отзывался о молодом репортёре: «Это был крупный, добродушный парень, всегда готовый улыбаться, и он дружил со всеми в редакции, с кем ему приходилось сталкиваться».

5

В редакции «Канзас стар» Эрнест подружился со своим ровесником, уже побывавшим на войне в Европе в рядах транспортного корпуса Американского Красного Креста, где не требовалось отличных физических данных. Они решили пойти на войну и дождались новой вербовки в этот корпус. Хемингуэй попал на фронт в мае 1918 года. Двадцать два молодых американца, шоферы санитарных машин Красного Креста, получили назначение в IV отряд, дислоцировавшийся

в городке Шио в девяносто милях к востоку от Милана. Вскоре, 8 июля того же года, он получил тяжелое осколочное ранение обеих ног, спасая на нейтральной полосе раненого итальянского снайпера. В госпитале были извлечены 26 осколков, проведена операция по замене коленной чашечки. В госпитале Эрнест встретил первую любовь – медсестру Агнессу фон Куровски (Кэтрин Баркли в романе «Прощай, оружие!»). Она была значительно старше Эрнеста и после его выздоровления обещала, что приедет в США и они поженятся. Но вскоре обручилась с другим мужчиной.

В 1942 году Хемингуэй предельно откровенно определил своё юношеское отношение к войне: «Я был большим дураком, когда отправлялся на ту войну».

Жизнь не укладывается в простые схемы, тем более у такого сложного человека, как Хемингуэй. Хотя, не участвуя он в той войне, вряд ли он стал бы таким писателем, каким стал. Очевидно одно: в нём чувствовалось духовное смятение после возвращения домой из Италии, неясность будущего. В США двадцатилетний Хемингуэй вернулся героем войны, потому что итальянское правительство наградило его орденом за храбрость. Вручение ордена проходило в итальянском консульстве в Чикаго, куда специально прилетел итальянский генерал. Однако друг из газеты «Стар», приехавший его навестить, отметил: «Он вернулся фигурально и буквально растерзанным на куски». Война долго напоминала Хемингуэю о себе болями в ноге, ночными кошмарами, которые он отчасти описал в рассказе «На сон грядущий».

Восстанавливая здоровье в родных пенатах, Эрнест много читал. Прочитал все книги немалой домашней библиотеки, читал журналы и даже медицинские книги отца. Потом записался в городскую библиотеку. Решимость стать писателем крепла и поддерживала дух Хемингуэя. И в этом отношении судьба благоволила ему. Он случайно (этих счастливых случайностей в его жизни будет много) знакомится с главой торговой сети магазинов Вулворта в Канаде. Тот устраивает его внештатным обозревателем в воскресное приложение «Торонто стар уикли» при газете «Торонто дейли стар». Постоянной ставки он не имел, ему платили только за опубликованные материалы, которые не сразу понравились редактору. С февраля 1920 года Хемингуэй стал печататься в этом приложении регулярно.

Сначала он жил в Торонто у друга, а затем переехал в Чикаго и стал жить у Билла Хорна, друга по итальянскому фронту. Из Чикаго он посылал материалы в ту же газету «Торонто стар уикли». Хемингуэй вспоминал: «В Чикаго в 1920 году я старался учиться и искал незаметные детали, которые вызывают ощущения». Тут он стал знакомиться с чикагским дном и писать о нём. И в мае 1921 года «Стар уикли» опубликовала его очерк с символическим названием «Бурная политическая война между гангстерами в Чикаго». По сути, Хемингуэй становился по взглядам антиамериканистом и часто говорил друзьям, что не хочет жить в США («этой стране»).

Здесь, в Чикаго, на квартире своих старых друзей Смитов Эрнест знакомится с известными американскими писателями – Дональдом Райтом и Шервудом Андерсоном. Последний из них сыграл в его судьбе весьма заметную положительную роль. Именно он натолкнул Эрнеста на идею пожить в Париже, где, имея доллары и учитывая низкий курс франка (за один доллар давали 12 франков), можно жить очень

недорого. На этой квартире Хемингуэй знакомится с весёлой высокой девушкой с рыжими волосами – пианисткой Элизабет Хэдли Ричардсон. С ней он очень быстро сошелся, так как характерами они весьма и весьма подходили друг другу. И она тоже мечтала путешествовать по старушке Европе, невзирая на скудость средств.

6

Что-что, но профессиональная удача никогда не покидала Хемингуэя. Редактор «Торонто дейли стар» Боун предложил ему, словно читая мысли Эрнеста, поехать в Европу разъездным корреспондентом газеты со штаб-квартирой в Париже. Он предоставлял Хемингуэю свободу выбора материала, но оплату сдельную, то есть только за тот материал, который будет принят и опубликован. Шервуд Андерсон вручил ему рекомендательные письма американским художникам и писателям (Л. Галантье и Гертруде Стайн), жившим в то время в Париже. В декабре 1921 года Хемингуэй с молодой женой отплыли из Нью-Йорка в Европу.

В браке с Хэдли в 1923 году родился первый сын писателя Джон Хэдли Никанор (Бамби). Но Хемингуэй еще трижды вступал в брак, его женами становились американские журналистки. В 1927 году – Полин Пфайффер, от неё родились два сына – Патрик и Грегори. В 1937 году в Испании Хемингуэй познакомился с Мартой Геллхорн, которая стала его третьей женой. В 1944 году в Лондоне встретил Мэри Уэлш, на которой женился в марте 1946 года...

Редакция не требовала от Хемингуэя политической информации (она получала её от крупных агентств – Ассошиэйтед Пресс и Рейтер). От него ждали личных зарисовок европейской жизни, деталей быта, нравов. То есть всего того, что привлекало молодого журналиста. Они с женой много гуляли и по Парижу, и по его окрестностям, ездили в Швейцарию, Испанию, Германию. О городе начала своего творческого пути Хемингуэй отзывался очень тепло: «А вот Париж был для меня вторым домом... Я одинок и в то же время донельзя счастлив в этом городе, где мы жили, работали, учились, росли, а потом всегда стремились вернуться туда».

Всего не перескажешь о втором доме Хемингуэя. Тем более этого и не нужно делать, когда есть биографическая повесть «Праздник, который всегда с тобой», изданная уже после гибели писателя. О ней высоко отзывался Константин Симонов, очень любивший Хемингуэя и его творчество. «Эта книга о месте труда в жизни человека, об упорстве, счастье и тяжести труда, и о бессмыслице человеческого существования, лишённого этого “Праздника, который всегда с тобой”». И добавлял, что за это мы, то есть русские люди, и любим Хемингуэя.

В Париже Хемингуэй познакомился с авторитетной в писательских кругах сторонницей модернизма Гертрудой Стайн, именно ей приписывают выражение о «потерянном поколении». Она была высокого мнения о себе и своём творчестве, говоря: «Еврейская нация дала миру трёх оригинальных гениев: Христа, Спинозу и меня». Но она находила время читать рассказы и очерки Хемингуэя и давать дельные советы. За это участие Хемингуэй был благодарен Стайн. Он так оценивал её советы: «Кроме того, она открыла много верных и ценных истин о ритме и повторах и очень интересно говорила на эти темы». Гертруда Стайн, надо отдать ей должное, всячески поддерживала Хемингуэя и говорила: «...он выглядит современным, но пахнет музеями». Именно Стайн посоветовала Хемингуэю бросить работу в газете, чтобы не расплыться, а заняться только литературным трудом.

Этот совет очень помог Эрнсту в выборе дальнейшего пути, и он сохранил к Стайн искреннюю признательность и уважение на всю жизнь.

Тем не менее журналистика помогала окунуться и в бытовую, и в политическую жизнь, развивала знания и опыт восприятия увиденного и узнанного. В 1922 году он был на конференции в Генуе, где впервые увидел русских большевиков, к которым у него не возникло предвзятого отношения как лично, так и к их требованиям относительно выплаты долга России странам Запада. Уже тогда он понимал, что Запад хочет превратить Россию в колонию.

В том же году Хемингуэй брал интервью у бывшего премьера Франции Клемансо и итальянского «дуче» Муссолини. В свои 22 года он сумел разглядеть звериный оскал фашизма («чернорубашечников»), выступающего под якобы патриотическими лозунгами. В статье «Революция и контрреволюция» Хемингуэй отмечал: «Фашисты – это отрوده зубов дракона, посеянных в 1920 году, когда казалось, что вся Италия может стать большевистской».

Вернувшись из Италии в Париж, Хемингуэй получает новое задание, которому он искренне обрадовался. Редактор послал его на Ближний Восток, где шла так называемая «малая война» между Турцией и Грецией. Советская Россия оказывала всемерную помощь Турции не только поставкой ружей, снарядов, пулемётов, пушек, но и золотом. В ответ Мустафа Кемаль (Ататюрк) обещал Ленину установить в Турции социализм. Грецию поддерживала Англия своими военными советниками и войсками. Война легко могла перерасти в новую мировую бойню. Кратко скажу, что Турция победила, и Греции пришлось вернуть Турции Восточную Фракию, расположенную в континентальной Европе на северо-западном берегу Мраморного моря.

Хемингуэй сочувственно описывал греческих солдат, преданных своими же командирами: «Целый день я проезжал мимо них, грязных, усталых, небритых, обветренных, бредущих вдоль дорог коричневой, волнистой, голой Фракийской равнины». Вместе с солдатами Фракию покидало всё христианское население, боясь грядущей турецкой резни, а это сотни тысяч несчастных мирных граждан.

Спустя 30 лет Хемингуэй писал: «Я помню, как я вернулся домой с Ближнего Востока с совершенно разбитым сердцем и в Париже старался решить, должен ли я посвятить всю свою жизнь, пытаюсь сделать что-нибудь с этим, или стать писателем. И я решил, холодный, как змей, стать писателем и всю свою жизнь писать так правдиво, как смогу».

Вот в этом ключ для понимания общественной и политической позиции Хемингуэя. В ней заповедь, которой он не изменял уже никогда. Хемингуэй хотел помочь людям, борющимся против подавления человеческой личности, против превращения человека в навоз истории. Особенно его возмущала турецкая поговорка, объясняющая отношение властей к народу: «Виноват не только топор, но и дерево».

Лилян Росс признаётся, что как-то попросила Хемингуэя порекомендовать ей книги для чтения. Он прислал ей такой список. Он будет полезен и российскому читателю. «Пышка» и «Дом Телье» Мопассана; «Красное и чёрное» Стендаля; «Цветы зла» Бодлера; «Мадам Бовари» Флобера; «Будденброки» Манна; «Тарас Бульба» Гоголя; «Братья

Карамазовы» Достоевского; «Анна Каренина» и «Война и мир» Толстого; «В поисках утраченного времени» Пруста; «Алая буква» Готорна; «Алый знак доблести» Крейна; «Гекльберри Финн» Твена; «Моби Дик» Мелвилла; «Мадам де Мов» Джеймса.

Она пишет, что «Хемингуэй никогда не заблуждался насчёт того, как надо писать или каким должен быть писатель. Он ясно видел, когда писатель мало чего стоит или когда он вообще не писатель, будь у него даже громкая репутация, большие тиражи или гонорары от кинокомпаний. <...> Он писал о себе, что всю жизнь старался писать как можно лучше, как можно больше знать и понимать».

Хемингуэй презирал писателей, которые пишут о войне, никогда не понюхав пороха.

В мае 2024 года на Российском Центральном телевидении была передача, в которой эксперты из числа писателей и критиков разбирали роман Богомолова «Момент истины». И кто-то сказал, что целостного представления о Великой Отечественной войне ещё не создано, что нужен новый Лев Толстой. Нужен ли? – спросим мы. Ведь уже создана доподлинная многотомная художественная история войны многими советскими писателями-фронтовиками.

Так и в разговоре Хемингуэя и Росс зашёл разговор о писателе, который писал о войне и считал себя вторым Толстым.

«Он и выстрела-то никогда не слышал, а хочет тягаться с Толстым, артиллерийским офицером, который сражался в Севастополе и отлично знал своё дело, был настоящим мужчиной, будь то в постели, за бутылкой или же просто в пустой комнате, когда он сидел за столом и думал», – как бы заочно и наперёд ответил Хемингуэй мечтателям о «втором» Толстом.

Вторыми по неприязненному отношению Хемингуэя шли критики, с которыми, по его словам, ему меньше всего хотелось бы встречаться. «Они похожи на игроков, которые не могут даже поймать хороший мяч, а роняют его на землю и сводят на нет все усилия команды», – говорил он, прибегая к спортивной терминологии.

В книге «Зелёные холмы Африки» он рассказывал, как, читая «Севастопольские рассказы» Льва Толстого, он задумался о том огромном преимуществе, которое даёт писателю военный опыт. «Война – одна из самых важных тем, и притом такая, когда труднее всего писать правдиво, и писатели, не выдавшие войны, из зависти стараются убедить себя и других, что тема эта незначительная...» В другом случае он объяснял эту неоченимость так: «Я увидел людей в моменты нечеловеческого напряжения, я увидел, как они ведут себя до и после». Продолжая, он сказал: «Я много узнал про самого себя».

Хемингуэй, рассказывая Лилиан Росс о своём литературном пути, образно говорил:

Я начал очень скромно и побил господина Тургенева. Затем – это стоило большого труда – я побил господина де Мопассана. С господином Стендалем у меня дважды была ничья, но, кажется, в последнем раунде я выиграл по очкам. Но ничто не заставит меня выйти на ринг против господина Толстого, разве что я сойду с ума или достигну несравненного совершенства.

Нет сомнений, что русскому читателю будет приятно знать о такой высокой оценке Льва Николаевича Толстого американским писателем номер один.

Исколесив всю Европу, создав сотни репортажей на разные политические и общественные темы, в 1923 году Эрнест Хемингуэй поставил точку в журналистике. Поэт Эзра Паунд, Гертруда Стайн и другие друзья-коллеги поддержали писателя в его решении. В марте 1924 года Уильям Бёрд издал в Париже тиражом в 170 экземпляров сборник прозаических миниатюр Хемингуэя «В наше время». Через полтора года уже в Нью-Йорке тиражом в 1335 экземпляров был издан тот же сборник под тем же названием. Он не остался незамеченным. В Париже Хемингуэя разыскал представитель американского издательства «Скрибнерс», которое издало в октябре 1926 года первый роман «Фиеста (И восходит солнце)». Роман написан по впечатлениям от Испании, от боя быков, от общения с матадорами, от бесцельной жизни участников Первой мировой войны, которых называли «потерянным поколением» с лёгкой руки Г. Стайн. Но этот роман нельзя рассматривать как апологию этих нравственно опустошенных войной людей. Да, были эти люди, говорит Хемингуэй, но был журналист Джейк Барнс (главный герой), писатель Билл Гортон, матадор Педро Ромео, никогда не забывающие о работе. Он характеризовал «Фиесту» как «чертовски грустную историю, показывающую, как люди разрушают себя». Тираж разошёлся молниеносно, и издательство «Скрибнерс» заключило долгосрочный контакт с Хемингуэем на право первой публикации всех его будущих произведений.

К этому времени (конец 20-х годов) относятся его отношения с Полин Пфайффер. Полин была очень решительной молодой леди. Её отец и дядя были настолько богаты, что практически владели городом Пигготт, штат Арканзас, где она выросла, полагая, что может иметь все, что захочет. О том, как Полин Пфайффер отбивала его от Хэдли, Хемингуэй расскажет в романе «Райский сад», изданном уже после его смерти. Дядя второй жены подарил им дом в Ки-Уэсте (южная оконечность штата Флорида), который пришёлся по душе Хемингуэю, так как городок живо напоминал любимую Испанию и был заселён практически полностью испанцами. Так он оказался вблизи от Кубы, а потом и на самом острове.

Друг Хемингуэя и ещё один великий американский писатель Скотт Фицджеральд предупреждал Эрнеста, что Полин намеренно отбивает его от первой жены. «Каково это – быть рядом с таким богатым человеком, когда он был таким бедным? Тогда, честно говоря, мне, наверное, это нравилось: бедность – это болезнь, которую лечат лекарством денег. Думаю, мне нравилось, как она проводила время – дизайнерская одежда, такси, рестораны», – вспоминал спустя некоторое время Хемингуэй.

В 1929 году в журнале «Скрибнерс мэгэзин» появился первый отрывок второго романа Хемингуэя «Прощай, оружие!». Однако номер журнала со вторым отрывком произведения был запрещен к продаже в Бостоне. Причина – главный герой романа, Фредерик Генри, вступает во внебрачную связь с медсестрой Кэтрин Баркли, что для пуританской Америки было недопустимо. Но, как часто случается, плохая реклама – лучшая реклама. Как только американцы узнали о причине запрета, тиражи номеров «Скрибнерс мэгэзин» с отрывками из романа «Прощай, оружие!» выросли многократно. Энциклопедия Britannica оценивает этот роман как основополагающую работу Хемингуэя, роман великой силы, в котором сочетаются история любви и история войны.

В романе «Прощай, оружие!» привлекает внимание разговор итальянских автомехаников, который происходит при лейтенанте, главным героем Фредерике Генри:

– Мы думаем. Мы читаем. Мы не крестьяне. Мы механики. Но даже крестьяне не такие дураки, чтобы верить в войну. Все ненавидят войну.

– Страной правит класс, который глуп и ничего не понимает и не поймёт никогда. Вот почему мы воюем. Эти люди ещё наживаются на войне.

После издания книги «Смерть после полудня» (1932), ставший бестселлером, к Эрнесту Хемингуэю пришла мировая слава, утвердившая за автором статус американского писателя номер один.

В начале тридцатых годов, оказавшись в центре общественного внимания, Хемингуэй заболел звёздной болезнью. Он много путешествует, ведёт так называемый богемный образ жизни. Его спутницами по путешествиям становятся фотомодели, актрисы, журналистки, а то и просто богатые и красивые дамы. Недаром в рассказе «Снега Килиманджаро» Хемингуэй от лица главного героя язвительно пишет и о себе, что каждая новая его жена была богаче предыдущей.

Однако и в эти годы он ни на час не отходит от своего писательского графика. В 6.30 вставать и до обеда работать за письменным столом. Но самое главное в том, что Хемингуэй отчётливо понимал негативную силу денег, разрушающих личность. «Позже, когда реальность дошла до меня, я увидел богатых такими, какие они есть: проклятое заболевание, подобное грибку, убивающему помидоры», – писал он.

В заключительных строках повести «Праздник, который всегда с тобой» он констатирует:

А потом приходят богачи, и всё безвозвратно меняется. <...> Поддавшись обаянию этих богачей, я стал доверчивым и глупым, как пойнтер, который готов идти за любым человеком с ружьём... <...> Они... каждый день превращают в фиесту, а насытившись, уходят дальше, оставляя позади мёртвую пустыню, какой не оставляли копыта коней Аттилы. <...> Всё по-настоящему плохое начинается с самого невинного.

В 1933 году Хемингуэй осуществил давнюю мечту: он отправился на сафари в Восточную Африку. В районе озера Танганьика был разбит лагерь, откуда он с проводником отправлялся на охоту. Сафари было удачным, но приключение закончилось в госпитале, где Хемингуэя едва спасли от тяжелой амебной дизентерии. Этот период своей жизни Хемингуэй талантливо отразил в рассказах «Снега Килиманджаро» и «Недолгое счастье Френсиса Макомбера» (1936). А также в книге «Зеленые холмы Африки» (1935).

9

Жизнь Хемингуэя круто изменилась в 1936 году после начала Гражданской войны в Испании (1936–1939) между республиканцами и фашистским режимом Франко. Хемингуэй организовал сбор средств и одежды в поддержку республиканцев. В июне 1937 года после первой поездки в Испанию на 2-м Конгрессе американских писателей (что-то сродни советскому Съезду писателей) он произносит зажигательную речь против фашизма. Хемингуэй говорил:

Задача писателя неизменна. Сам он меняется, но задача его остаётся та же. Она всегда в том, чтобы писать правдиво и, поняв, в чём правда, выразить её так,

чтобы она вошла в сознание читателя частью его собственного опыта. <...> Есть только одна политическая система, которая не может дать хороших писателей, и система эта – фашизм. Потому что фашизм – это ложь, изрекаемая бандитами. Писатель, который не хочет лгать, не может жить и работать при фашизме. <...> ...Глядя на их (борцов против фашизма. – М. Ч.) жизнь, и борьбу, и смерть, начинаешь понимать, что есть вещи и хуже войны. Трусость хуже, предательство хуже, эгоизм хуже.

Первая поездка в воюющую Испанию (март–май 1937 года) была сопряжена с созданием документального фильма об испанских событиях. Хемингуэй писал авторский текст, а режиссёр-документалист Йорис Ивенс и его оператор Д. Ферно обеспечивали съёмочную часть. В Испании Хемингуэй знакомится с Антуаном де Сент-Экзюпери, объезжает основные фронты, завязывает дружеские отношения с 11-й и 12-й интербригадами, часто посещает отель «Гэйлорд» – главную резиденцию русской колонии. Здесь он подружился с советским режиссёром Романом Карменом, журналистом Михаилом Кольцовым (Фридлянд), выведенным в романе «По ком звонит колокол» под фамилией Карков. О нём и его «Испанском дневнике» Хемингуэй очень тепло отзывался. Во время второй поездки, в августе–декабре, того же года Хемингуэй продолжает репортёрскую работу и за этот срок пишет в осаждённом Мадриде пьесу «Пятая колонна». Во время третьей поездки (апрель–май 1938 года) Хемингуэй объехал самый трудный фронт по реке Эбро, а возвратившись в США, выступил с острыми политическими статьями в журнале «Кен», предупреждая об угрозе Второй мировой войны и требуя помощи испанскому народу. Четвертая поездка состоялась в конце 1938 года, когда положение республиканцев было уже критическим. В 1937 году в Испании Хемингуэй познакомился с Мартой Геллхорн – третьей своей женой.

После падения республики в Испании Хемингуэй уезжает с новой женой на Кубу. На Кубе Марта Геллхорн в 1941 году покупает усадьбу «Финка Вихия», которая становится его домом до 1960 года. С 1 марта 1939-го Хемингуэй начал упорно трудиться над романом «По ком звонит колокол», выбрав эпиграфом исключительно точные и подходящие к содержанию романа слова английского поэта Джона Донна: «...Смерть каждого Человека умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством, а потому не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол: он звонит по Тебе». Осенью 1940 года издательство «Скрибнерс» 75-тысячным тиражом выпустило в свет роман Хемингуэя «По ком звонит колокол».

Вступление США после Перл-Харбора во Вторую мировую войну застаёт Хемингуэя на Кубе. Здесь он организовал на собственном катере «Пилар» слежку за немецкими подводными лодками в Карибском море. В начале 1944 году писатель отправился в Лондон как военкор. Здесь он знакомится с журналисткой Мэри Уэлш, ставшей четвёртой женой с 1946 года. В июне он участвовал в высадке десанта союзников в Нормандии. Позже принял участие в боях за Париж, Бельгию, Эльзас. Но по международной конвенции журналистам запрещалось участвовать в боях с оружием в руках, поэтому писатель оказался под следствием. На родине, в США, за репортёрскую работу, которая передавала точную картину боевых действий, писатель был награжден Бронзовой звездой.

После войны Хемингуэй почти постоянно живёт на Кубе, лишь изредка навещая старушку Европу. В 1952 году он написал повесть «Старик и море». Это история пожилого бедного кубинского рыбака,

на крючок которого попался огромный марлин. Старик в одиночестве несколько дней противостоит океану и рыбе, полагаясь только на волю и упорство, физических сил у него мало. Судьба оказалась к бедняку несправедливой: на обратном пути рыбу обглодали акулы. За этот рассказ в 1953 году автор был награжден самой престижной американской Пулитцеровской премией. Это произведение повлияло и на присуждение Хемингуэю в 1954 году Нобелевской премии в области литературы.

10

Лириан Росс, рассказывая о встречах с Хемингуэем, уделяет немалое внимание тому факту, что Хемингуэй любил выпить нечто более крепкое, чем шампанское и сухой мартини.

В частности, она пишет: «Бармен принёс напитки. Хемингуэй сделал несколько больших глотков и сказал, что «прекрасно ладит с животными, иногда лучше, чем с людьми. <...> “Я люблю ходить в зоопарк. Но не по воскресеньям. Я не люблю смотреть, как люди насмеются над животными, ведь правильнее было бы наоборот”». Ещё он говорил, что в Монтане с ним жил медведь, который напивался с ним и спал рядом, и они были добрыми друзьями.

Хемингуэй с болью в сердце описывает раненого льва в новелле «Недолгое счастье Френсиса Макомбера». Чувствуется, что это сострадание родственно по тональности описания рассказу Льва Толстого «Холстомер». И тем более удивительно, что Хемингуэй безжалостно расстреливает диких животных. Привычка, выработанная с детства? Или реноме стопроцентного американца (хотя, как показано выше, ставши известным писателем, он почти и не жил в США) диктовало свои условия и привычки? В поместье «Финка Вихия», в девяти милях от Гаваны, он жил с женой, девятью слугами, пятьюдесятью двумя кошками, шестнадцатью собаками, двумя сотнями голубей и тремя коровами. Видимо, Хемингуэй, заботясь о них, как бы снимал грех с души за ранее убитых животных.

В декабре 1949 года Лириан Росс встречала возвращающихся с Кубы Хемингуэя и его жену (Мэри Уэлш) в нью-йоркском аэропорту. «Не мой это город. Это город, в который можно только заглянуть. Он убивает», – говорил ей Хемингуэй.

Она так описала его внешность:

Длинные зачёсанные назад волосы были совсем белые на висках, как и усы и неровно подстриженная короткая борода. Над левым глазом шишка величиной с грецкий орех. Глаза прикрыты очками в стальной оправе, на переносице под дужку был подложен кусочек бумаги.

Когда они приехали в отель и вошли в номер, который Хемингуэй охарактеризовал как «берлога что надо», Мэри подошла к книжному шкафу:

– Взгляни-ка, Папа, – сказала она. – Они фальшивые. Это не настоящие книги, Папа, а одни корешки.

Хемингуэй подошёл к шкафу и с выражением прочитал названия: «Начальная экономия», «Правительство Соединённых Штатов», «Швеция – земля и люди», «Спи спокойно» Феллиса Бентли.

– Похоже, что мы неуклонно идём к угасанию, – сказал он, стаскивая с себя галстук.

Спустя 75 лет от описываемых событий мы воочию убеждаемся в пророческой мудрости Хемингуэя.

11

Хемингуэя у нас издавали и запрещали, ему поклонялись и его обличали, превозносили и разочаровывались. И во многом это определялось взаимоотношениями двух великих держав: СССР и США. По сути, СССР спас США от Великой депрессии, купив в 1929 году за золото автомобильный завод Форда (проект американского Бюро Альберта Кана) и укоренив его с помощью американских инженеров (компания «Остин») в городе Горьком (тогда Нижний Новгород). Нас потянуло друг к другу. Русские и американцы, ощущая себя великими нациями, хотели как можно больше знать о людях «заклятых друзей» и дружественных соседей (ширина Берингова пролива меньше 100 км). Уже в 1934 году в Москве появился первый сборник рассказов Хемингуэя «Смерть после полудня». Через год Иван Кашкин (ударение на второй слог) переводит роман «Фиеста», а ещё через год издаётся «Прощай, оружие!». В 1939 году выходит сборник «Пятая колонна» и первые 38 рассказов. Русские люди и руководство СССР оценили антифашистскую деятельность и творчество Эрнеста Хемингуэя.

Но вот появляется роман «По ком звонит колокол» о Гражданской войне в Испании, и добрые отношения Советского Союза с автором романа закончились. Основной причиной послужила негативная реакция Долорес Ибаррури, недовольной изображением республиканцев и коммунистов в романе, и положительный образ журналиста Каркова (Кольцова), расстрелянного в 1940 году в СССР как «враг народа». В 40-е и первую половину 50-х годов Хемингуэй в Советском Союзе был почти под запретом. Газета «Правда» резко критиковала в 1952 году только что вышедшую (ещё не переведённую) повесть «Старик и море». И все же в 1955 году «Старика и море» издали в Советском Союзе. Потом, в 1959-м, вышел из печати «чёрный двухтомник» Хемингуэя, и каждый интеллигент в СССР считал своим долгом иметь на стене квартиры или кабинета портрет Хемингуэя в свитере грубой вязки с высоким горлом.

Хемингуэй переписывался с Константином Симоновым, Борисом Пастернаком и Иваном Кашкиным. Вот отрывок из его письма Симонову от 20 июня 1946 года:

Дорогой Симонов!

Книга Ваша пришла вчера вечером. Я читал ее сегодня и напишу Вам в Москву, когда кончу ее... <...> Всю эту войну я надеялся поехать вместе с войсками Советского Союза и повидать, как здорово вы деретесь, но я не считал себя вправе быть военным корреспондентом в ваших рядах, во-первых, потому, что я не говорю по-русски, и, во-вторых, потому, что я считал, что буду полезнее в уничтожении «кочерыжек» (так мы прозвали немцев) на другой работе. Почти два года я провел в море на тяжелых заданиях. Потом отравился в Англию и перед вторжением летал с Королевским воздушным флотом как военный корреспондент, участвовал в высадке в Нормандии...

Есть в Советском Союзе молодой (теперь, должно быть, старый) человек по имени Кашкин. Говорят, рыжеволосый (теперь, должно быть, седой). Он лучший из всех критиков и переводчиков, какие мною когда-либо занимались. Если повстречаете его, пожалуйста, передайте

ему мои лучшие пожелания. Был ли переведен на русский язык роман «По ком звонит колокол»? Я читал статью о нем Эренбурга, но о переводе не слышал. Его можно было бы издать с небольшими изменениями или пропуском некоторых имен. Мне бы хотелось, чтобы Вы прочли его. Он не о той войне, какую мы пережили за эти несколько лет. Но как рассказ о малой партизанской войне – и то неплохо; и там есть место о том, как мы убиваем фашистов, которое должно Вам понравиться.

Желаю удачи и счастливого пути!

Ваш Эрнест Хемингуэй.

Симонов писал о Хемингуэе: «Невозможно представить себе Хемингуэя, который простил бы своему герою скаредность, вероломство или трусость, измену под угрозой смерти или продажу своих идей за чечевичную похлебку». И добавлял, что за это русские читатели и любят писателя и Человека по имени Эрнест Хемингуэй.

12

Летом 1959 года Хемингуэй живёт в Испании и следит за состязанием двух знаменитых матадоров. Осенью покупает дом на окраине горного городка Кетчум в штате Айдахо. Здесь он рассказывает об этом состязании в книге «Опасное лето». С января по май 1960 года Хемингуэй работает на Кубе в «Финке Вихия». Здесь его навещает А.И. Микоян – первый заместитель председателя Совета министров СССР. Словно предчувствуя неладное, осенью 1960 года Хемингуэй в последний раз посетил любимую им Испанию, как бы прощаясь с ней. Здесь резко ухудшилось его физическое состояние, и Хемингуэй с женой переезжают в Кетчум. Из окон дома, стоящего на склоне горы, открывались завораживающие виды, но они уже мало трогали Хемингуэя.

На его физическом и психическом состоянии сказались увлечения алкоголем, многочисленные ранения, травмы, последствия перенесенных авто- и авиакатастроф, сахарный диабет. Хемингуэй не без основания считал, что за ним следит ФБР. Впоследствии этот факт подтвердился. Психиатры же решили, что это мания преследования и паранойя, и рекомендовали лечение электрошоком (электросудорожная терапия). От такого жестокого способа лечения Хемингуэй стал терять память, очень переживал из-за этого, понимая, что без памяти нет писателя. Всё это усиливало депрессию. В разговоре с друзьями он говорил: «Мужчина не имеет права умирать в постели. Либо в бою, либо пуля в лоб». Будучи в тяжелом состоянии, писатель, не дожив девятнадцать дней до своего 62-летия, застрелился рано утром 2 июля 1961 года.

Он не оставил никакой записки.

Супруга посмертно опубликовала его последние большие произведения «Праздник, который всегда с тобой», «Острова в океане», «Райский сад».

Хемингуэй писал Ивану Кашкину в 1939 году: «Мне очень хочется повидать Вас и побывать в СССР». Но не случилось, зато его книги, легенды о нём, его взгляды на мир и войну пришли в Россию и до сих пор волнуют российского читателя.

Игорь АЛЬМЕЧИТОВ

Родился в 1973 году в Воронеже. Окончил факультет романо-германской филологии Воронежского государственного университета. Проходил срочную службу в Российской армии.

Публиковался в журналах «Нижний Новгород», «Подъем», «Урал», «Дальний Восток» и других, в сетевых изданиях. Победитель литературного конкурса русскоязычных авторов «Литературная Вена» в номинации «Малая проза» (2013). Автор трех романов, а также сборников прозы и публицистики.

Живет в Воронеже.

«Я УНИЖЕН, КАК ПОСЛЕДНИЙ СУКИН СЫН...»

130 лет со дня рождения Михаила Зощенко

Удивительно, как история повторяет самое себя. Причем буквально безо всяких исключений. И не только в мировых масштабах, но и в отдельно взятых человеческих судьбах...

Михаил Зощенко, годами унижаемый при жизни властью предрержащими, навсегда остался частью русскоязычной культуры, в то время, как имена его гонителей давно канули в Лету, либо вспоминаются лишь узким кругом специалистов по русской и советской литературе, да и то лишь в привязке к жизни и творчеству знаменитого писателя-сатирика...

К сожалению, мало кто читает в наше время по-настоящему знакового для своей эпохи автора. А если кто-то и вспоминает о нём, то не больше, чем в связи с передающейся из уст в уста фамилией, которая уже стала едва ли не нарицательной. Но почему и из-за чего она стала нарицательной, вряд ли припомнит даже большинство из тех, кого принято считать «людьми культурными и образованными». И уже совсем мало тех, кто «выудит» из глубин памяти хоть что-то из творчества знаменитого писателя. Что-то туманное и неопределённое. Живущее своей отдельной жизнью где-то на периферии сознания... Вроде бы писал он что-то сатирическое. Но писал языком, который уж как-то явно не дотягивал до лучших образцов русской классики...

И тем не менее, несмотря на «короткую память» потомков, после себя Михаил Зощенко оставил очень заметный след в русской в целом и советской в частности литературе.

Будущий знаменитый писатель родился в 1894 году в Санкт-Петербурге в семье потомственных дворян и по отцовской, и по материнской линии. Отец его был художником, а мама, ещё до замужества, была

актрисой и писала рассказы, которые периодически публиковались в петербургской бульварной газете «Копейка». Потому Михаил Зощенко с самого рождения находился в творческом окружении.

С началом Первой мировой войны в 1914 году Зощенко ушёл добровольцем на фронт, окончив ускоренные офицерские курсы. На фронте он был ранен и фактически закончил Первую мировую в начале 1917 года в госпитале после газовой атаки немцев и, соответственно, сильного отравления газами. Что сказалось на всём его дальнейшем здоровье, так как отравление дало сильное осложнение на внутренние органы и привело к сердечному приступу и долгому лечению в госпитале (забегая вперед, стоит сказать, что и смерть Зощенко в 1958 году также наступила от острой сердечной недостаточности).

Тем не менее Первую мировую войну Зощенко окончил кавалером четырех орденов Российской империи (один из которых – при уже подписанном представлении – будущий писатель так и не смог получить из-за начавшейся в России февральской революции 1917 года).

В 1919 году он записался добровольцем в Красную армию и участвовал в боевых действиях под Нарвой и Ямбургом, но был комиссован после очередного рецидива болезни, связанной с отравлением газами в Первую мировую войну.

Зощенко поменял множество профессий, не остановившись в итоге ни на одной из них. Но привычка писать еще с детства, судя по всему, и привела его в большую литературу.

Обучение писательскому мастерству в литературной студии Корнея Чуковского при издательстве «Всемирная литература», вероятно, и стало той последней каплей, которая определила дальнейшую судьбу Михаила Зощенко, окончательно сформировав его, как писателя.

В 20–30-х годах прошлого века – ту эпоху, когда свобода слова ещё допускалась в советской литературе, – Зощенко с его сатирическими рассказами ждал ошеломительный успех. Как, впрочем, и большинство писателей, составлявших в то время литературную группу «Серапионовы братья».

Все члены группы намеренно избегали пустой демагогии, чурались политических окрасок произведений и славословия в угоду действующей власти, предпочитая им независимость в своих суждениях и высказываниях.

Сам Зощенко создал в то время и своего постоянного «героя» – простака-обывателя с примитивной бытовой моралью и достаточно убогим и банальным взглядом на окружающее... Что до определённой степени шло в пик как классической русской литературе, так и уже зарождающемуся стилю советского реализма. Зощенко же намеренно ушел и от одного и от другого, используя в своих текстах формы выражения мыслей от лица обычного «среднестатистического» рассказчика обычным же «среднестатистическим» языком.

Возможно, именно его где-то ироничный, где-то сатирический стиль и отозвался таким резонансом в большинстве читателей той поры, когда ещё не было ни интернета, ни телевидения, ни даже радио в его нынешнем понимании. И где вся необходимая информация черпалась именно из печатного слова...

С момента нападения Третьего рейха на СССР Зощенко хотел уйти добровольцем на фронт как человек, имеющий огромный боевой опыт. Но на призывном пункте его забраковали по состоянию здоровья. Тогда он вступил в противопожарную оборону, чтобы бороться с зажигатель-

ными бомбами врага и тушить их на улицах и крышах домов. Осенью 1941 года Зоценко в числе прочих непригодных для фронта эвакуировали в Казахстан. Но и там, живя в Алма-Ате, он писал военные рассказы и антифашистские фельетоны, чтобы хоть как-то быть полезным фронту.

Переломным моментом в его жизни и отношении к нему советской власти стала публикация первых глав его повести «Перед восходом солнца». Той автобиографичной повести-исповеди, которая стала ключевой в творчестве писателя и где Зоценко препарирует собственные чувства и пытается понять причины своих постоянных фобий, извечную меланхолию и страх перед жизнью...

После публикации первых глав повести в 1943 году в журнале «Октябрь» звезду Зоценко начали целенаправленно и «насиленно закатывать». Последний и самый страшный удар случился в 1946 году, когда его окончательно заклеямили как труса и уклониста от фронта, несмотря на то что он неоднократно пытался попасть туда добровольцем и уже после войны был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» за работу в тылу на помощь фронту.

В августе 1946 года вышло постановление оргбюро ЦК ВКП(б), где жесточайшей и разгромной критике подверглись литературные журналы «Звезда» и «Ленинград» за то, что те публиковали на своих страницах произведения Михаила Зоценко и Анны Ахматовой. Журнал «Ленинград» после этого был закрыт.

Вот лишь часть того разгромного постановления: «...грубой ошибкой “Звезды” является предоставление литературной трибуны писателю Зоценко, произведения которого чужды советской литературе. Редакции “Звезды” известно, что Зоценко давно специализировался на писании пустых, бессодержательных и пошлых вещей, на проповеди гнилой безыдейности, пошлости и аполитичности, рассчитанных на то, чтобы дезориентировать нашу молодёжь и отравить её сознание. Последний из опубликованных рассказов Зоценко “Приключения обезьяны” (“Звезда”, № 5–6 за 1946 г.) представляет пошлый пасквиль на советский быт и на советских людей. Зоценко изображает советские порядки и советских людей в уродливо карикатурной форме, клеветнически представляя советских людей примитивными, малокультурными, глупыми, с обывательскими вкусами и нравами. Злостно хулиганское изображение Зоценко нашей действительности сопровождается антисоветскими выпадами.

Предоставление страниц “Звезды” таким пошлякам и подонкам литературы, как Зоценко, тем более недопустимо, что редакции “Звезды” хорошо известна физиономия Зоценко и недостойное поведение его во время войны, когда Зоценко, ничем не помогая советскому народу в его борьбе против немецких захватчиков, написал такую омерзительную вещь, как “Перед восходом солнца”, оценка которой, как и оценка всего литературного “творчества” Зоценко, была дана на страницах журнала “Большевик”».

Зоценко лично клеймил секретарь ЦК ВКП(б) А. Жданов, обвиняя в том, что тот «подло окопался в тылу, когда весь советский народ сражался на фронтах с захватчиками».

Зоценко исключили из Союза писателей, лишив его всех средств к существованию. Перестали упоминать его имя в прессе и даже в книгах иностранных авторов, которые он переводил на русский язык,

перестали упоминать его имя как переводчика. Его «хорошие» знакомые либо те, кого он считал близкими друзьями, стали обходить его, как прокаженного, также боясь попасть «на карандаш», а уже оттуда – в жернова безжалостной тоталитарной системы...

Сам же Зощенко не пошёл на сделку с собственной совестью и не стал «каяться» в несуществующих грехах, живя, по сути, нищенской жизнью и перебиваясь случайными заработками. Сохранилась и его речь на собрании Союза писателей уже в 1954 году (год спустя после кончины И.В. Сталина), куда Зощенко пригласили признать свои ошибки и где он дословно сказал в том числе следующее: «...я могу сказать – моя литературная жизнь и судьба при такой ситуации закончены. У меня нет выхода. Сатирик должен быть морально чистым человеком, а я унижен, как последний сукин сын... У меня нет ничего в дальнейшем. Ничего. Я не собираюсь ничего просить. Не надо мне вашего снисхождения – ни вашего Друзина, ни вашей брани и криков. Я больше чем устал. Я приму любую иную судьбу, чем ту, которую имею»...

И даже вроде бы рядовая история, которая случилась (или якобы случилась) с Зощенко в одной из поликлиник Ленинграда в своей горькой ироничности, как нельзя лучше отражает отношение знаменитого писателя и к себе самому, и к собственной жизни.

Говорят, в начале 50-х годов прошлого века к одному из известных ленинградских врачей на приём пришел скромный пациент невысокого роста и хрупкого телосложения. Он пожаловался на отсутствие аппетита, апатию и постоянные приступы меланхолии. Из общения с врачом выяснилось, что пациент перепробовал все возможные и доступные ему средства. Но ничего ему так и не помогло.

Врач, видя, что перед ним ипохондрик, предложил пациенту интересный выход из ситуации и неожиданное средство лечения, чтобы развеять тревоги и сомнения последнего. А именно: читать перед завтраком, обедом и ужином по сатиричному рассказу писателя Зощенко. Предполагалось, что сатира и юмор в литературных произведениях отвлекут пациента от своих страхов и сомнений и позволят посмотреть на окружающий мир под другим, более позитивным углом зрения.

После чего врач, очевидно почувствовав, что перед ним интеллигентный человек, который вряд ли донесёт на него, добавил, что после того разгрома, который Зощенко устроили в прессе, найти произведения автора теперь не так просто. Но в медицинских целях и чтобы попробовать «экспериментальное лечение», врач под строжайшим секретом готов дать пациенту книгу рассказов Зощенко из собственной библиотеки с условием своевременного возврата.

На что пациент лишь грустно улыбнулся и со вздохом произнёс:

– Увы, мне это не поможет. Я и есть тот самый Зощенко...

Мемуары

Владимир АЛЕЙНИКОВ

Родился в 1946 году в Перми. Вырос на Украине, в Кривом Роге. Окончил искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ. Основатель и лидер легендарного литературного содружества СМОГ. При советской власти на Родине не издавался. Работал в археологических экспедициях, грузчиком, дворником, в школе, в многотиражной газете, редактором в издательстве. В 1980-х был известен как переводчик поэзии народов СССР. Первые книги стихов вышли в 1987 году. Автор многих книг стихов и прозы – воспоминаний об ушедшей эпохе и своих современниках.

Стихи переведены на различные языки. Награждён медалью Кирилла и Мефодия за выдающиеся достижения в отечественной словесности (1996), медалью Циолковского – за космический масштаб его поэзии (2006). Лауреат премии имени Андрея Белого (1980), Международной Отметины имени Давида Бурлюка (2011), Бунинской премии (2012). Живёт в Коктебеле.

И ПР.

Фрагмент

...Вспоминаю начало восьмидесятых, и в этом времени – Кублановского, в ореоле своей тогдашней, из ничего буквально возникшей, известности храброго «метропольца», очередного героя нашего времени, гонимого властями страдальца и натурального мученика, лютой ненавистью ненавидящего коммунистическую идеологию, всем своим вольнолюбивым, правдивым, в полной мере гражданственным, на демократических принципах базирующимся творчеством упрямо противостоящего кондовому и лживому советскому режиму, полноправного и незаменимого участника знаменитого в писательских кругах альманаха «Метрополь», как, впрочем, и тоже, на поверку, на пустом месте возникшей и ничего не только по большому, с планетарным, видать, размахом, но и по простому, скромному, житейскому, человеческому, обычному счёту не стоящей известности его альманашных соратников, но зато понта, глуповатого изначально и дурацкого вскорости гонора, видимо, из-за осознанной им наконец-то собственной миссии просветителя и учителя жизни для всей горемычной России, чванливой гордости по поводу содеянного им, некой чуть ли не заговорщицкой, но вскоре уже не скрываемой и напоказ выставляемой радости, по вполне понятной причине окончательного выбора им удобной и выгодной во всех отношениях позиции, маскарадной таинственности и липовой многозначительности было тогда в поведении Куба – на десятерых, и он, в отличие от меня, от Губанова, от Величанского, был в курсе всех

литературных событий, всех кулуарных интриг, всех происшествий, – и с удовольствием, смакуя свои слова, осознавая свою несомненную, в отличие от нас, его бывших товарищей, причастность к литературному процессу, он, при всяком удобном случае, рассказывал нам что-нибудь этакое, новенькое, свеженькое, не успевшее залежаться, связанное с узнаваемыми литературными персонажами.

Так однажды поведал мне Куб – впрочем, замечу, в дальнейшем об этом охотнейшим образом и другие люди рассказывали – ну а может, и сам я там был, – или это мне просто приснилось? – нет, конечно же, это – явь, но – похожая слишком на сон, быль с налётом фантазмагории, – вот какую, из ряда вон выходящую, вне времён, любопытную, право, историю.

В ЦДЛ – Центральном Доме литераторов – гадюшнике – так мы с друзьями обычно его называли – появилось вдруг объявление.

Скромное объявление.

Но – со смыслом.

И с подтекстом, надо полагать, немалым.

А может, и с юмором даже.

Кто его знает?

Мало ли что могло в нём таиться?

Мало ли что стояло тогда за ним?

Важно, что появилось – объявление.

И в нём сказано было, что именно здесь, в гадюшнике, состоится – вечер Ерофеева.

Слух об этом вырвался из стен литераторского дворца – и мгновенно облетел всю Москву.

Все, читавшие ерофеевскую повесть или хотя бы слышавшие о том, что есть вот такой, необычный, помягче скажем, писатель, из непечатающихся, но широко известных в самиздате, не на шутку разволновались.

Ничего себе!

В такое глухое время – и нате вам, вечер.

И не кого-нибудь там, не Вознесенского, не Рождественского, не Окуджавы даже, и не Битова, за которого, как сообщала одна из советских газет, двух небитых дают, – а самого Ерофеева!

– Того самого!

– Запретного!

– Властью гонимого!

Певца алкоголя и повального пьянства отечественного – да и в жизни, как все говорят, человека очень даже пьющего.

Надо же!

Из подполья – и на свет, к людям!

– Неужели – разрешили?

– Неужели – позволили?

Слухи именно летели по столице.

Вовсе не ползли.

Разлетались, по всем её углам и закоулкам, по мастерским художников и квартирам интеллигентов.

Слухи были – оправданными.

- Да, представьте себе, вечер.
- Ерофеевский. В ЦДЛ.
- Сами видели объявление.
- Там написано: Ерофеев.

И вот, в соответствующий день, к нужному часу, народ потянулся со всей Москвы в одном направлении – к Дому литераторов.

И вскоре у входа в гадюшник бурлила громадная людская толпа.

Все знакомые успели созвониться, друг другу сообщить:

– Скорее – на вечер Ерофеева!

Литераторы,

официальные, но, тем не менее, гордящиеся тем, что в некоторых, пусть и редких, редчайших случаях, даже им, тоже не лыком шитым, не пальцем деланным, удавалось им, да, представьте, удавалось обходить и надувать грозную цензуру,

и неофициальные, которым на любую цензуру было наплевать, поскольку что хотели, то и писали, без малейшей надежды на издания, что приходило в голову, то и говорили, правду-матку резали запросто, ничего не страшась, вроде бы, формализм такой выдавали, что куда там до них каким-нибудь авангардным писателям западным, –

все, из всех лагерей, из всех групп, содружеств и сборищ, жаждали воочию увидеть своего собрата по перу.

Люди самиздата,

не единожды, а многожды, увлечённо, вдохновенно, целенаправленно, для себя самих, для своих друзей, для приятелей, для знакомых, день за днём, а то и ночами, год за годом, уже по привычке, по традиции давней отечественной, по причине любви огромной к нелегальщине, к полузапретной и запретной литературе, на машинках своих выносливых, в нескольких экземплярах, под копирку, перепечатывавшие ерофеевские «Москва – Петушки» (поскольку перепечатывать-то, из сочинений этого автора, больше и нечего было, если уж честно сказать), составляли в этой толпе большинство.

Пришли художники,

бородатые в основном, редко кто с усами или бритый, могучими кучками собирающиеся, свой к своим, исподлобья по сторонам поглядывающие, всё вокруг примечающие зорким взором, этакие откровенные богемщики, по природе своей, по призванию, обитатели подвалов, чердаков, балагуры, молчуны, выпивохи, ворчуны, острословы, отшельники, кто каков уж есть, в свитерах, старых куртках, потёртых джинсах, пусть на Западе давным-давно известные, но в родной своей стране, как водится, подпольные, авангардные, сплошь неофициальные – и, в отличие от них, официальные псевдохудожники, тоже кучкующиеся со своими, сытые, деловитые, сплошь нарядные, ухоженные, московские.

Но и у тех и у других была и полностью совпадающая тайная мысль –

изобразить бы Веничку, при случае!

Увековечить – как Зверев говаривал.

Надежда на этот случай, на такое вот негаданное чудо – прочно жила в сердцах пришедших сюда художников.

(Поговаривают, что видели там даже Толю Зверева.

Он подъехал сюда на такси. Буркнул шефу, чтоб подождал. Грузно, боком, с охами, ахами, причитаниями, прибаутками, зарифмованными парадоксами, вылез на тротуар.

К гению авангарда, сминая всё на своём пути, моментально ринулась ликующая орда художников разномастных:

– Толя!

– Приехал Толя!

– Анатоль!

– Тимофеич!

– Зверев!

– Братцы, это же Зверев!

– Приветствуем вас!

– Привет!

Зверев брезгливо поморщился.

Отшатнулся от всей орды.

И спросил:

– А где Ерофеев?

И ему ответили:

– Ждём!

И махнул тогда Зверев устало гениальной своей рукой всей богемной орде:

– Ну, ждите!..

Повернулся спиной к ним.

И полез обратно в такси.

И машина с места рванулась.

И помчался в ней Толя Зверев, приговаривая: «Хорэ!» – всё вперёд и вперёд куда-то, но куда же? – да кто его знает! – может, в Гиблово-Свиблово, может – к реалистам, а может – к Плавинскому, или – к шурина, или – к Костаки, ну а может быть – прямо в будущее.

Всем, кто взглядом его провожали, предстоит с ним увидеться – там...)

Пришли артисты московских театров.

Скоморохи. Ну что тут скажешь?

Скоморох к скомороху – тянется.

Артисты. Рыбак рыбака видит издалека.

Был артистизм ерофеевский по душе им. И это понятно. Само собой разумеется. Пришли – своего повидать.

А также пришли – студенты театральных столичных вузов и участники всяческих студий.

Колоритная публика. Пёстрая. Разношёрстная. Оптимистичная. С очевидным потенциалом. Да и с гонором тоже немалым.

Пришли – получить уроки свободного артистизма. Заодно – и уроки Вениного актёрского мастерства.

Пришли – вообще студенты.

Из всяческих вузов. Отчаянные.

Донельзя свободолюбивые.

Настолько, что дальше некуда.

Молодые. С запалом. Горячие.

Как теперь говорят – фанаты.

Ерофеевцы. Петушковцы.

Или, может, москва-петушковцы.

Самиздатовские питомцы, наизусть всю поэму знавшие.
У троих, говорили, были с собою магнитофоны.

Пришли учёные. Физики. Они же, по совместительству, и лирики. Так было принято в минувшие годы. Бывали на эту тему дискуссии: кто это – физики? кто это – лирики? Разные люди? Или одни и те же?

Физики – были лириками.

Лирики – были физиками.

И так и этак. Поэтому – не всё ли равно теперь?

Учёные – жили искусством.

Они дружили – с поэтами.

В своих институтах – выставки устраивали авангардные.

В Курчатовском институте.

И в институте Капицы.

И в других институтах московских.

И даже в новосибирском Академгородке далёком, где пел, например, Галич, выставлял работы Шемякин, где Володя Бойков, математик, поэт, со своими друзьями, культурную жизнь учёных поддерживал на высоте.

Учёные очень любили родную литературу.

И в ней – Ерофеева. Веню.

За всем им давно известные, те самые, самиздатовские, гулявшие в тысячах списков по всей великой стране, зачитанные до дыр,

а кое-кем наизусть заученные, благо текст не столь и велик, чтоб его нельзя было не заучить, знаменитые «Петушки», – ведь знали же наизусть некоторые любители романы Ильфа с Петровым, которые по объёму неизмеримо больше творения ерофеевского! –

но Веня был всё-таки Веней, а вовсе не Ильфом с Петровым, – и заучивали его поэму фанатики рьяные по причине любви к свободе, к алкоголю, к жестокой правде жизни нашей, общесоюзной, а не только российской, или петушковской, или московской, и готовы были, при случае, на скрижалях когда-нибудь выбить, чтобы знали их все, чтоб заучивали наизусть, золотые, право, или, может, даже алмазные, по своей-то крепости, силе, вдохновенные, сокровенные ерофеевские слова.

Пришли выпивохи. Серьёзные.

Заслуженные. Матёрые.

Пришли под хмельком, но в меру, просто для настроения. И все, как один, – с заначками: с чекушками и поллитрами, которые сберегались на тот счастливейший случай, ежели после вечера удастся им с Ерофеевым распить их и поговорить по душам – ведь ранимые и мятежные души их требовали выпивонов и разговоров.

Пришли богемные болтуны и оглоеды – чтобы подпитку энергетическую получить, чтобы им было о чём позже молоть языками.

Такие вели себя, можно сказать, вызывающе.

На себя обращали внимание. Сознательно. Чтобы видели. Очень профессионально. Чтобы знали, кто перед ними. Не какие-нибудь замухрышки, но элита. Ни больше, ни меньше. Золотые умы, да и только. Интеллекты, кого ни возьми.

Говорили – бойко и громко. Жесты были – давно отработаны. Взгляды были – обдуманы. Фразы – на скрижали просились тут же. Афоризмы – сыпались градом. Парадоксы – дождём лились.

Пресловутое «общественное мнение» создавали всюду именно они.

Пришли вполне экзальтированные столичные некие дамочки. Накрашенные. Богемистые. Но в то же время и светские. Ну, пусть полусветские. Всё-таки – дамочки. Женского полу. Как ни крути, но так. Что с них взять? Создания странные. Всякие эфемериды. Бабочки, мотыльки.

Разговоры у них – порхающие. С крылышками, как водится. Легковесные. Тиховойные. И к тому же – благоговейные. Прямо феи. Сильфиды. Нимфы. Ахи, вздохи. Слезы из глаз.

– Ах, Веничка!..

– Ох, Ерофеюшка!..

– Прозорливец ты наш!..

– Орфеюшка!..

– Венедикт наш!..

– Свет наш Васильевич!..

– Ерофеев наш!..

– Веня-душечка!..

За ними – сучки и самочки. Те ещё штучки! Щучки. Железная, цепкая, хваткая гвардия. Легион.

У каждой сучки и самочки в сумочке или в руках не что-нибудь там второсортное – заветные «Петушки».

А вдруг да удастся Веничку этак по случаю, запросто, как и с другими бывало, взять да и закадрить?

А если кадрёж отпадает – вдруг да удастся дуриком у писателя обожаемого автограф им получить?

Было там, говорят, несколько литературных критиков, старавшихся, чтобы их не узнали.

Впрочем, опознан был Кожинов. «Кто ты, маска?» Пришлось-таки снять к лицу приросшую маску.

Говорят, был там Пинский. Тот, как всегда, и не думал скрываться. Просто – не было видно его. Вроде есть он – и вроде нет. Между тем он здесь. Наблюдает. Обобщает. Шекспировед! Видит – всё. А ума – палата.

Был даже один генерал, а-ля натюрель, настоящий, румяный, упитанный, в форме, с кремлёвскими крупными звёздами на золочёных погонах, вместе с шустрым, сметливым, вышколенным адъютантом, личным шофёром, сыном, внуком своим и племянником, приехавшим из Ростова.

(Этот племянник, несмотря на его молодость, был большой любитель выпить.

Здесь, в Москве, в генеральской квартире, не успев не то что привыкнуть к новой для него обстановке, освоиться, по-родственному, по-свойски, душевно поговорить, но даже отдышаться толком не успев с дороги, он сразу же почувствовал характерный зов издалека.

Звала его к себе, разумеется, выпивка.

Совершенно необходимо было срочно дерябнуть. Для начала – хотя бы пива.

Кое-как придумав подходящую причину, поспешно выбрался он из генеральского дома.

Поспросил народ, по принципу «язык до Киева доведёт», – и вскоре оказался возле ближайшей пивнушки.

Заведение было гнусным и грязным. Но уж что-что, а это племянника не смущало. Мелочь, пустяк. Перебьёмся. Потерпим. Главное – пиво.

Генеральский племянник встал в очередь.

Очередь была километровой и двигалась вперёд со скоростью пожилой черепахи.

Минуты шли за минутами. Прошло уже более получаса.

А заветное окошечко, где производилась раздача пива, было всё ещё слишком далеко. Иногда начинало оно казаться недосыгаемым.

Генеральский племянник стал нервничать. Он-то думал, что по-быстрому, в темпе вальса, управится. Раз-два – и привет. А тут – этакая тяготица. Это в его молодые планы никак не вписывалось.

По счастью, в очереди за пивом стоял Аркадий Пахомов. Московский поэт. Бывший смогист.

Колоритный Пахомов сразу привлёк внимание опечаленного генеральского племянника.

Рослый, бурный, похмельный, бородатый Пахомов стоял рядом с крошечным, быстроглазым, розовоносеньким человечком в огромных валенках, обутых явно не по сезону, и громко, на всю пивнушку, читал ему стихи.

Племянник напрягся и вслушался.

Стихи были – про крольчат.

Племянник не знал, что это была коронная вещь Пахомова. Как теперь выражаются – хит.

Стихи ему – очень понравились.

К тому же Пахомов стоял намного ближе к окошечку раздачи пива, нежели гость столицы.

Решившись, племянник протиснулся к Пахомову и тронул его за плечо.

Пахомов укоризненно поглядел на незнакомца.

Племянник смущённо представился. И тут же сказал Пахомову, что ему, человеку приезжому, очень понравились только что услышанные случайно и душу разбередившие, да так, что впору заплакать, стихи, ну вот эти самые, да-да, вот-вот, про крольчат.

Пахомов – прямо расцвёл.

И тут же они познакомились.

И сразу же – подружились.

И Пахомов пустил приезжего ростовского человека в очередь, а вернее – поставил перед собой. Так, мол, и было, братцы. Человек этот, между прочим, очередь занимал. Перед кем? Перед ним, поэтом, воспевающим славных крольчат.

И всё обошлось. На радостях ростовский племянник набрал побольше пива – себе, Пахомову и человечку в огромных растоптанных валенках.

И вскоре все трое стояли в углу, подальше от шума, и пили желанное пиво.

И нашлась потом у Пахомова бутылка водки. Столичной.

И сразу же обнаружили у человечка в валенках две бутылки водки. Московской. А ещё – бутерброды с грудинкой, колбаса, огурец и вобла.

И стояли счастливые трое – и душевно, со вкусом, с чувством, выпивали – и разговаривали. Было вдосталь тем для бесед.

И тогда-то и спел Пахомов человеку, в Москву приехавшему из Ростова – и здесь, в пивнушке, познакомившемуся с ним, удалым поэтом, смогистом, пусть и в прошлом, а всё же – было, забулдыгой, рубахой-парнем, хоть всегда себе на уме, – спел Пахомов тогда две песни, знаменитые песни свои.

Первая – так начиналась:

– Раз иду я с другом Айзенштадт. Айзенштадт – фамилия такая...

А вторая – так начиналась:

– Я не согласен с городом Ростовом. Живёт там чёрствый, набожный народ...

Ну а дальше – всё остальное.

И потрясли пахомовские песни приезжего хмельного человека.

И попросил он разрешения списать слова.

И Пахомов – снисходительно позвонил ему это сделать.

И достал ростовский человек новенькую записную книжку – и дрожащей от волнения рукою вписал туда тексты обеих песен, которые, отпивая по крохотному глоточку водку, запивая её пивом и закусывая бутербродом с грудинкой, неторопливо, с хорошо разработанной дикцией, доходчиво, ясно, отчётливо продиктовал ему певец крольчат, друга Айзенштадта и города Ростова, москвич, работник бойлерной, поэт Пахомов.

И, списав слова, бережно спрятал ростовский человек свою записную книжку подальше, поближе к сердцу, во внутренний карман пиджака.

И долго потом стояли все трое за пивом и водкой, поскольку приезжий выразил желание, скромное, твёрдое, то есть мужское: добавить. И Пахомов его поддержал. И человек в валенках, конечно же, поддержал. Вот потому и добавили.

И спохватился вдруг человек из Ростова: пора ведь возвращаться назад, к генералу!

Торопясь, попрощался с Пахомовым и с его приятелем в валенках.

И – помчался на всех парах к своему военному дяде.

Так разогнался, что лишь на бегу, по дороге, вспомнил: эх, какая досада! – напрочь позабыл он предложить Пахомову вместе пойти на вечер Ерофеева!.. Пахомов-то наверняка самого Ерофеева знает. Но теперь ничего не напишешь. И на вечер придётся идти не с Пахомовым, а с генералом. Впрочем, вдруг и Пахомов там будет? Всё возможно. Ведь это – Москва!..

И вернулся племянник ростовский к генералу. И тот, по-военному, по-мужски, да так артистично, что племянник диву давался, сделал вид, что он ничего не заметил. Ну, выпил – и ладно. Пустяки это. С кем не бывает!

И теперь человек из Ростова с генералом вместе стоял перед входом в Дом литераторов.

И в кармане его лежала записная книжка, в которой были им записаны песни, целых две, да какие, пахомовские.

Иногда племянник ростовский озибался по сторонам.

Он искал в толпе разраставшейся не кого-нибудь, а Пахомова.

Но Пахомова – не было здесь.

К сожалению. Что ж, бывает.

В это время Пахомов был с человечком в огромных валенках у приятелей. Пил там водку. И читал стихи – про крольчат.

И осталась память о нём в сердце гостя столицы. Надолго. Вместе с выпивкой. Вместе с крольчатами. Вместе с песнями – про Айзенштадта, друга лучшего, задушевного, и про город Ростов, с которым почему-то, знать, есть причина, есть для этого основания, не согласен поэт Пахомов, бывший узник Бутырок, герой, мастер устных рассказов, смогист, автор басен, любитель выпить, не согласен, и всё тут, баста,

чёрствый там, в Ростове, народ, и один лишь ростовский житель по-приличнее и помягче, тот, списавший слова его песен, да и он задевался куда-то, и теперь уж ищи-свищи, остаётся водку хлестать да крольчат своих вспоминать, – эх, крепка проклятая ханка, время тянется, длится пьянка, сигарета дымится, ночь наступает, никто не прочь продолжать, за бутылкой бежать, на ветру столичном дрожать, ну, достали, вот и светло, – а в Ростове, небось, тепло...)

Поодаль переминались с ноги на ногу
столичные дворники –

то есть провинциальные и принципиально творческие люди, приехавшие в Москву, дабы её покорить, а пока что получившие по лимиту дворницкую работу и жильё, чему они были, разумеется, несказанно рады.

Был там, как утверждают, один переодетый в старое пальто и надвинувший шляпу на самые брови член ЦК партии,

большой любитель песен Высоцкого, по пьяному делу, после баньки и до таковой, на охоте и на рыбалке, на приволье, на даче, в застолье, в кабинете своём, на веранде, где угодно, лишь бы послушать, как Володя поёт, умилиться, восхититься, слезу пустить, посмеяться всласть, повздыхать, призадуматься, озадачиться, пригорюниться, спохватиться, улыбнуться с прищуром, пальцем постучать по столу: так, так! – и махнуть рукой по-простецки, по-начальственному, по-русски: эх, да ну его, пусть поёт! –

а заодно, поскольку почти из той же оперы, из схожей области, о том же, в общем-то, хоть не совсем о том, да всё же как-то лёгшей на сердце, прочитанной и перечитанной, и, что греха таить, конечно, близкой, и понятной, даже слишком, поскольку то и дело задевала какую-то особую струну, звучащую в миноре и в мажоре, во всероссийском, во всеобщем хоре, – и прозы Ерофеева, конечно, известных всем вокруг, любой собаке, давно уже прижившихся в народе, неуверяемых, заветных «Петушков».

Да мало ли кто там был!

Мало ли кто – любопытствовал.

Мало ли кто – от любви большой к творчеству ерофеевскому пришёл сегодня сюда.

Мало ли кто – по приказу, который не обсуждается, по команде начальства строгого, встал, как штык, перед входом в гадюшник.

Мало ли кто – из желания увидеть воочию классика, чтобы случилось, как в сказке – встань передо мной, как лист перед травой, –

всё бросил, сбежал с работы,

пропустил занятия в вузе,

приехал на электричке в столицу из Подмосковья,

добрался на перекладных с далёкой московской окраины,

пришёл из центра пешком,

примчался сюда на такси,

прибыл сюда на своём собственном автомобиле,

доковылял сюда от ближайшей пивнушки, где он похмелялся разбавленным пивом – и в очереди длиннющей разнёсся пьянящий слух о вечере ерофеевском – и бросил он кружку свою с недопитым пивом, и почапал, как на свет маяка, к ЦДЛ,

поругался женой, не пускавшей одного его на неведомый, – подозрительный, странноватый, непонятный, на женский взгляд, и сулящий незнамо что, если будут всех разгонять, забирать в ментовку, лупить по мозгам ценителей Вениной, самиздатовской, алкогольной, нехорошей, поэмы ли, прозы ли, от которой одни убытки, да к тому же и огорчения, отрывающий мужа, кормильца, от родимого дома, вечер, – но зато проявил характер, совершил поступок мужской, хлопнул дверью, сбежал по лестнице, на приволье рванулся в пространство – и пришёл наконец сюда.

И так далее, и так далее.

Нет возможности всех перечислить.

Разрасталась толпа. Не толпа, но – бери покруче – стихия! Да, стихия. Ни больше ни меньше.

И мало ли кто в ней – был.

Не было там – пока что –
лишь одного-единственного
человека, ещё и какого!

Но о нём, человеке, – чуть позже.

Начальство Дома литераторов, при виде собравшейся у входа толпы, вначале обалдело, потом растерялось, но тут же собралось с мыслями, взяло себя в руки – и для начала решило повременить с допуском людей вовнутрь, то есть просто-напросто никого пока что в святая святых не пускать.

Пусть помяются на улице.

Пока что. Как уже сказано.

Для дела. Для подстраховки.

А там – поглядим, как быть.

Сообразим, что в данной ситуации предпринять.

Вечер-то должен, как ни крути, хоть лучше бы и обойтись без него, состояться, увы, состояться – раз уж, подумать ведь только, из-за какого-то там Ерофеева, ишь ты, писателя, на него, как на кинопремьеру, или нет, на концерт долгожданный, как, положим, на Ива Монтана, вон ведь сколько народу пришло!..

А людей число,

впрямь начальству назло,
всё росло, росло и росло...

И тут – пойдёт речь о том самом одном-единственном человеке, том самом, ничего ровным счётом, ну совершенно ничего, хоть руками недоумённо в стороны разводи, хоть головой об стенку от досады и ярости бейся, хоть сокрушайся без всякого толка от великой такой обиды, хоть локти себе от сознательной злости привычно и долго кусай, хоть просто, что, может, разумней всего, в неведении пребывай, о предстоящем вечере – цэдээловском, ерофеевском – не знавшем. Представьте – не знавшем.

Был это – собственной персоной –

знаменитейший советский поэт

Евг. Евтушенко.

Сидел он у себя на даче в Переделкине, вдыхал полной грудью, после бодрой спортивной пробежки, давно уже ставшей привычкой и для

здоровья полезной чрезвычайно, такой приятный, удивительно свежий, целебный, омолаживающий, чистейший, изумрудной сосновой хвоей терпко пахнувший воздух, лесной, заповедный, тягучий, смолистый, из распахнутой настежь форточки щедро льющийся в поэтовы апартаменты, с картинами известных художников на стенах, с книгами и рукописями, с творческой тишиной, вполне заслуженным покоем и вырванной у судьбы волей, сидел за письменным столом – и творил.

Сочинял очередную поэму.

А может, и стихотворение.

А может, и прозу.

Диапазон творческих возможностей всемирно известного человека, того самого, который в России больше, чем поэт, был весьма широк.

Итак, сидел Евг. Евтушенко

у себя в загородной резиденции –

и корявым своим почерком, в котором не то что отдельно взятое, даже совсем короткое, даже из трёх всего букв состоящее, как всегда у него, энергичное, темпераментное, полемичное, со значением нужным, с подтекстом, с особым внутренним смыслом, с пылом, с жаром, с трезвым расчётом, и в то же время доходчивое, понятное всем и каждому, простое русское слово, но и букву, обычную букву, им написанную впопыхах, без сомненья по вдохновенью, в транс творческом, в ритме пружинном, трудно было порой разобрать, и случалось, что буквы эти вдруг терялись в процессе писания, исчезали куда-то, проглатывались белым полем листа бумажного, словно белые снега их заметали в пути, засыпали, и тогда они просто-напросто, по привычке, подразумевались, ибо некогда было поэту их выписывать поотчётливей, чай, не школьная каллиграфия, не китайские иероглифы, не красоты, сойдёт и так, – стремительно, весь во власти мыслей своих глобальных, находок, рифм корневых, двойных и тройных понятий, верхушки айсберга вместе со скрытой его частью, приёмов революционных письма молоком меж строк, шифровок и недомолвок, атак любовных, приёмов войны партизанской успешной в самом тылу врага, замаскированных выпадов, ударов пониже пояса, гражданских речей, лирических мотивов, эпических образов, многозначительных пауз, порывов искренних, юмора, не только простонародного, но и весьма утончённого, добра с кулаками, фиги в кармане, уроков потомкам, иронии, простодушия, ловкости рук, умения показывать фокусы, страстности, трезвой публицистичности, догадок и обещаний, интимности, обобщений, частностей, мелочей, деталей, штучек, игрушек, впечатлений о заграничной жизни, а также о жизни российской глубинки, тирад, шарад, лабиринтов, туннелей, проникновенья в самую суть, а также тропинок тайных, охотничьих капканов, рыбацких сетей, гидростроительных дамб, катеров невидимой связи, трибунного гласа, знакомств с сильными мира сего, приятельских отношений с матёрым капитализмом, веры в светлое завтра, правильности во всём, темнот, обходных манёвров и прочих премудростей стиля, слога и поведения, – исписывал да исписывал одну страницу, другую, десятую, пятидесятую, и следующие, – и так вот страница шла за страницей.

И новая, новёхонькая, с пылу с жару, вещь его, штукавина не то чтобы посильнее Гёте, но ударная, с гражданственным звучанием, разумеется, с лирическими прослойками, само собою, с понятными и доступными

для догадливых отечественных читателей намёками, а порою и с дерзкими выпадами, публицистического толка, но самое главное – с потаённым, пронзительным, сокровенным, скандальным, шокирующим и врагов повергающим смыслом, читающимся между строк, обещала быть событием – так ему хотелось бы думать.

Но вот раздался – некстати, конечно, – телефонный громкий звонок. И оторвал поэта от рабочего стола.

Недовольно морщась, поэт снял трубку.

И какой-то приятель-доброжелатель так взволнованно, как никогда у него не бывало, торопливо, взхлёб, задыхаясь от переполнявшего его и буквально кипящего в нём невиданного возбуждения, сообщил ему, что в Доме литераторов сегодня, да-да, именно сегодня –

уже скоро, совсем скоро, ну прямо вот-вот – начнётся вечер Ерофеева.

Поэт бросил трубку – и побледнел.

Боже мой! – пронеслось в голове его, под кривою, наискось, этак похулигански, по-дворовому, из послевоенного времени, видимо, вырвавшейся, да так и оставшейся на поэтовом лбу, неровно подстриженной чёлочкой, – вечер!

И кого?

Самого Ерофеева!

С Ерофеевым познакомиться – Евтушенко мечтал.

Как-то не хотелось ему, конечно, учитывая собственное значение, немалое, для Союза, да и для прочих стран, глобальное, планетарное, а может быть и вселенское, на что хотелось бы всё-таки надеяться, – значение своё, личное, как поэта, как гражданина и кое-кого ещё, навязываться к Вене, по нахалке ли, с неким ли подобоострастием, или этак по-простецки, по-актёрски сыграв удачно в своего, подъезжать к нему, чтобы он снизошёл, чтобы принял, чтобы выслушал, чтобы понял, что и Евг. Евтушенко такой же, как и Веня, подвижник, страдалец, то и дело властями гонимый, но зато своё дело великое, несмотря ни на что, продолжающий, и всегда свою линию гнуций, и везде, в любых ситуациях, выходящий сухим из воды, потому что один он такой уродился, и таково, так уж вышло, его призвание, – нет, решительно не хотелось взять да на голову свалиться к легендарному Ерофееву – принимай, мол, меня, я здесь.

Но мечта есть мечта. Познакомиться с Ерофеевым – очень хотелось.

Может, случай такой представится?

Оставалось на это надеяться.

Да, вот именно. Только на случай.

Евтушенко мечтал – и ждал.

Ерофеев у всех литераторов официальных тогдашних был притчей во языцех.

– Ерофеев!

– Ерофеев!

– Читали?

– Слышали?

– Знаете?

– Ну как же!

- Вот это да!
- Ай да парень!
- Ну, Ерофеев!
- Ну, пишет!
- Ну, в жилу!
- В точку!

Вот что можно было слышать в писательских домах.

И, понятное дело, на дружеских попойках. По Есенину. С которых не дойти до дома.

Ну и ещё – в кулуарах. Всяческих. Многочисленных.

Может, и в будуарах? Всё у нас может быть.

Ерофеева – обожали.

Ерофеевым – бредили. Грезили.

На него поневоле равнялись. Как в строю. В едином ли? Сложно разобраться. В строю так в строю.

С Ерофеевым были готовы все идти, как один, в разведку.

С Ерофеевым были согласны вместе пить. Запой так запой.

Ерофеевские портреты были рады повесить на стенку – вместо слишком для всех привычного, бородатого Хемингуэя.

Только где их взять, эти портреты? Как размножить их поскорее?

Хоть бы крохотную фотографию где-нибудь, на время, добыть!

Ну а там уже – дело техники.

И придёт наконец Ерофеев, моментально растиражированный всеми оптом его поклонниками, сразу в каждый писательский дом.

То-то радость там будет! И то-то будет в этих домах либеральных у писателей – пир горой!

Петушки – это вам не Москва. Но Москва – заодно с Петушками.

Ерофеев – почти «наше всё». Для писателей – в первую голову.

Пусть же в каждом писательском доме воцарится на стенке, в рамке, под стеклом, заместо иконы, золотая его голова!

Евтушенко – так рассуждал: познакомиться – это важно. Но знакомство такое – праздник. Надо к празднику этому загодя, хорошенько, разумно, умеючи, подготовиться. Чтоб на празднике – появиться во всеоружии. И во всём своём блеске. И славе. Планетарной. Общепланетарной. В чём-то, может, сопоставимой с ерофеевской нынешней славой.

Познакомиться – дело хорошее. И конечно же – наживное.

Это – можно. С этим – успеется.

И пока что, лучше всего, с этим всё-таки – подождать.

Всё должно быть естественным, искренним, органичным. Любое действие. Шаг любой. И любое знакомство.

В том числе – и с самим Ерофеевым.

А сейчас надо просто увидеть его.

Увидеть – и всё. Услышать.

Ведь, наверное, будет читать.

Что-нибудь. Из своих «Петушков».

На вопросы потом отвечать.

То есть тесно общаться с публикой.

Как сам Евтушенко – привык.

Уж это он делать мастак.

Уж он-то за горло держит любую аудиторию.

Интересно, сумеет ли справиться с нею – сам Ерофеев?

Евтушенко – бросил перо.
 Ничего. Подождут писания.
 Наверстаёт ещё. Напишет.
 И, конечно, любую цензуру сочинение это пройдёт. Потому что в советское время надо знать, как – писать, что – писать.
 А уж он-то – это умеет.

Надо было – спешить. На вечер.
 Ерофеевский. Скорый. Сегодняшний.
 Надо было – скорее добраться до Москвы. До столицы нашей. Той, в которой есть Ерофеев. Той, в которой – вечер его.
 Нет, недаром Чехов придумал знаменитое, театральное, с должным пафосом и со страстью, заклинание:
 – В Москву! В Москву!
 Да, представьте себе, – в Москву.
 Да, в Москву.
 Туда, в ЦДЛ!

Евтушенко – быстро собрался.
 Облачился в своё привычное, страусино-фазанье-павлинье, с виду вроде бы негритянское, да, из Гарлема, что в Нью-Йорке, или афро-американское, как теперь выражаться привыкли, прямо с Явы или с Гаити, ну а может, с озера Чад, пригодное для повседневной, трудами наполненной жизни, а также и для концертов, для авторских вечеров, пёстрое, папуасье, заграничное, впрочем, с лейблами, ни на что вокруг не похожее, как и сам поэт-гражданин, восхитительное шмотьё.

Выскочил из дому. Шаг. Ещё шаг.
 Марш-бросок. Пробежка трусцой.
 Шаг. Рывок. Скорее, скорее!

Залез в машину. Включил зажигание. Так, порядок.
 Нажал на всё, что положено когда-нибудь нажимать.
 С железною хваткой борца и трибуна – уверенно взялся за руль.
 Дал газу. Рванулся с места.

И – вскоре уже, с ветерком, он мчался по направлению к Москве, – туда, в ЦДЛ, где должен был состояться ерофеевский авторский вечер.

Он очень спешил. Торопился, сразу – за десятерых.
 Поддавал то и дело газу.
 Мало, мало. Ещё поддать!
 Как в парилке. Чтоб с пылу, с жару.
 Как на чтении – в Лужниках.
 Или, может, в Политехническом.
 Нет, на площади, – там, у памятника Маяковскому, словно встарь.
 Нет, пожалуй, пограндиознее, поэфффектней – на стадионе.
 Чтобы публика – восторгалась.
 Чтобы критики – локти грызли.
 Чтобы слава – лавиной шла.
 Нарацивал скорость. Втягивался в движение. Скорость света готов был преодолеть.

Визжали тормоза. Покрышки ныли.
Машина мчалась, точно лошадь в мыле.
Нет, самолёт. А может быть, ракета?
Не удержат гаишникам поэта!

За стеклом, дрожащим, потным, проносились –
и незамедлительно сливались
в общее размытое пятно –
придорожные строения, кусты,
люди, звери, птицы и деревья.

Отчаянно, часто сигналив, поэт обгонял шутя, словно заправский
гонщик на ралли, другие машины.

То и дело поэт вырывался – на корпус, ещё на полкорпуса, ещё на
чуть-чуть – вперёд.

Вцепившись руками в руль, думал он, мчась в пространство, только
лишь об одном:

скорее, скорее, скорее!

И вдруг машину его –
занесло почему-то в сторону.
Что такое? Что за нелепость?

Что, по Ильфу с Петровым, туды его, а куды? – конечно, в качелю, –
или, может, как в песне, где на одного – колыбель да могила, и всё тут,
ну а может, ещё по какой не вполне понятной причине, только факт
остаётся фактом, и машина уже на бровке, – слава Богу, что не в кювете,
– руки-ноги целы, и ладно, с остальным разберёмся позже, –
что, скажите, произошло?

Поэт, что вполне понятно, подумав, остановился.
Вышел, брови насупив, строг и суров, на шоссе.

Бросил внимательный взгляд на своё, такое знакомое, привычное, –
как рубашка навывпуск, просторная, лёгкая, или блестящий, с искрой,
карнавальным, прямо из Рио, с лёгким шуршаньем, с отзвуками самбы
и боссановы, ёлочный, цирковой, шикарный, отчасти фокуснический,
заграничный чудо-пиджак, – средство передвижения.

Четырёхколёсный агрегат, называемый автомобилем, в просторечии –
легковушка,

стоял, но стоял не так,
как следует, как полагается,
а несколько по-иному,
вроде бы как с похмелья,
то есть – наперекосяк.

Ну что ты на это скажешь!
Авария, это факт.
Колесо! Колесо, конечно!
Проклятое колесо!

Битовское, возможно, из одноимённой повести властителя дум сто-
личной и даже провинциальной либеральной интеллигенции, певца

автомобилизма, любителя путешествий, а также стихов и приятельских застолий, большого охотника до всяческих разговоров, специалиста известного по монологам длительным, как правило, оригинальным и даже парадоксальным, что принесло ему славу мастера устного жанра, хоть мало кто понимал, что дело всё в колесе, поскольку речь его катится таким колесом через годы и расстояния, как в песне советской поётся, катится, не прокалываясь, а ежели где и проколется, то после ремонта сызнова, как ни в чём не бывало, катится сквозь столетие фирменным колесом?

А может, и это вернее, то самое, всем знакомое, из школьной ещё программы, ну как же не помнить, гоголевское, то, о котором гадали – доедет ли, не доедет ли, до Москвы ли, куда ли подальше? – русские мужики, – мистическое колесо – оттуда, откуда вышло многое в литературе, вовсе не из «Шинели», прямо из «Мёртвых душ»?

Или всё же его, евушенковское, поэтическое, политическое, переделкинское, советское, а возможно, и заграничное, да теперь всё одно негодное, горемычное колесо?

Прокол! Какая досада!

Ехал, ехал. И вдруг – прокол!

Но – тут же решил поэт – в действиях всех его никаких не должно быть проколов.

Он бросил свою машину – прямо там, на дороге.

Не до неё сейчас.

Успеть бы – туда, в ЦДЛ, на вечер, да непростой, а ерофеевский вечер!

Вот что нынче – самое главное.

Вот что нынче – важнее всего.

На вечер! А там – разберёмся.

Он стоял на обочине, длинный, в кепочке-восьмиклинке, со свисающей из-под неё на узкий сморщенный лоб взмокшей косою чёлочкой, – и махал пронсящим мимо него легковым, всем подряд, машинам донкихотовскими, гулливеровскими, дуремаровскими руками: подвезите, мол, подвезите!

И его наконец – подвезли.

Кто-то из проезжавших мимо современников, почитателей евушенковского таланта, солидарный с ним и в гражданской, маяковского толка, позиции, – вдруг, неожиданно, притормозил рядом с ним. Он узнал поэта.

Современник поэта – сразу же приоткрыл скрипучую дверцу.

Современник поэта – взглянул вопрошающе, понимающе, на кумира, верстой стоящего на обочине, в кепке, с чёлочкой, вкось на лоб его мудрой съехавшей, и руками, как мельница, машущего всем подряд легковым машинам.

Современник поэта – спросил перенервничавшего поэта, осторожно спросил, сочувствуя, деликатно спросил, но твёрдо, по-водительски, по-мужски, по-простецки, по-всероссийски, по-советски, почти по-свойски, но и вежливо, без эмоций компанейских, без панибратства, уважительно, понимая, кто стоит перед ним:

– Что стряслось?

Евтушенко – всё объяснил.

И вскоре уже – он мчался в чьей-то чужой машине, сидя рядом с шофёром, на предельной, а может быть, даже запредельной, поскольку такое с ним частенько бывает, скорости, – мчался, прочим фору давая, прямо в будущее, мечтая увидаться там с Ерофеевым, сочинителем петушков, не на палочке, – через тире, за которым встаёт Москва с выпивоном, Кремлём, вокзалом, всем набором галлюцинаций, снов, прозрений, видений, грёз, всем коктейлем из слов, рассуждений, всем синдромом похмельным, тайнами на пути к астралу, ментальными откровениями, всем оптом, что в поэме и вне поэмы есть, чего там попросту нет, и особенно тем, чего в ней, поэме, и быть не может, –

Евтушенко был весь в полёте, на подъёме, на автопилоте, в трансе, может быть, или в прострации, или, может, снова во власти вдохновения, – кто его знает! – важно то, что летел он, мчался, прямо в песню, – прямо к Москве.

И он, поэт и трибун, успел на вечер. Успел.

Ну, чуть-чуть припоздал. Что делать!

Но это – не в счёт. Бывает.

Всё равно успел – вот что важно.

Расплатившись с шофёром и выскочив из машины возле Дома литераторов, Евтушенко первым делом увидел гудящую толпу, которую почему-то не пускали вовнутрь.

Что такое? Почему?

Неужели вечер отменили?

Евтушенко винтом, спиралями, загогулинами, зигзагами, весь в поту, с немалым трудом, но прошёл-таки сквозь толпу.

Его узнали, конечно. Да и как его не узнать?

Раздались восклицания:

– Почему не пускают?

– Пора!

– Время подошло!

– Безобразия!

И уже прошелестело сквознячком:

– Обманули!

– Отменили!

– Запретили!

И тогда Евтушенко, сразу же, не раздумывая особо, понимая, что ситуация заработала на него, взял, как это не раз и не два у него бывало, тем более и накопленный опыт имелся, и привычки политика сказывались, этак запросто, хваткой железной, без миндальничания всякого и сюсюкания ненужного, что за ним никогда не водилось, нет, напротив, он был магнит, был кремень, огниво и трут, был огонь, он шутя, играючись, взял, как лошадь берут под уздцы, преспокойно, инициативу, взял, и всё тут, и всё этим сказано, доверяясь своей интуиции, взял, как есть, в тот же миг, на себя.

– Граждане, послушайте меня! – произнёс он артистично и многозначительно строку из своего знаменитого стихотворения.

– Слушаем! – откликнулись граждане.

– Сейчас я всё выясню! – пообещал Евтушенко.

– Поэт в России больше, чем поэт! – уважительно сказали в толпе.

И осаждающая входную дверь гадюшника толпа – раздалась в стороны.

В образовавшемся узком, вибрирующем проёме – быстро, по-деловому, по-боевому, собранно, работая, по привычке, на публику, но и помня, что должен помочь он людям, чеканя эстрадный шаг, чтоб вздрогнул заядлый враг, а чтоб лопнули все враги, увеличивая шаги, шурша шмотьём заграничным, сурово прошёл Евтушенко к массивной входной двери, запертой прочно, наглухо, –

и попытался, с налёта, с поворота, с разбега, с ходу, сразу же, тут же, при всех, чтоб видели, чтоб запомнили, чтоб вспоминали потом, чтобы знали об этом потомки, а тем более – современники, сограждане, люди советские, резко, звучно, картинно, с силой открыть её.

Толпа – восторженно ахнула,
потом – рассерженно охнула,
потом – растерянно ухнула, –
и выжидающе-чутко, напрягшись до невозможности, донельзя, слегка взроптав, сгустилась в комок единый –
и вот, ненадолго, затихла.

За дверью – все это видели – замаячили, замелькали напряжённые, гусные рожи гадюшной администрации.

Евтушенко тут же узнали –

и пустили, конечно, вовнутрь.

И тогда, ещё стоя в дверях, поэт, со значением должным, по-граждански, спокойно и просто, но с достоинством, оглянулся на давно с него не спускающую глаз, горящих любовью, толпу,

затем не спеша перевёл осуждающе-строгий свой взгляд на застывшую перед ним почтительно администрацию –

и простёр свою длинную руку к ожидающей слова толпе, и сказал, повелительно, громко, так, что все услышали его:

– Всех сию же минуту впустить!

И толпа, на пути своём сменяя администрацию, ринулась тут же вовнутрь, в предбанник, в фойе гадюшника, –

и подхватила поэта, и подняла повыше, и понесла его на руках, на своих руках, спасителя и героя, трибуна и гражданина, и несла его так до самой раздевалки (могла бы и дальше, но толпа тоже меру знает, и уж если несёт кого-нибудь, то всегда до поры до времени) –

и поэт, хорошо понимавший, что за сила такая – толпа, вёл себя с ней подчёркнуто вежливо, то есть просто ей позволял делать всё, что она хотела, вот сейчас, а потом посмотрим, как вести себя дальше с ней, –

и поэт принимал толпу, принимал все эмоции, почести, восклицания, славословия, принимал это, как подобает настоящему гражданину и трибуну, к тому же поэту, как само собою сложившееся торжество свободы и воли, как типичное проявление всенародной к нему любви, как пример единения душ и сердец в ситуации сложной, драматичной, почти фронтовой, принимал всем своим естеством, всей душою своей, как должное.

Побурлив, не так уж и долго, для солидности, как положено, для приличия, у раздевалок,
толпа спохватилась, опомнилась –
и сызнова собралась в единое, грозное целое.

Администрация Дома литераторов, то есть гадюшника, изрядно перетрухав, насмотревшись на все безобразия, что пришли сюда вместе с толпой, и предчувствуя смутно грядущие беспорядки, вконец стухавалась – и теперь вообще уже больше, отстранившись от всех происшествий и событий, любых, возможных, невозможных, каких угодно, безразлично, и лучше подальше от стихии людской держаться, чуя запах дразнящий жареного, чуя силу, не возникала в поле зрения, будто и не было в грозах нынешних вовсе её.

Была – несметная, пёстрая, кипящая, – только толпа.

И вот – напряглась она.

И вот она – сосредоточилась.

И вот она – воздуху в лёгкие, с запасом, – вдруг набрала.

И – ринулась, всё сметая на верном пути своём, по направлению к залу.

Разумеется, впереди устремившейся к залу толпы – находился поэт Евтушенко.

Краем острого, цепкого, всё вокруг подмечающего, фиксирующего детали, охотничьего, прицельного, намётанного, соколиного, поэтического, гражданского, трибунного, всенародного, дальнзоркого, быстрого глаза успел он заметить в сторонке скромное, даже слишком, невзрачное объявление о том, что да, в самом деле, сегодня здесь должен быть – вечер, – ага, ну, то-то же, всё правильно, – Ерофеева.

Но вчитываться повнимательней в короткий текст объявления – было уже невозможно, да и попросту некогда.

Благодарная, вся, целиком, своему поэту-трибуну, за геройство, за подвиг его, за возможность прорваться сюда, за участие в общем прорыве, фронтовом, боевом, решительном, взбудораженная, раскалённая, предвкушающая грядущую, столь желанную, скорую встречу со своим любимейшим классиком самиздатовским, запрещённым, алко-гольным, в доску своим, потому что всё здесь своё, и доска, и поэт, и классик, и гадюшник, и люди, всё, ибо вечер такой, толпа, без натуги особой, вынесла из-под чёлки своей глядящего на сограждан своих поэта, предводителя их, властителя дум, в большой, для мираклей созданный, для феерий, для фантазмагорий, освещённый так ярко, празднично, светлый, к действию готовый, к таинству, к волшебству и блаженству, зал.

И зал – всего лишь за несколько считанных, быстрых мгновений – заполнился до отказа.

Все места были сразу же заняты.

Люди стояли в проходах, и там же, в проходах, сидели на полу, но это ведь так, ерунда, пустяки, и главное – все они здесь, и все они, чудом, что ли, попали на ерофеевский вечер.

Для Евтушенко, поэта, –

место, конечно, нашлось.

Он сидел, разумеется, в первом –
ближе к сцене и к Вене – ряду.

В зале, – как говорится в давней, полузабытой песенке Александра
Вертинского на слова Александра Блока, – воцарилась тишина.

Звенящая, напряжённая, взрывчатая тишина многолюдного сборища.

«Гул затих».

Зал – молчал.

Все – ждали.

Ждали – заветного мига.

Ждали – что скоро, совсем уже скоро,

вот-вот, ну, прямо сейчас,

на сцену выйдет любимый всеми

человек-легенда, писатель славный,

Венедикт Васильевич,

просто – Веня,

Веничка Ерофеев.

На сцену вышел –

Виктор Ерофеев...

– Как? Вместо Вени – Виктор?

– Бред какой-то!

– Что за подмена?

– Это почему?

Да, Ерофеев.

Но – не Венедикт.

Да, нынче вечер.

Но, увы, – не Венин.

На сцене – Виктор.

Тоже – Ерофеев.

Он – вместо Вени?!..

Что тут началось!..

И я опускаю подробности того, что же, собственно говоря, началось
в зале Дома литераторов, потому что и так с этим всё уже – согласитесь,
читатели, – ясно.

И оставляю там, в прошедшем советском времени, раздосадованно-
го поэта, гражданина Евг. Евтушенко, так и не увидавшего подлинного
Ерофеева, то есть Веню, а вовсе не Виктора, оставляю его – в былом,
вместе с разочарованной, ропшущей, грустной, за нос проведённой,
людскою толпой.

Да ещё и вместе со всезнающим Кублановским, которому вскорости
уже предстояло отбывать в заграничную семилетнюю жизнь, без вся-
ких там Ерофеевых, Венедиктов или же Викторов, но зато со всячески-
ми преимуществами перед жизнью советской – с тем самым Парижем,
и с тою Сеной, по которой, как написал про него Саша Величанский
ещё в семьдесят четвёртом году, поплывёт он, как фантик измятый кон-
фетный, по течению, вдоль да вдаль.

Ирина ШАТЫРЁНОК

Родилась в г. Молодечно, Белоруссия, в семье железнодорожников. Окончила факультет журналистики Белорусского госуниверситета им. В.И. Ленина.

Писатель, журналист, публицист, литературный критик. Автор 14 книг, в том числе книг прозы «Старый двор», «Бедная-богатая Валентина», «Баньные мадонны», «Пестрые повести о любви», публикаций в белорусских и российских журналах.

Живет в Гродно.

О ЛОШАДЯХ И ЛЮДЯХ

Совесть и память в рассказе Александра Орлова «Лошадники»

Александр Орлов – по профессии историк, автор шести сборников стихов, трёх книг малой прозы и книги для дополнительного чтения по истории Отечества «Креститель Руси» (Издательство Московской Патриархии). Публикуется во многих литературных изданиях.

Недавно открыла для себя не только поэзию Александра Орлова, с ее разнообразием лирической мелодики и палитры, отбором метафор и образов, но и сдержанную, лаконичную прозу в форме рассказа.

У каждого прозаика складывается свой стиль письма, чуткий читатель почти сразу узнаёт особенность творческой манеры того или иного писателя. Своё лицо в прозе имеет и Александр Орлов. Может, потому что мировоззрение сравнительно молодого, но зрелого писателя в своей основе целостное и устойчивое. Он пристально всматривается в современную жизнь, перерабатывает свои впечатления в ясные, промытые от суетности насыщенных встреч и дорог тексты. И что важно для самого автора и современного читателя, А. Орлов опирается на давнюю православную традицию, историческую память своего рода и личную совесть. И талант, конечно, здесь природа его не обделила.

Текст последнего рассказа Александра Орлова «Лошадники» (журнал «Ниžний Новгород» 2024, № 1) плотно насыщен, слова в предложениях по-мужски плотно пригнаны, подогнаны, ни зазора, ни трещинки, всё сработано как у хорошего мастерового. Самодостаточный смысл и содержание.

Время действия лихие 90-е, место – Москва, кафе в начале Тверской улицы, действующие лица – рецидивист Витя Чахотка, Костя

по прозвищу Смышлёный, интеллигентного вида старый вор в законе Викентий Павлович, он же Футляр. Троица ждет своих корешей Олега Тюбетейку и Колю Голова Босиком, те занимаются коневой татьбой, что от корня тать, значит, вор или конокрад. Тюбетейка – человек горячий, без азарта жить не может, «но как без кражи жить? Соли нет в жизни. Пресно...» Его слабость – лошадки, как он ласково их называет. Любит их Тюбетейка самозабвенно, трепетно, поэтому и ворует лошадей ахалтекинской или кабардинской чистой породы. Его ахалтекинец Гурида, как и сам хозяин, редкого пылкого темперамента.

Обычно речь выдает внутреннюю суть человека, у лошадника Олега Тюбетейки разговор особенный, сразу обращаешь внимание на эту своеобразность: «Сейчас Успенский пост... Как бог даст!.. рядом церковь...» Конокрад из уголовного мира, но уже давно пересмотрел свою непутёвую жизнь, к нему с уважением не только батюшка, но «и менты местные, и колхозники».

Из разговора в кафе становится понятно: на него, человека бывалого и тёртого, наезжают местные малолетки, недавно вышли из зон, живут не по понятиям, требуют от конокрада – плати! «Но у этих ни уважения к возрасту, ни к годам моим высиженным» нет. Вот Тюбетейка и приехал на встречу просить у старого вора защиты от беспредельщиков, пока он отъезжал их дома, промышлял по своим коневым делам, увели его породистых лошадок да еще преданную овчарку алабая застрелили. Жалуется лошадник старому вору: «...всё вокруг перевернулось, и жизни этой понять нам, видимо, не дано, но выживать-то надо».

Подростая смена не считается с прошлыми авторитетами, не крадёт лошадей, они просто грабят, смотрят на лошадей цинично, как на триста-четыреста килограмм свежего мяса. Нет никакой романтики. Одним словом, мясники!

Костя Смышлёный пока на побегушках, еще до конца не испорчен, может, случайно прибился к сильным уголовного мира, смотрит на окружающих его людей весёлыми глазами, подмечает, как модно одет дед, для него дядя Кеша прекрасный рассказчик. Костя восхищен внешней, парадной стороной жизни патрона, ему ещё не под силу проникнуть в глубинную суть вещей: «Что ни говори, а этот лысый и голубоглазый урка выглядит эталоном столичного стиля, словно из Милана или Парижа неделю назад вернулся».

Тюбетейка вдруг приглашает своих покровителей к себе в гости, как раз после Успенского поста: «...после Третьего Спаса, на Лошадиный день».

Чего не знала, так это про Лошадиный день. Заглянула в словари. Сама я родилась как раз на Третий Спас, 29 августа. Тема для меня близкая. Папа мой страсть как любил лошадей, пропал в детстве с деревенскими ребятами на летнем выпасе в ночном. После жаркого трудового дня дети купали коней, благодаря молодому годовику Ястребку отец рано научился плавать. Его увлечение лошадьми прошло не без «удачного» опыта, молодой резвый рысак на всю жизнь оставил ударом копыта отпечаток-вмятину, из-за сломанной ноги полгода не ходил во второй класс. Но горячая любовь к лошадям осталась у отца на всю жизнь.

Но вернусь к героям рассказа. У поколения Викентия Павловича, он же Футляр, рецидивиста Вити Чахотки, Олега Тюбетейки есть одна общая страница: они послевоенные дети, у многих отцы не вернулись с той войны Отечественной, в самом опасном возрасте подростки попали на улицу. Безотцовщина. Улица их закалила, они умели драться, из

тех жестоких столкновений стенка на стенку выходили часто с переломанными рёбрами, выбитыми зубами, харкали кровью, но ценили братство, слабых наказывали за трусость и шкурничество. Уважали силу и ценили уличный неписанный устав.

Есть у Александра Орлова свой верный маячок: его герои помнят ту Великую войну, детская память избирательна, навсегда запечатлела голод, страх, усталые глаза матери, как она делилась с детьми последним куском хлеба.

Отец дяди Кеши «всю войну военврачом прошёл», у Чахотки «мой в Будапеште ногу потерял и на один глаз ослеп». У Олега перед глазами свой пример – владыка Николай, «хороший он был мужик. Настоящий». Восемнадцатилетний паренёк воевал у Рокоссовского на Сталинградском фронте, был наводчиком ПТР, после тяжёлого боя ампутировали отмороженные на ногах пальцы, врач боялся гангрены, вместо наркоза дали кружку спирта и палку в зубы. Домой вернулся инвалидом. «Когда я слушал проповеди владыки, рассказы о Патриархе Тихоне и новомучениках, то всегда задумывался о его ногах. Слово ему дал, что завяжу».

Чужую жизнь лошадиник принимает как подвиг и тихое, незаметное подражание, что это за тяга поработать на восстановлении Благовещенского монастыря, как не медленное преображение человека. Со своей будущей женой познакомился здесь же, она его к церковной жизни приобщила. Никто Тюбетейку не заставлял идти на тяжёлую работу: «Пока восстанавливали Старый Староярмарочный собор, я чем мог помогал. В основном разгружал или таскал, чего скажут». Сам себе боялся признаться, что внутренне меняется, выбрал для себя иной путь, потом послушание нёс во Флорищевой пустыне.

Пытался послушником стать, но не смог побороть в себе болезненную страсть к лошадям, увёл из соседней деревни лошадей. С этим грехом и стыдом подался во владимирскую глушь, где осел, построил дом, приютил у себя бывшего детдомовца Колю Голова Босиком.

Автор ненавязчиво подводит нас к мысли, что советское послевоенное время поколение пацанов росло в суровых условиях, но заложенный в них духовный потенциал родителей оберегал от края пропасти. Недаром интеллигентного вида Викентий Павлович, несостоявшийся скрипач, повторяет и повторяет: «Господи, Господи, как мои папа и мама хотели, чтобы я скрипачом стал! Ничего не вышло...»

Музыкальные, очень чувствительные пальцы мальчика решили его судьбу, он превратился в ловкого вора-карманника, вырос до уважаемого в воровской среде профессионала. Всё начиналось в толкотне переполненных трамваев, промышлял с футляром от скрипки, отвлекая пассажиров своим приличным видом. Очень нервная воровская работа. Пугающий образ пустого футляра приклеился к мальчику Кеше навсегда, и покатила его жизнь по кривой дорожке судьбы.

Узнала из рассказа Олега про святых покровителей лошадей братьев-каменотесов Флора и Лавра из Византии. В русской православной традиции имена братьев связаны с давним покровительством лошадей, в деревнях они рыли колодцы, однажды их засыпало землей, потом на том месте появился ручей, «На водопой к нему пришёл хворый конь и выздоровел», – охотно рассказывает Тюбетейка. В конюшне у меня над яслями икона святых Флора и Лавра... Сейчас мы новый колодец вырыли, как раз приедете, закончим – и подземной водичкой вас угощу». Олег соседских пацанов зовёт не иначе как «нехристи».

У автора в рассказе ничего нет случайного, есть и параллели, недаром два в прошлом уголовника-лошадника заняты созидательным трудом, затеяли рыть новый колодец.

Рассказ, как и водится в классической прозе, небольшой по объёму, но значителен по сложности смысла. Не всё лежит на поверхности и не так просто, как может сначала показаться. Сложные тексты тем и привлекают, что заставляют перечитывать, размышлять над авторскими посланиями и откликаться.

После трагического распада СССР общество раскололось, сколько за тридцать лет вырвалось проклятий в адрес своих же предателей. Унизительный разлад случился и с людьми. Многие растерялись, надо было учиться выживать, приспосабливаться к условиям дикого рынка, тихой сапой произошли подмены всего и вся, от исторического наследия до школьных учебников. За эти годы выросло целое поколение потребителей, у них другая внутренняя идеология, личное давно ценится выше общественного.

Не прошли глобальные изменения мимо прежнего уголовного мира, сильного в своей монолитности, клановой подчиненности, свидетелями которых стало постаревшее поколение. Всё рушится на их глазах. Очередными жертвами почти сакрального убийства стали Тюбетейка и его подопечный Коля Голова Босиком. Не общество наказало, но свои братки порешили без суда и следствия «Голову отрубили, а конюшню подожгли. Приехали менты и нашли только голову». Убийцы закопали лошадинок у колодца, на дне которого бьёт чистый родник. Вновь у автора идёт сопоставление, но делает он его без прямого назидания и предупреждения...

Последний абзац неожиданный. Автор услышал этот рассказ от отца Лавра, послушника в конюшне на монастырском подворье. Им оказался сообразительный когда-то в юности паренёк, но «в этом человеке больше никто и никогда не узнает Константина Светлова, которого улицы и подворотни столицы много лет окрестили Костей Смышлёным».

Ужас пережитого перепыхал незрелую, восприимчивую душу Кости, отступил он от зияющей, манящей бездны. Теперь и до конца дней своих ежедневно ему молиться за грешные души, в служении и молитвах обрёл он своё новое дыхание, успокоение и радость нести свой крест.

Надеюсь, диалог читателя и писателя Александра Орлова состоялся. Для кого, как не для нас передал автор свой ужас, сомнение и веру в людей.

Павел БАСИНСКИЙ

Родился в 1961 году в городе Фролове Волгоградской области. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького.

Литературовед, критик, прозаик. Составитель сборников произведений Максима Горького, Леонида Андреева, Осипа Мандельштама, Михаила Кузмина; антологий «Деревенская проза», «Русская проза 1950–1980 гг.», «Проза второй половины XX века», «Русская лирика XIX века». Автор многих книг, в том числе «Лев Толстой: бегство из рая» (2010), «Страсти по Максиму» (2011), «Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой» (2013), «Лев в тени Льва» (2015), «Лев Толстой – свободный человек» (2016).

Лауреат премии «Большая книга» (2010), премии Правительства Российской Федерации в области культуры (2014), Государственной премии в области литературы и искусства (2018), премии имени А. И. Герцена (2020). Автор текста «Тотального диктанта» 2019 года. Живет в Москве.

КАК УБИТЬ ГЕНИЯ?

О новой книге Владислава Отрошенко

Хвалить книги друзей всегда неловко, особенно если делаешь это публично, как я сейчас. И дело не только в том, что твои слова не будут иметь цены в глазах их читающих (в конце концов, не все знают, что ты с автором дружишь), а главным образом в том, что сам находишься в сомнении: насколько ты строг и объективен к данной книге?

Но писать о новой книге Владислава Отрошенко «Гения убить недостаточно», недавно вышедшей издательстве АСТ в Редакции Елены Шубиной, мне легко. У нас не так много авторов, причем не только в настоящем, но и в прошлом, обладающих несомненным талантом в создании коротких эссе о великих людях.

Отрошенко вполне справедливо называет свои эссе еще и новеллами. Они и читаются не как статьи, а именно как блистательные короткие рассказы – и всегда с легкой моральной концовкой, как бы подытоживающей «историю». Но эта мораль легка. Не потому, что несерьезна (она очень серьезна!), а потому что заключена, как правило, в одной-единственной фразе.

Двадцать одна «эссе-новелла» в книге объемом примерно в 12 авторских листов, т. е. совсем не толстой. Но ее временное пространство необъятно – от I века до нашей эры до XXI века эры нашей. От Овидия и христианских апостолов до ныне здравствующего художника Юрия Петкевича. А если к этому добавить еще и героев индийской

«Махабхараты», сочиненной, как предполагают, в III тысячелетии до н. э., то определить пространственно-временной размер книги не представляется возможным.

Среди героев кроме упомянутых – поэты Катулл, Тютчев, Ходасевич, прозаики Николай Гоголь, Андрей Платонов, Гайто Газданов, Томас Вульф, Роберт Музиль, драматург Сухово-Кобылин, философы Ницше и Шопенгауэр – и это еще не все загадочные, как уверен автор, личности, населяющие эту книгу. Между ними нет почти никаких пересечений, кроме того, что все они гении. Но гении не только в том, что они написали, а еще и в том, что каждый из них в своей жизни задал какую-то загадку, которую автор и пытается разгадать. Так что книга Владислава Отрошенко – это своего рода культурологический «квест», блуждать по которому не просто интересно, но и весьма познавательно.

А знаете ли вы, что?..

Публий Овидий Назон, написавший «Скорбные элегии» и «Письма с Понта» о своих мучениях на берегах Понта (так греки называли Черное море), куда его сослали по приказу Августа за слишком фривольную «Науку любви»), никогда на берегах Черного моря не бывал и писал эти сочинения, вероятно, на своей вилле на берегу Тибра. Возможно, Отрошенко и ошибается (Михаил Гаспаров, которого он цитирует, считал иначе). Но вероятность того, что стихи Овидия, написанные в ссылке, являются мистификацией, очень высока, и эссе Отрошенко это весьма убедительно аргументирует.

Куда маловероятней, что прозу Андрея Платонова за него писал его мистический «двойник», которого писатель однажды увидел ночью за своим столом и сообщил об этом в письме к жене. Но ведь и в самом деле в языке Платонова есть какая-то тайна, которая не поддается объективному анализу. Думаю, Отрошенко навлечет на себя гнев платоноведов за такую фразу: «Всякая попытка научно-систематического, объективно-филологического суждения о языке Платонова абсолютно бессмысленна». Но в контексте его книги она имеет смысл, потому что, по убеждению автора, язык Платонова стремится «выйти за пределы языка». Но тогда каким же языком описывать этот язык? «Таким, который лежит уже за пределами языка. То есть никаким». Парадоксальность этого «суждения» прекрасна еще и тем, что эссе самого Отрошенко написано отнюдь не «запредельным», а очень изящным русским языком.

Почему из четырех евангелистов только Лука описал историю, как Христос сотворил чудо, позволив рыбакам Петру и Андрею наловить две лодки рыбы доверху? Но спойлера у меня не будет – читайте сами.

И конечно, особого внимания заслуживает эссе об американском писателе Томасе Вульфе, название которого дало название всей книге – «Гения убить недостаточно». В самом названии, безусловно, есть какая-то провокативность. А что еще нужно сделать с гением, если убить его недостаточно? А главное – кому это нужно сделать?

В эссе повествуется о бытии Томаса Вульфа «на суровой земле американского книжного бизнеса». (К слову, я советовал бы прочитать это всем начинающим писателям как своего рода руководство и предостережение тем, кто мечтает о литературной славе, но не знает, как эту жар-птицу ухватить за хвост.) Это потрясающая история сотрудничества писателя и его редактора, Вульфа и Максвелла Перкинса – «редактора от Бога». И о том, как этот дуэт был разрушен одной-единственной

статьей критика Бернарда Де Вото в еженедельнике «Субботнее обозрение литературы»), которая называлась «Genius is not enough» («Гения недостаточно»).

Значение Перкинса в творческой биографии Вульфа нельзя переоценить: из десятков тысяч страниц его необъемных рукописей он делал романы, которые принесли Вульфу не только ошеломительный успех при жизни, но и прописали его в истории мировой литературы. Да, так бывает, что редактор становится со-творцом вместе с автором – мотайте это на ус, молодые писатели!

Но еще более поучительна история статьи Де Вото. Я не читал эту статью целиком, но из того, как излагает ее Отрошенко, понимаю, что статья тоже по-своему была гениальна... в своем «сальеризме». Если «гения недостаточно», чтобы пробиться в условиях книжной индустрии, то не является ли издатель (он же еще и редактор) – истинным творцом книги?

И – что тогда?

Вопрос – отнюдь не праздный, и, боюсь, положительный ответ на него, возможно, и является ответом на вопрос, заданный мной в названии моей колонки.

Евгений ЭРАСТОВ

Родился в 1963 году в Горьком. Окончил Горьковский медицинский институт и Литинститут им. А. М. Горького. Доктор медицинских наук.

Автор семи поэтических и четырех прозаических книг, а также более двухсот публикаций в периодике. Произведения переводились на английский, немецкий, испанский, македонский и болгарский языки. Лауреат премий Нижнего Новгорода (2008), Нижегородской области им. А.М. Горького (2014), имени Ольги Бешенковской (Германия, 2014), литературной премии имени Марины Цветаевой (Татарстан, Елабуга, 2014), литературной премии имени Николая Рыленкова (Смоленск, 2022) и многих других, победитель нескольких международных поэтических конкурсов.

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

«ПОКОЛЕНИЮ, ВЫЖИВШЕМУ В 1990-е...»

Марина Соловьёва. Время неискушенных. Роман. – Нижний Новгород. Издательство «Книги». – 2024.

Казалось бы, совсем недавно держал в руках первую книгу Марины Соловьёвой, а вот уже и третья на моем столе лежит. Что греха таить – прочитал ее на одном дыхании. И вовсе не потому, что нашел там красоты неописуемые языкового свойства. Марина прежде всего психолог, и человеческая психика, особенно же неожиданная перестройка такой – вечный предмет ее интересов. А такая перестройка поучительней горбачевской перестройки будет. Почему я вдруг вспомнил сравнительно недавно покинувшего подлунный мир «минерального» секретаря? Ответ крайне прост – произведение Марины Соловьёвой как раз о том, что началось в результате горбачевской перестройки, а именно в 90-х годах минувшего столетия.

Какие только определения не давали этим поистине трагическим годам нашей истории! Слово сочетание «лихие девяностые» особенно на слуху. «Поколению, выжившему в 1990-е годы и сумевшему не потерять себя, посвящается» – такими словами предваряет свой роман Марина. Писатели часто ставят перед собой социальные задачи, реализуют некие «программы», но далеко не всегда получают то, что хотели бы. В этом и заключается, наверное, чудо и парадокс литературы как одного из вида искусства.

Что далеко ходить? Гениальный Лев Толстой считал страшным грехом супружескую измену, и особенно измену женскую. Грешница Анна Каренина, расплатившаяся за грех прелюбодеяния собственной жизнью, неожиданно оказывается удивительно живой и притягательной героиней, вовсе не осуждаемой не только читательницами, но и чита-

телями (а ведь мужчины женщинам измен не прощают!), а вот правильный, религиозный и нравственный Алексей Каренин вызывает чуть ли не отвращение своей дистиллированной правильностью.

«У сумевших справиться с вызовом времени и выжить в девяностые навсегда останется ощущение, что теперь они могут все» – таким предложением писательница заканчивает вступление к роману. Меньше всего, конечно, мне хотелось бы оперировать справедливо забытыми марксистскими терминами и называть наступивший в 1991 году общественный строй «капитализмом», поскольку наступило нечто куда более страшное. И не наше дело решать сейчас, насколько закономерно было для нашей Родины расползание по ее необозримым и умопомрачительным просторам лернейской гидры этого самого «капитализма». Речь идет всего лишь о конкретном романе, героям которого суждено жить в эту переломную эпоху. Эти самые герои, обычная советская семья молодых врачей, совершенно аполитичны. Они не собираются искать причины трагедии, произошедшей с великим государством, тем более не думают о том, чтобы встать на его защиту. Характерно, что ключевое событие того времени, расстрел Верховного Совета в октябре 1993 года, в романе даже не упоминается. Изменения в стране даются глазами юноши и девушки, буквально вчера получивших дипломы о высшем образовании, – врача-офтальмолога Саньки и его жены, кардиолога Виктории. Супруги понимают, что суровые реалии наступившего времени не позволяют им обоим трудиться на стезе врачевания. Санька как мужчина и, соответственно, лидер принимает удар судьбы на себя, погружаясь в новый для него мир предпринимательства.

«Бедные люди» – так назвал свой первый роман Достоевский. И это не только нравственная категория. Герои романа действительно бедны. Не могу не отметить связь романа Марины Соловьевой с русской традицией, с нашими хрестоматийными шедеврами. Вспоминаются и несчастный пушкинский офицер Германн, в желании разгадать секрет трех карт и тем самым разбогатеть кончивший сумасшедшим домом, и гоголевский Акакий Башмачкин, всю жизнь мечтающий о шинели, и герой Достоевского Долгорукий – подросток, мечтающий стать Ротшильдом. Гоголевская шинель в романе Соловьевой неожиданно оборачивается обшарпанной ведомственной двушкой с прогнившей сантехникой, которую героине романа и её мужу продает некий отставной военный.

Мечта молодых «бедных людей» сбывается – они обретают, наконец, собственную жилплощадь. Мужество и самообладание героев дают свои плоды, и им открывается тот мир, о котором простые советские граждане могли только мечтать, – сказочные пейзажи Италии, Испании и Франции. Однако здоровый гедонизм молодых людей натывается на незнакомые реалии – распространенное гнойное заболевание, возникшее у одного из героев, которое при правильном и своевременном лечении проходит за несколько дней, в ярком и феерическом европейском мире неожиданно оборачивается непредвиденными астрономическими расходами. Не рассуждая, а только описывая факты, писательница заставляет рассуждать и мыслить читателя. Да, коммунистическое счастье было утопией. Но разве может быть счастье «капиталистическое»? Однако, как говорил Чехов, писатель не должен отвечать на вопросы. Он должен их ставить. У Марины Соловьевой это получается.

Владимир КУЧИН,

кандидат филологических наук, Москва

«ПАТРИАРХ БЕЗ РИЗЫ»

О книге Рюрика Ивнева «Ушедшее»

Весна 2024 года сделала подарок всем любителям русского слова и русской литературы – в московском издательстве «Наш круг» вышла в свет новая книга Рюрика Ивнева с элегическим названием «Ушедшее». На обложке рисунок, на котором запечатлён «патриарх без ризы» (меткое замечание одного из близких поэта – Владимира Константиновича Покровского), – автор книги в почтенном возрасте (а Рюрик Ивнев прожил без малого 90 лет!). Мудрый старец, свидетель великих исторических событий, которые пережила наша страна в тяжёлый двадцатый «век-волкодав», друг и наставник многих великих литераторов, ставших классиками отечественной культуры, автор ярких поэтических и глубоких прозаических строк, резких публицистических статей, откровенных дневниковых записей и поражающих своей искренностью мемуаров смотрит вдаль, вспоминая своё прошлое и размышляя о вечном будущем (рисунок сделан Сергеем Разживиным в 1980 году за несколько месяцев до смерти поэта).

В чём уникальность этого издания? Есть ли в книге, которую подготовил к публикации верный архиводержатель Николай Петрович Леонтьев, новые, не изданные ранее страницы, строки, написанные Рюриком Ивневым? Разумеется!

В книге несколько разделов («Поэзия», «Проза», «Воспоминания о Рюрике Ивневе»), которые можно разделить на части. Открывает её переиздание первого поэтического сборника Рюрика Ивнева «Самосожжение» (кн. 1, лист 1, 1913 год). Сборник с таким названием выходил несколько раз: отдельными брошюрами в 1913, 1914, 1916 гг. и полноценной книгой, исправленной и дополненной, в 1917 году). Первая часть (библиографическая редкость!) переиздаётся впервые, поэтому читатели могут познакомиться со стихотворениями, написанными молодым студентом Михаилом Ковалёвым (настоящее имя поэта), который лишь за несколько дней до публикации выбрал себе звучный и запоминающийся псевдоним – Рюрик Ивнев (по признанию автора, это необычное имя он увидел во сне на обложке своей первой книги). Для мучительных, нервных, пусть не всегда ровных строк молодого и талантливого поэта, отмеченного критикой того времени, эпиграфом стали слова из Откровения Иоанна Богослова, что, безусловно, связано с названием и идеей всего сборника.

Позже Максим Горький, встретившись с автором «Самосожжения», в шутку назовёт его «проповедником секты самосожженцев», дав молодому поэту ценный совет – «писать проще... о простых и

хороших вещах», а в критике тех лет появится штамп – «флагеллант от стиха».

Второй частью книги можно считать несколько опубликованных впервые стихотворений Рюрика Ивнева. Здесь представлены как ранние, так и поздние произведения («Собаке» датируется 1903 годом, а «Только вздохнул и слышу...» – 1972-м). Эпиграфом к этой части, по моему мнению, могут служить строки из финальной строфы заключительного стихотворения:

Это паденье слаще
Всяких высоких слов, –
Это и есть настоящий
Голос моих стихов.

В раздел «Проза» Николай Леонтьев включил найденные им в архиве новые главы автобиографического романа «Богема», посвящённого жизни русской интеллигенции в первые послереволюционные годы. Это произведение было опубликовано только после смерти автора и выходило отдельными изданиями в 2005 и 2018 гг. Многие читатели смогут по достоинству оценить появление глав, которые сделают текст целостным и полноценным!

Важной частью этого раздела можно считать ранее не печатавшиеся произведения малой формы – рассказы Рюрика Ивнева, немногочисленные, малоизвестные, но помогающие оценить прозаический талант автора по достоинству и признать в нём мастера, – и воспоминания о родных, Максиме Горьком, Сергее Есенине, Владимире Ленине, об Александре Блоке, Осипе Мандельштаме и др. Читатели и исследователи русской литературы высоко ценят мастерство Ивнева-мемуариста, поэтому эти «штрихи к портретам» помогут лучше узнать о взаимоотношениях великих людей, творивших историю России! Нельзя пройти мимо экспериментальной пьесы с интригующе-метафорическим названием «Хозяин», написанной в революционные годы. Рюрик Ивнев, как и многие драматурги той поры, внёс вклад в создание театра новой эпохи – эпохи великих потрясений и открытий, трагедий и разрушенных судеб. Жизнь поэта, писателя, мемуариста, драматурга вместе с жизнью родной страны разделилась на «до» и «после», что становится причиной задуматься не только о происходящем, но и о будущем.

Заключительный раздел этой книги открывает серию воспоминаний о самом Рюрике Ивневе. Их, по признанию Николая Петровича, написано немало, они готовятся к публикации.

Книга, на мой взгляд, получилась уникальная: под обложкой удалось собрать много бесценного архивного, неизданного материала; мы должны поблагодарить всех причастных к её появлению.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

О. А. Рябов

ШЕФ-РЕДАКТОР

Андрей Иудин

МАКЕТ

Арсения Костромина

ДИЗАЙНЕР ОБЛОЖКИ

Анатолий Гришин

КОРРЕКТОР

Лев Зелексон

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Павел Басинский (Москва)

Владимир Безденежных

Валерия Белоногова

Николай Бенедиктов

Дмитрий Бирман

Диана Кан (Оренбург)

Елена Крюкова

Александр Орлов (Москва)

Захар Прилепин

Андрей Рудалёв (Северодвинск)

Роман Сенчин (Санкт-Петербург)

Евгений Эрастов

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Олег Беркович

Сергей Горин

Олег Захаров

Людмила Калинина

Владимир Седов

Наталья Суханова

Надежда Шевелилова

УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ

ООО «КНИГИ»

Адрес редакции и адрес издателя:
603057, Нижний Новгород,
ул. Бекетова, 24/2, ООО «Книги»
Тел. (831) 412-16-04

Рукописи принимаются в редакции
или по электронной почте:
jurnalnn@yandex.ru

Сайт журнала: www.jurnalnn.ru

Тексты для публикации присылаются отдельным файлом Word с указанием авторства, наименования произведения и биографической справкой.

Неоткорректированные рукописи с большим количеством ошибок не рассматриваются. Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

При перепечатке материалов ссылка на журнал «Нижний Новгород» обязательна.

Подписано к печати 05.08.2024.

Выпущено в свет 27.08.2024.

Формат 70×108¹/₁₆. Усл. печ. л. 21.

Тираж 800 экз. Заказ

Свободная цена.

Отпечатано в АО «ИПК «Чувашия»,
428019, Чувашская Республика,
Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д. 13

Выпуск издания осуществлен
по заказу
правительства
Нижегородской области

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных
технологий

и массовых коммуникаций
ПИ № ФС77-60285
от 19 декабря 2014 г.